

Генрих Джейне



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ**

Генрих Джейне

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ДЕСЯТИ ТОМАХ

Под общей редакцией

Н. Я. БЕРКОВСКОГО, В. М. ЖИРМУНСКОГО,
Я. М. МЕТАЛЛОВА



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1958

Генрих Джейн

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

том

8

ЛЮТЕЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1958

Перевод с немецкого
А. В. ФЕДОРОВА

Редакция перевода
А. И. ДЕЙЧА

Комментарии
Д. П. ПРИЦКЕРА

ЛЮТЕЦИЯ

**СТАТЬИ О ПОЛИТИКЕ,
ИСКУССТВЕ
И НАРОДНОЙ ЖИЗНИ**



ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ

Эта книга содержит ряд писем, которые я писал для «Аугсбургской газеты» с 1840 по 1843 год. Ввиду важных причин я издал их несколько месяцев тому назад, у гг. Гоффмана и Кампе в Гамбурге, отдельной книгой, под заглавием «Лютетия», и соображения не менее существенные побуждают меня теперь издать этот сборник и на французском языке. Вот эти причины и соображения. Так как письма эти появлялись в «Аугсбургской газете» анонимно и при этом подвергались значительным сокращениям и изменениям, я опасался, как бы после моей смерти их не издали в этой искаженной форме или даже вперемежку со статьями, совершенно чуждыми моему перу. Чтобы избежать такого посмертного злосключения, я предпочел сам издать эти письма в их подлинном виде. Но спасая таким образом еще при жизни по крайней мере хорошую репутацию моего стиля, я, к несчастью, дал в руки недоброжелателям оружие для нападений на добрую славу моей мысли: пробелы в знании немецкого языка, встречающиеся порой даже у самых образованных французов, дали некоторым моим соотечественникам обоего пола возможность уверить многих лиц, будто в моей книге «Лютетия» я оклеветал весь Париж и злыми шутками унизил французов и все, что пользуется во Франции наибольшим уважением. Таким образом, для меня было нравственной потребностью как можно скорее выпустить в свет французский перевод моей книги и дать моей прекрасной и доброй подруге Лютетии возможность самой судить о том, как я отзываюсь о ней в книге, которую называл ее именем. Если в том или ином месте я невольюно

вызвал ее неудовольствие слишком резким выражением или неудачным замечанием, она должна обвинять меня не в недостатке симпатии, а только в недостатке культуры и такта. Прекрасная Лютеция, не забывай о моей национальности: хотя среди моих соотечественников я один из самых лощеных, все же я не в силах совершенно отречься от моей природы; вот почему ласки моих тевтонских лап могли иной раз поранить тебя, и, быть может, не один камень бросил я тебе в голову с единственным намерением — отогнать от тебя мух! Надо, кроме того, принять во внимание, что сейчас, когда я очень болен, я не мог с достаточной заботливостью и достаточной ясностью ума причесать мои фразы; по правде говоря, немецкое издание моей книги гораздо менее растрепано и космато, чем издание французское. В первом слог всюду смягчал неровности содержания. Тяжко, очень тяжело, когда в столь неприличном костюме приходится идти свидетельствовать свое почтение изящной богине на берегах Сены, меж тем как там, дома, в немецком комоде, лежат прекраснейшие платья и не один роскошно вышитый жилет.

Нет, дорогая Лютеция, я никогда не хотел оскорблять тебя, и если злые языки стараются уверить тебя в противном, не верь подобной клевете. Никогда не сомневайся, красавица моя, в моей нежности — искренней и совершенно бескорыстной. Разумеется, ты еще слишком красива, чтобы опасаться, будто тебя могут полюбить за что-либо другое, кроме твоих прекрасных глаз.

Я только что упомянул, что письма, из которых составлена моя книга «Лютеция», появлялись анонимно в «Аугсбургской газете». Правда, они были помечены особой буквой, но она отнюдь не могла служить решительным доказательством того, что я был их автором. Я подробно разъяснил это обстоятельство в заметке, приложенной к немецкому изданию моей книги, и здесь я приведу из нее главное.

Редакция «Аугсбургской газеты» имела обыкновение подписывать мои статьи одной только буквой, так же как и статьи других анонимных авторов, чтобы удовлетворить административным требованиям, например чтобы облегчить расчеты, но вовсе не для того, чтобы полуконфиденциально, словно легко отгадываемую шараду, подсказать почтенной публике имя автора. Так как только редакция,

а отнюдь не истинный автор несет ответственность за всякую анонимную статью; так как редакция отвечает за свою газету не только перед тысячеголовым миром читателей, но нередко и перед совершенно безголовыми властями; так как ей, бедной, приходится бороться с бесчисленными трудностями, материальными и моральными, то надо было дать ей право приспособлять к своим насущным потребностям всякую принимаемую статью и по своему усмотрению черкать ее, сокращать, словом — производить над пей всякого рода манипуляции; ведь надо было дать ей это право, хотя бы от него терпели серьезный ущерб личные взгляды, а порой — увы! — и стиль автора. Умный публицист должен ради дела идти на горькие уступки грубой необходимости. Есть немало темных, маленьких газет, в которых мы вполне могли бы с пылом и негодованием излить наше сердце, но у этих газет очень убогая и не имеющая никакого влияния публика, и писать в этих газетах было бы то же самое, что в трактире бахвалиться перед его завсегдатаями, как это большей частью и делают наши великие патриоты. Мы поступаем гораздо умнее, когда, умерив нашу горячность, а порою даже скрываясь под маской, трезвыми словами высказываемся в газете, которая по праву называется «Всеобщей газетой» и листы которой попадают во все страны света, в руки стольких тысяч читателей. Здесь, даже подвергнувшись самым прискорбным искажениям, слово может оказать благотворное влияние; самый скудный намек превращается порой в плодотворное семя на почве, неведомой нам самим. Если бы меня не воодушевляла эта мысль, право же я бы никогда не обрек себя на ужасную пытку — писать для аугсбургской «Всеобщей газеты». Так как я всегда был совершенно убежден в верности и честности благородного, любимого моего друга, моего соратника в течение более двадцати восьми лет, редактирующего «Всеобщую газету», то я терпеливо сносил муку переделок и изменений, которым он подвергал мои статьи; ведь я всегда видел честные глаза друга, который, казалось, хотел сказать раненому товарищу: «А я-то разве покоюсь на ложе из роз?»

Выцуская теперь в свет под собственным именем эти письма, давно уже напечатанные без всякой подписи, я, конечно, имею право платить только те долги, которые не превышают стоимости наследства, как обычно в сомни-

тельных случаях поступают наследники. Я ожидаю от справедливого читателя, что он примет во внимание все те трудности времени и места, с которыми приходилось бороться автору, когда он в первый раз печатал эти письма. Я беру на себя полную ответственность за правильность всего сказанного мною, но отнюдь не за выражения, в которых это было сказано. Тому, кто придирается к словам, легко будет увидеть в моих письмах, если он покопается в них, множество противоречий, много легкомыслия и даже как будто отсутствие твердых убеждений. Но тот, кто уловит дух моих слов, всюду увидит строжайшее единство мысли и неизменную привязанность к делу человечества, к демократическим идеям революции. Местные затруднения, о которых я только что упомянул, чинились цензурой, и притом цензурой двойной, ибо цензура, которой занималась редакция «Аугсбургской газеты», была еще более стеснительна, чем официальная цензура баварских властей. Ладью моей мысли я часто бывал принужден украшать флагами, эмблемы которых отнюдь не являлись истинным выражением моих политических и общественных взглядов. Но газетный контрабандист мало заботился о цвете того лоскута, который висел на мачте и с которым ветер затевал резвые игры: я думал только о добром грузе, который я вез с собою и хотел доставить в гавань общественного мнения. Могу похвалиться тем, что мне очень часто удавались такие предприятия, и не надо придираться к средствам, которыми я пользовался порой для достижения цели. Зная традиции «Аугсбургской газеты», я не мог не знать, например, что она всегда ставила себе задачей не только с величайшей быстротой доводить до сведения публики все современные события, но также со всеми подробностями отмечать их на своих столбцах, как в некоем международном архиве. Поэтому мне постоянно приходилось заботиться о том, чтобы облечь в форму факта все, на что мне хотелось наметнуть публике, — и самое событие и мое суждение о нем, — словом, все, что я думал и чувствовал. И с этой целью я, не колеблясь, влагал свои собственные мнения в уста других людей или даже придавал моим мыслям форму притчи. Вот почему в этих письмах столько иносказаний и арабесок, символический смысл которых понятен не каждому и которые поверхностному читателю

могли бы показаться ворохом мешанской болтовни и пустословия. При моих стараниях, направленных на то, чтобы всегда преобладала форма факта, мне так же важно было выбрать тон, которым можно было бы сообщать самые щекотливые вещи. Всего удобнее в этом отношении был тон равнодушия, и я не стесняясь пользовался им. Тут представлялась и косвенная возможность дать не один полезный совет и сделать не одно полезное наставление. Республиканцы, которые жалуются, что у меня нет охоты помогать им, упустили из виду, что в течение двадцати лет я во всех своих статьях, каждый раз, при всякой необходимости, защищал их достаточно серьезно и что в моей книге «Лютетия» я подчеркивал их нравственное превосходство, постоянно обличая подлое и смешное высокомерие и полное ничтожество господствующей буржуазии. Они не очень-то понятливы, эти славные республиканцы, о которых, впрочем, я раньше был лучшего мнения. Что касается ума, то я считал, что их духовная ограниченность — только притворство, что республика играет роль Юния Брута, что своей притворной глупостью она усугубляет беспечность и непредусмотрительность монархии и таким образом завлекает ее в западню. Но после Февральской революции я понял свое заблуждение: я увидел, что республиканцы в самом деле очень честные люди, не умеющие притворяться, и что они в действительности такие, какими казались.

Если уж республиканцы представляли для корреспондента «Аугсбургской газеты» тему весьма щекотливую, то еще более щекотливую тему представляли социалисты, или — назовем чудовище его настоящим именем — коммунисты. И все же мне в «Аугсбургской газете» удалось затронуть и этот вопрос. Многие письма были отвергнуты редакцией газеты, помнившей старую поговорку: «Не следует малевать черта на стене». Но она не могла уничтожить все мои сообщения, и, как я уже сказал, я находил возможность на этих осторожных столбцах касаться предмета, страшное значение которого было в то время совершенно неизвестно. Я намалевал черта на стене моей газеты, или, как выразился один весьма остроумный человек, я сделал ему прекрасную рекламу. Коммунисты, рассеянные одиночками по всем странам свста и не имевшие точного понятия о своих общих стрем-

лениях, узнали из «Аугсбургской газеты», что они существуют на самом деле; при этом они также узнали свое настоящее имя, тогда еще неизвестное многим из этих бедных подкидышей старого общества. Из «Аугсбургской газеты» рассеянные по свету общины коммунистов черпали достоверные сведения о непрерывных успехах их дела; к великому своему удивлению, они узнали, что они вовсе не слабая, маленькая община, что они самая сильная партия в мире, что день их, правда, еще не настал, но что спокойное ожидание — не потеря времени для людей, которым принадлежит будущее. Это признание, что будущее принадлежит коммунистам, я сделал с бесконечным страхом и тоской, и — увы! — это отнюдь не было притворством. Действительно, только с отвращением и ужасом думаю я о времени, когда эти мрачные иконоборцы достигнут власти: грубыми руками беспощадно разобьют они все мраморные статуи красоты, столь дорогие моему сердцу; они уничтожат все те фантастические игрушки и безделушки искусства, которые так любил поэт; они опустошат мои лавровые рощи и посадят там картофель; лилии, которые не трудились и не пряли, а все же одевались так, как не одевался и царь Соломон во славе своей, будут вырваны из почвы общества, если только не захотят взять в руки веретено; розы, эти праздные невесты соловьев, подвергнутся такой же участи; соловьи, эти бесполезные певцы, будут изгнаны, и — увы! — из моей «Книги песен» бакалейный торговец будет делать пакетики, в которые станет насыпать кофе или нюхательный табак для старух будущего. Увы! Все это я предвижу, и несказанная печаль овладевает мной при мысли, что победоносный пролетариат угрожает гибелью моим стихам, которые исчезнут вместе с романтическим старым миром. И все же, честно сознаюсь, этот самый коммунизм, столь враждебный моим вкусам и склонностям, держит мою душу во власти своих чар, и я не в силах им противиться; два голоса в моей груди говорят в его пользу, два голоса, которые не хотят замолчать, которые, в сущности, быть может, являются не чем иным, как внушением дьявола, — но, как бы то ни было, я в их власти, и никакие заклинания не могут их побороть.

Ибо первый из этих голосов — голос логики. «Дьявол — логик!» — говорит Данте. Страшный силлогизм околдо-

вал меня, и если я не могу опровергнуть посылку, что «все люди имеют право есть», я вынужден подчиниться и всем выводам из нее. Думая об этом, я боюсь лишиться рассудка, я вижу, как все демоны истины, торжествуя, пляшут вокруг меня, и, наконец, великодушное отчаяние охватывает мое сердце, и я восклицаю: «Оно давно уже осуждено и приговорено, это старое общество! Да свершится правосудие! Да будет он разрушен, этот старый мир, где невинность погибала, где процветал эгоизм, где человек эксплуатировал человека! Да будут разрушены до основания эти дряхлые мавзолеи, где царили обман и несправедливость! И да будет благословен тот бакалейный торговец, что станет некогда изготавливать пакетики из моих стихотворений и всыпать в них кофе и табак для бедных старух, которым в нашем теперешнем мире несправедливости, может быть, приходилось отказывать себе в подобных удовольствиях! «Fiat justitia, pereat mundus!»¹

Второй из этих повелительных голосов, которыми я зачарован, еще могущественнее и еще демоничнее, ибо это голос ненависти — ненависти, возбуждаемой во мне партией, страшнейшим противником которой является коммунизм и которая поэтому также наш общий враг. Я говорю о партии так называемых националистов Германии, об этих лжепатриотах, патриотизм которых состоит в отвращении ко всему иноземному и к соседним народам и которые каждый день изрыгают свою желчь прежде всего на Францию. Да, к этим обломкам или потомкам тевтономанов 1815 года, которые только подновили свой старый костюм ультрагерманских шутов и немного укоротили себе уши, я всегда чувствовал ненависть. Я всегда боролся с ними, и теперь, когда меч падает из моих рук, рук умирающего, меня утешает сознание, что коммунизм, которому они первые попадутся на дороге, нанесет им последний удар; и, конечно, не ударом палицы уничтожит их этот гигант, — нет, он просто раздавит их ногой, как давят жабу. Это будет началом. Из ненависти к сторонникам национализма я мог бы почти влюбиться в коммунистов. Это, во всяком случае, не лицемеры, у которых на устах вечно религия да христианство; правда, у коммунистов нет религии (не бывает совершенных людей),

¹ Пусть погибнет мир, но свершится правосудие! (лат.).

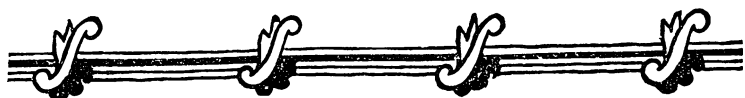
коммунисты даже безбожники (что, разумеется, великий грех), но главный догмат, проповедуемый ими, — это самый неограниченный космополитизм, всемирная любовь — любовь ко всем народам, братское равенство всех людей, свободных граждан земного шара. Этот основной догмат — тот же, который некогда проповедовало евангелие, так что по духу коммунисты в гораздо большей мере христиане, чем наши так называемые германские патриоты — тупые поборники узкого национализма.

Я говорю слишком много, во всяком случае больше, чем позволяют мне благоразумие и боль в горле, от которой я страдаю сейчас. Поэтому прибавлю только два слова, чтобы кончить. Думаю, я достаточно ясно указал на те неблагоприятные обстоятельства, при которых мне приходилось писать статьи о Лютеции. Кроме препятствий местных, мне, как я уже сказал, приходилось бороться и с трудностями исторического момента. Что касается этих трудностей, вызванных временем, когда я писал эти письма, то умный читатель легко составит себе о них понятие; ему стоит только взглянуть на дату статей и вспомнить, что в ту пору господствовала в Германии как раз национальная, или так называемая патриотическая, партия. Июльская революция несколько оттеснила ее на задний план политической сцены, но воинственные фанфары французской прессы 1840 года дали этим галлофобам прекрасный случай снова выступить вперед; и они запели «Песню о свободном Рейне». Во время Февральской революции эти крики были заглушены возгласами более благоразумными, но возгласы эти, в свою очередь, должны были вскоре утихнуть, когда наступила великая европейская реакция. Сейчас в Германии националисты и все мерзкое охвостье 1815 года еще раз достигли власти и воют с разрешения господина бургомистра и других высоких властей страны. Ну что же, войте! Настанет день, и роковая пята раздавит вас. С такой уверенностью я могу спокойно покинуть этот мир.

А пока что, дорогой читатель, я, насколько это было в моих силах, дал тебе возможность судить о единстве мысли и об истинном духе этой книги, которую с доверием предлагаю всем честным людям.

Генрих Гейне

Париж, 30 марта 1855 г.



ПОСВЯЩЕНИЕ ЕГО СИЯТЕЛЬНОМУ КНЯЗЮ ПЮКЛЕР-МУСКАУ

Путешественники, которые посещают места, примечательные историческими памятниками или произведениями искусства, имеют обыкновение писать на стенах каждый свое имя, более или менее четко, смотря по тем письменным принадлежностям, которыми они располагают. Сентиментальные души кропают еще несколько патетических строк рифмованных или нерифмованных излияний. Вдруг среди этой чащи надписей наше внимание привлекают два имени, вырезанные одно подле другого; внизу подписаны год и число; имя и дата заключены в овальную гирлянду, которая должна изображать дубовый или лавровый венок. Если же люди, которым принадлежат эти имена, известны позднему посетителю, он радостно восклицает: «Смотри-ка!» — и глубокомысленно замечает при этом, что, значит, эти двое не были друг другу чужды, что они по крайней мере хоть раз стояли один подле другого на том же самом месте, что даже во времени и в пространстве встретились эти люди, которые так подходили друг к другу. И вот насчет обоих начинаются комментарии, которые нам легко отгадать, но которых мы не хотим повторять здесь.

Посвящая вам эту книгу, мой достославный, родственник мне по духу современник, и тем самым как бы вырезывая на ее фасаде наши имена, я радостно следую игривой прихоти моего духа, и если есть у меня определенная побудительная причина — это не что иное, как вышеупомянутое обыкновение путешественников. Да, мы были

путешественниками на земном шаре, это была паша земная специальность, и те, что придут после нас и увидят в этой книге венки, которым я обвил наши имена, с точностью, по крайней мере, определяют дату нашей земной встречи и смогут сколько угодно рассуждать о том, в какой степени походили друг на друга автор «Писем умершего» и корреспондент «Лютеции».

Мастер, которому я посвящаю эту книгу, знает свое дело и знает те неблагоприятные условия, при которых писал автор. Он знает ложе, на котором увидел свет детища моего духа, аугсбургское прокрустово ложе, на котором им порой отрезали слишком длинные ноги, а нередко даже и голову. Говоря не фигурально, книга эта состоит большею частью из корреспонденций, которые я много лет тому назад печатал в аугсбургской «Всеобщей газете». Многие из них сохранились у меня в черновиках, по которым теперь для нового издания я восстановил выпущенные или измененные места. К сожалению, состояние моих глаз не позволяет мне уделить много внимания такому восстановлению; я не мог разобраться как следует в старых, пропыленных грудях бумаги. Тут, а равно и в статьях, которые я прямо отсылал, не делая предварительных набросков, я, насколько это было возможно, по памяти восполнял пробелы и устранял внесенные изменения; там же, где стиль, а еще более смысл, казался мне чуждым, я старался по крайней мере спасти художественную честь, красоту формы, совершенно опуская эти места. Но уничтожая такие места, где безумный красный карандаш, по-видимому, слишком уж свирепствовал, я не затронул ничего существенного, отнюдь не покушаясь на суждения о фактах и людях, которые часто могли быть и ошибочны, но все же должны были быть воспроизведены в точности, чтобы не утратился колорит того времени. Присоединив без единого изменения целый ряд ненапечатанных статей, вовсе не подвергавшихся цензуре, я путем искусного расположения всех этих отдельных очерков образовал целое, представляющее верную картину периода, столь же значительного, сколь и интересного.

Я говорю о том периоде, который в годы правления Луи-Филиппа называли «парламентским», — очень характерное название, знаменательность которого сразу же поразила меня. 9 апреля 1840 года я писал следующие

строки, которые можно найти в первой части этой книги: «...весьма характерно, что с некоторых пор французское правительство называют не конституционным, а парламентским правительством. Кабинет первого марта сразу же был окрещен этим именем...»

Важнейшие прерогативы короны были в то время уже присвоены парламентом, то есть палатой, и вся государственная власть перешла постепенно в ее руки. Нельзя отрицать, что и король, со своей стороны, также был одержим стремлениями узурпатора: он желал управлять сам, независимо от прихоти палаты и министров, и в этом стремлении к неограниченной власти он все же старался соблюсти законную форму. Поэтому Луи-Филипп имеет право утверждать, что он никогда не нарушал законности, и, конечно, суд присяжных истории совершенно освободит его от обвинения в незаконных деяниях и сможет признать его виновным разве лишь в чрезмерной хитрости. Палате, которая по крайней мере умно прикрывала законной формой свои покушения на королевские привилегии, грозил бы, конечно, приговор гораздо более суровый, если бы в качестве смягчающего обстоятельства нельзя было сослаться на то, что это вызывалось неограниченным властолюбием короля; она может сказать, что боролась с ним, стараясь обезоружить его и взять в собственные руки диктатуру, которая в его руках могла стать губительной для государства и свободы. Поединок между королем и палатой составляет содержание парламентского периода, и обе партии к концу его так устали и ослабели, что в изнеможении пали на землю, едва только на арене появился новый претендент. 24 февраля 1848 года они рухнули почти в одно и то же время: монархия — в Тюильрийском дворце, а несколько часов спустя — парламент, находящийся по соседству, в Бурбонском дворце. Победителям, доблестной февральской черни, право же, не пришлось тратить попусту свое геройство, и они едва могут похвалиться тем, что видели в лицо своих врагов. Старого порядка они не убивали, они только положили конец его призрачной жизни: король и палата умерли потому, что давно были мертвы. Оба эти бойца парламентского периода напоминают мне изображение, виденное мной когда-то в Мюнстере, в большом зале ратуши, где был заключен Вестфальский мир. Вдоль стен там, словно

скамьи в церкви, стоит ряд деревянных кресел, на спинках которых мы видим всякого рода юмористические резные украшения. На одном из этих деревянных кресел изображены две фигуры, увлеченные поединком; они в рыцарских латах и, готовые рубить друг друга, подняли уже свои огромные мечи... Но странное дело! Обоим недостает самого главного, а именно — голов, и кажется, что в пылу битвы они отрубили друг другу головы и все еще, обоюдно не замечая своей безголовости, продолжают сражаться.

Расцветом парламентского периода было правительство первого марта 1840 года и начальный период правительства двадцать девятого ноября 1840 года. Первое все еще должно представлять особый интерес для немцев, ибо в то время Тьер барабанным боем вовлек наше отечество в великое движение, пробудившее политическую жизнь Германии; нас как народ Тьер снова поставил на ноги, и немецкая история будет помнить эту его высокую заслугу. Также и яблоко раздора, восточный вопрос, уже дает о себе знать в дни этого кабинета, и мы в самом ярком свете видим эгоизм той британской олигархии, которая натравливала нас тогда на французов. Убеждением всей моей жизни было, что честная и великодушная, до фанфаронства великодушная, Франция — наш естественный и поистине самый надежный союзник, и патриотическая потребность — показать моим ослепленным соотечественникам вероломное тупоумие французов и рейнских песнопевцев — придавала, быть может, порой слишком уж страстный колорит моим статьям о кабинете Тьера, в частности когда речь шла об англичанах; но время было крайне опасное, и молчание уже наполовину было равносильно предательству.

Мои парижские статьи не доведены до катастрофы 24 февраля, но на каждой странице уже видна ее неизбежность, и я все время предсказываю ее с той пророческой болью, которую мы встречаем в древней эпопее, где пожар Трои не является концом, но таинственно потрескивает уже в каждом стихе. Я описал не грозу, но грозные тучи, которые носили ее в своем лоне и надвигались, пугающе-мрачные. Я часто и с полной определенностью говорил о демонах, которые таились в нижних слоях общества и должны были вырваться из мрака, лишь только

настанет пора. Этих чудовищ, которым принадлежит будущее, в то время рассматривали только в уменьшительное стекло, и тогда они в самом деле напоминали сумасшедших блох... Но я показал их в натуральную величину, и тут они скорее оказались похожими на самых страшных крокодилов, когда-либо подымавшихся из речной тины.

Для того чтобы оживить печальные корреспонденции, я сплел их с картинами из мира искусства и науки, танцевальных зал хорошего и дурного общества, и если среди этих арабесок я рисовал порой слишком уж карикатурную рожу какого-нибудь виртуоза, то делал это не с целью причинить сердечное огорчение давно забытому рыцарю фортепьяно или барабана, но затем, чтобы представить картину того времени в малейших ее оттенках. Честный дагерротип должен столь же верно воспроизводить муху, как и горделивейшего коня, а мои корреспонденции — это книга исторических дагерротипов, где каждый день оставлял свою собственную копию и где дух художника, призванный во все вносить порядок, путем сочетания этих картин создал произведение, в котором изображенное само служит свидетельством своей достоверности. Поэтому книга моя — создание природы и вместе с тем искусства. И если в настоящее время она, пожалуй, удовлетворяет обыденным потребностям читающей публики, то позднейшему историографу она во всяком случае сможет послужить историческим источником, который, как я сказал, содержит в себе залог повседневной достоверности. В этом отношении мои «Французские дела», носящие тот же характер, уже удостоились самой высокой оценки, и французы, занимающиеся историей, неоднократно пользовались их французским переводом. Я отмечаю это для того, чтобы произведение мое могло завоевать прочное признание и чтобы читатель был тем снисходительнее, замечая в нем тот фривольный *esprit*,¹ в котором наши ядрено-немецкие — я сказал бы даже: дубово-немецкие — соотечественники упрекали также и автора «Писем умершего». Посвящая ему мою книгу, я по поводу того *esprit*, который заключен в ней, могу заметить о себе, что приношу сов в Афины.

¹ Дух (франц.).

Но где находится в настоящую минуту высокочтимый и достолюбезный «Умерший»? Куда адресовать мою книгу? Где он? Где пребывает он, или, вернее, где скачет он, где рыщет он, романтический Анахарсис, фешенебельнейший из всех чудаков, Диоген в седле, чей путь изящный грум освещает фонарем, чтобы он мог искать человека? Где разыскивает он его — в Сандомире или Сандомихе, меж тем как резкий ветер, дующий из Бранденбургских ворот, задувает его фонарь? Или он на горбатой спине верблюда трусит рысью по песчаной аравийской пустыне, а впереди бежит длинноногий Хут-Хут, которого немецкие драго-маны называют секретарем посольства, г-ном фон Удодом, дабы возвестить повелительнице своей, царице Савской, прибытие высокого гостя, ибо старая баснословная особа поджидает всемирно-известного туриста в Эфиопии, в чудном оазисе, где она хочет позавтракать с ним и покетничать в тени вееролистных пальм, среди плещущих фонтанов, как некогда покойная леди Эстер Стенхоп, знавшая также немало умных загадок... А пронос: ¹ в мемуарах, изданных каким-то англичанином после смерти этой знаменитой султанши пустыни, я не без удивления прочитал, что, когда ваше сиятельство посетили ее в Ливане, знатная дама говорила также и обо мне и высказала мнение, будто я — основатель новой религии. О господи! Вот тут и я убедился, как плохо осведомлены обо мне в Азии!

Да, но где же теперь этот жадный до странствий Везде и Нигде? Корреспонденты монгольской газеты утверждают, что он едет в Китай, чтобы посмотреть на китайцев, пока еще не поздно и пока этот фарфоровый народ еще окончательно не разбили грубые руки рыжеволосых варваров. Ах! У бедного фарфорового императора с трясущейся головой сердце уже разбилось от скорби! «Calcutta advertiser», ² по-видимому, не склонен доверять этому известию монгольской газеты и, напротив, уверяет, что англичане, поднимавшиеся недавно на Гималаи, видели, как князь *Пиюклер-Миускау* пролетал по воздуху на крыльях грифа. Эта газета замечает, что сиятельный путешественник направлялся, вероятно, к горе Каф, собираясь сделать визит живущей там птице Симургу

¹ Кстати (франц.).

² «Калькуттский вестник» (англ.).

и побеседовать с ней о допотопной политике. Но старый Симург, старейшина дипломатов, экс-визирь стольких султанов из времен более древних, чем времена Адама, султанов, которые все носили белые мундиры и красные штаны, — не проводит ли он летние месяцы в своем замке Иоганнисберг на Рейне? Вино, которое рождается там, я считал всегда самым лучшим, и я считал крайне умной птицей владельца Иоганнисберга; но уважение мое еще увеличилось с тех пор, как мне стало известно, что он чрезвычайно любит мои стихи и рассказывал однажды вашему сиятельству, что порою при чтении их он проливал слезы. Мне бы хотелось, чтобы он как-нибудь для разнообразия почитал стихи моих собратьев по Парнасу, нынешних политических поэтов; конечно, при чтении их он плакать не станет, но тем веселее будет смеяться.

Однако мне все еще неизвестно с полной точностью местопребывание «Умершего», самого живого из всех умерших, который пережил стольких живых по названию. Где он теперь? На западе или на востоке? В Китае или в Англии? В нанкинских или манчестерских штанах? В Передней Азии или в Задней Померании? В Кюриц или в Тимбукту послать мне мою книгу *poste restante*?¹ Все равно, где бы он ни был, всюду к нему понесутся самые радостно-чистосердечные, самые тоскливо-безумные приветствия преданного ему

Генриха Гейне

Париж, 23 августа 1854 г.

¹ До востребования (франц.).



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Париж, 25 февраля 1840 г.

Чем ближе стоишь к особе короля, собственными глазами наблюдая его действия, тем легче обмануться насчет мотивов его поступков, насчет его тайных намерений, его желаний и стремлений. В школе революционных деятелей он научился той современной хитрости, тому политическому незуитству, которыми якобинцы превосходили порой учеников Лойолы. Эти благоприобретенные качества дополняются в нем еще драгоценным запасом унаследованного притворства, традициями предков, французских королей, тех старейших сынов церкви, которым, в отличие от других монархов, священное масло Реймса придавало гораздо больше гибкости, в которых всегда было больше лисьего, нежели львиного, и всегда в большей или меньшей степени обнаруживался характер священнослужителей. Заученные и унаследованные *simulatio* и *dissimulatio*¹ сочетаются в Луи-Филиппе еще и с естественной склонностью к этим свойствам, так что почти невозможно сквозь благожелательную жирную оболочку, сквозь улыбающееся мясо разглядеть тайные мысли. Но если бы даже нам и удалось заглянуть в самую глубину королевского сердца, мы бы достигли этим не слишком многого, ибо в сущности антипатия или симпатия к личности никогда не определяет поступков Луи-Филиппа, — он повинуетя только силе обстоятельств (*la force des choses*), необходимости. Всякое субъектив-

¹ Лицмерие и притворство (*лат.*).

ное побуждение он отвергает почти с жестокостью, он суров к самому себе, и если он и не самодержавный властелин, то все же он властелин над самим собою, он очень объективный король. Поэтому не имеет особого политического значения, любит ли он Гизо больше или меньше, нежели Тьера: он будет пользоваться услугами того или другого, смотря по тому, в ком из них будет нуждаться в данную минуту, не раньше и не позже. Поэтому я, право, не могу сказать с определенностью, кто же из этих двух более приятен или неприятен королю. Я думаю, он не одобряет ни того, ни другого, и притом из зависти, ибо сам он, тоже министр, видит в них своих всегдашних соперников и в сущности боится, как бы за ними не признали большего политического таланта, чем за ним самим. Говорят, Гизо ему более по сердцу, нежели Тьер, так как он пользуется известной непопулярностью, которая нравится королю. Но пуританский покров Гизо, его надменная подозрительность, доктринерский, поучительный тон, угловато-кальвинистский нрав не могут пленять короля.¹ В Тьере он наталкивается на противоположные особенности: на необузданное легкомыслие, на дерзкую прихотливость, на откровенность, которая почти оскорбительно контрастирует с его скрытным, замкнутым, непрямодушным характером и поэтому также не может особенно нравиться ему. К тому же король любит говорить, порой любит даже пускаться в бесконечную болтовню, что весьма удивительно, так как скрытные природы обычно скупы на слова. Оттого-то ему должен особенно не нравиться Гизо, который никогда не спорит, а все время поучает и, наконец, доказав свой тезис, строго выслушивает ответную речь короля и даже одобрительно кивает головой, как будто перед ним стоит школьник, хорошо отвечающий урок. С Тьером королю еще труднее: этот вовсе не дает ему говорить, захваченный потоком собственной речи. Она течет, не останавливаясь, словно из бочки, у которой открыли кран, но его вино — всегда драгоценное. Тут никто не скажет и слова, и только тогда, когда г-н Тьер бреется, можно заставить его спокойно выслушать вас. Только пока британский нож касается его горла, г-н Тьер молчит и внемлет чужим речам.

Не подлежит сомнению, что, уступая желаниям палаты, король поручит г-ну Тьеру образование нового прави-

тельства и верит ему, как председателю совета, также и портфель министра иностранных дел. Это легко предвидеть. Но можно с полной уверенностью предсказать, что новое правительство не будет долговечно и что в одно прекрасное утро г-н Тьер сам даст королю удобный случай снова удалить его и призвать на его место г-на Гизо. Г-н Тьер, такой проворный и ловкий, всегда обнаруживает великий талант, если ему надо взобраться на *mât de cocagne*¹ власти; но еще талантливее он соскальзывает вниз, и в то самое время, когда нам кажется, будто он совершенно спокойно сидит на вершине своего могущества, он неожиданно соскальзывает вниз так ловко, так мило, так весело, так гениально, что мы прямо готовы аплодировать этому новому фокусу. Г-н Гизо не столь ловок, когда ему приходится лезть на гладкую мачту. Тяжеловесно и с трудом взбирается он наверх, но, однажды достигнув цели, он уже крепко цепляется за нее своими могучими лапами; на вершине власти он всякий раз держится дольше, чем его расторопный соперник; даже можно сказать, что его беспомощность не позволяет ему спуститься и что надо сильно расшатать мачту, чтобы ему легче было скатиться вниз. Быть может, в эту минуту уже разосланы телеграммы, в которых Луи-Филипп объясняет иностранным кабинетам, что силой обстоятельств он вынужден сделать премьером несносного для него Тьера вместо Гизо, который был бы ему гораздо более приятен.

Королю теперь будет стоить большого труда укротить антипатию иноземных держав к Тьеру. Эта погоня за их одобрением — нелепая идиосинкразия. Он считает, что от внешнего мира зависит и спокойствие внутри государства, и последнему уделяет мало внимания. Он, перед взглядом которого должны бы дрожать все Траяны, Титы, Марки Аврелии и Антонины этой земли, включая в число их и Великого Могола, он унижается перед ними и, точно школьник, жалобно причитает: «Пощадите меня! Простите, что я, так сказать, поднялся на французский трон, что отважнейший и умнейший народ, или, точнее, тридцать шесть миллионов мятежников и безбожников, выбрали меня своим королем. Простите, что я поддался соблазну и из нечестивых рук бунтовщиков принял корону со

¹ Призовую мачту (*франц.*).

всеми ее драгоценными камнями... Я был неопытен, я получил дурное воспитание еще в детстве, когда г-жа Жаплис по складам обучала меня правам человека... У якобинцев, доверивших мне почетный пост привратника, я тоже не мог научиться чему-нибудь хорошему... Дурное общество испортило меня, в особенности маркиз Лафайет, желавший сделать из меня «лучшую республику»... Но я исправился с тех пор, я раскаиваюсь в заблуждениях моей молодости, и я прошу: простите меня, будьте милосерды и дайте мне мир!» Нет, так не выражался Луи-Филипп, ибо он горд, благороден, умен, но все же таков был краткий смысл его длинных речей и еще более длинных посланий, написанных почерком, который, когда я недавно увидел его, показался мне в высшей степени оригинальным. Если некоторые почерки называют «мушинными лапками» (*pattes de mouches*), то почерк Луи-Филиппа можно бы назвать «паучьими ножками»: он именно похож на тенеобразные, длинные, страшно тонкие ножки так называемых пауков-портных; вытянутые вверх и вместе с тем крайне тощие, буквы производят причудливо-забавное впечатление.

Даже лица, наиболее близкие к королю, порицают его за уступчивость по отношению к иноземным державам, но никто не осмеливается вслух произнести какой-нибудь упрек. Этот кроткий, добродушный, домашний Луи-Филипп требует от своих такого слепого послушания, какого самый яростный тиран мог бы добиться лишь путем величайших жестокостей. Уважение и любовь сковывают язык его семье и друзьям; это — беда, а ведь вполне возможны такие случаи, когда возражение или даже явный протест мог бы иметь благотворное влияние на личную волю короля. Сам наследный принц, рассудительный герцог Орлеанский, молча склоняет голову перед отцом, хотя замечает его ошибки и, по-видимому, предчувствует прискорбные конфликты или даже страшную катастрофу. Он будто бы сказал однажды кому-то из приближенных, что жаждет войны, предпочитая лишиться жизни в волнах Рейна, чем в какой-нибудь грязной канаве Парижа. Благородный, рыцарственный герой переживает меланхолические минуты и рассказывает тогда, как его тетка, герцогиня Ангулемская, не гильотинированная дочь Людовика XVI, хриплым, вороньим голосом предрекла ему

раннюю гибель, когда, во время своего последнего бегства, в Июльские дни, повстречалась вблизи Парижа с возвращавшимся принцем. Странно, несколько часов спустя принц попал в плен к республиканцам, которые угрожали ему расстрелом, и только чудом избежал этой участи. Наследный принц всеми любим, он привлек к себе все сердца, и утрата его была бы более чем пагубна для нынешней династии. Его популярность, пожалуй, служит ей единственной гарантией. Он, поистине, — один из благороднейших и драгоценнейших побегов, взшедших на почве Франции, этого «прекрасного человеческого сада».

II

Париж, 1 марта 1840 г.

Нынче Тьер — в полном блеске своей удачи. Я говорю: нынче, — я не ручаюсь за завтра. Что Тьер теперь премьер-министр, настоящий, единовластный, могущественный, в этом нельзя сомневаться, хотя многие лица, скорее из лукавства, чем по убеждению, не желают этому верить, пока не увидят в «*Moniteur*»¹ черным по белому подписанные приказы. Они говорят, что все возможно при медлительности августейшего Фабия Кунктатора; ведь в мае прошлого года сделка расстроилась в ту минуту, когда Тьер уже взял в руку перо для подписи. Но на сей раз я убежден, что Тьер — министр; «поклоняться в этом я готов, но не держать пари», — сказал однажды Фокс в подобном же случае. Теперь мне хочется знать, в какой срок популярность его снова будет уничтожена. Республиканцы видят в нем сейчас новый оплот монархии и, разумеется, не станут его щадить. Великодушные им не свойственно, и республиканская добродетель не отвергает союза с ложью. Уже завтра старые наговоры высунут из самых затхлых нор свои змеиные головки и будут любезно извиваться. Бедным коллегам тоже плохо придется. «Карнавальное правительство!» — кричали уже вчера вечером, как только было названо имя министра просвещения. В словах этих есть доля правды. Если бы не опасе-

¹ «Всеобщем вестнике» (франц.).

пия, внушенные тремя днями масленицы, пожалуй не было бы такой спешки с образованием кабинета. Но сегодня уже воскресенье, в эту минуту по улицам Парижа уже движется шествие *boeuf gras*,¹ а завтра и послезавтра — дни, наиболее опасные для общественного спокойствия. Народ в эти дни предается дикому, отчаянному веселью, безумие его угрожающе необузданно, и опьяненные свободой рады пить на брудершафт с обычными пьяными, чей хмель вызван простым вином. Маскарад — на встречу маскараду, а новое правительство — это, быть может, маска, надетая королем ради карнавала.

III

Париж, 9 апреля 1840 г.

Сейчас, когда страсти несколько остыли и трезвое благоразумие постепенно вступает в свои права, всякий сознается, что спокойствию Франции угрожала бы великая опасность, если бы так называемым консерваторам удалось свергнуть нынешнее правительство. Разумеется, члены кабинета в настоящее время лучше всех других способны управлять государственным экипажем. Король, внутри кареты, и Тьер, на козлах, должны теперь быть единодушны, так как, несмотря на разницу в их положении, падение угрожает им в равной мере. Король и Тьер вовсе не питают друг к другу, как принято думать, тайной вражды. Лично они уже примирились давно. Различие остается только политическое. Однако, при всем их теперешнем единодушии, при самом искреннем желании короля сохранить кабинет, в душе он все же никак не может отрешиться от этого политического различия, потому что король ведь представитель высшей власти, интересы и права которой — в постоянном столкновении с захватническими вождениями палаты. В самом деле, если говорить правду, все поведение палаты мы, в согласии с истиной, должны назвать жаждой захватов; она же и все время была нападающей стороной, по всякому поводу она стремилась ограничить права высшей власти,

¹ Жирного быка (*франц.*). (См. комментарии.)

повредить ее интересам, и король лишь оказывал вполне естественное сопротивление. Хартия, например, давала королю право выбирать себе министров, теперь же эта привилегия — только видимость, ироническая, насмехающаяся над монархией формула, ибо в действительности выбирает министров палата и она же дает им отставку. И весьма характерно, что с некоторых пор французское правительство называют не конституционным, а парламентским правительством. Кабинет первого марта сразу же был окрещен этим именем, и как на деле, так и на словах это ограбление короны, права которой передали палате, было официально провозглашено и санкционировано.

Тьер — представитель палаты, он — выбранный ею министр, и в этом отношении он не может быть вполне по сердцу королю. Таким образом, высочайшая немиловость, как уже сказано выше, касается не самой личности министра, а принципа, который благодаря его избранию вступил в свои права. Мы думаем, что палата не будет продолжать борьбу за этот принцип, ибо это в сущности тот же избирательный принцип, конечным следствием которого является республика. Династические герои оппозиции, равно как и те консерваторы, которые при решении вопроса о дотации поддались личным страстям и дали повод к упрекам в самых смехотворных промахах, прекрасно видят, куда ведут эти выигранные палатой битвы.

Отказ в дотации, вернее — та немая ирония, с которой был сделан этот отказ, является не только оскорблением монархии, но также и глупой несправедливостью: ибо, постепенно отвоевывая у короны всякую действительную власть, надо было по крайней мере вознаградить ее внешним блеском и скорее возвысить, чем унизить ее моральный авторитет в глазах народа. Какая непоследовательность! Вы хотите иметь монарха — и скряжничаете в расходах на горностаи и золото! Вы пугаетесь республики — и наносите публичное оскорбление королю, как это было, когда вы решали вопрос о дотации! А они ведь не хотят республики, все эти благородные рыцари денег, эти бароны промышленности, эти избранные собственности, эти энтузиасты спокойного обладания, представляющие большинство во французской палате. Республика внушает им страх еще более мотыг,

чем самому королю; они дрожат перед ней гораздо сильнее, чем Луи-Филипп, который привык к ней уже в молодости.

Долго ли продержится кабинет Тьера? Вот в чем теперь вопрос. Человек этот играет жуткую роль. Он распоряжается не только всеми военными силами могущественнейшего государства, но также и всеми войсками революции, всем пламенем и всем безумием наших дней. Не выводите его из его мудрой веселости в роковые лабиринты страсти, ничего не кладите ему поперек дороги — ни золотых яблок, ни каких-нибудь неотесанных чурбанов!.. Вся королевская партия должна бы радоваться свосму счастью, что палата выбрала именно Тьера, государственного деятеля, выказавшего в последних прениях все свое политическое величие. Да, в то время как другие — только ораторы, или администраторы, или дипломаты, или герои добродетели, Тьер является всем этим вместе, даже и героем добродетели, но только все эти дарования у него не резко обособленные специальности, а подчиняются его государственному таланту и поглощаются им. Тьер — государственный деятель: он — один из умов, получивших от природы дар управления. Природа создаст государственных деятелей, как создает и поэтов, две разновидности, очень непохожие друг на друга, однако равно необходимые, ибо человечество должно быть воодушевляемо и управляемо. Людей, от природы одаренных поэтическим талантом или искусством управлять, сама же природа и побуждает проявлять эти дарования, и это стремление мы отнюдь не должны путать с тем мелким тщеславием, которое менее даровитых подстрекает надоедать всему миру элегическим рифмоплетством или прозаическими тирадами.

Я отметил, что Тьер именно в последней речи проявил величие государственного деятеля. Быть может, звонкие фразы Берье произвели на слух широкой публики более пышное впечатление; но этот оратор находится в таком же отношении к названному государственному деятелю, как Цицерон к Демосфену. Когда Цицерон произносил на Форуме свои речи, слушатели находили, что никто не умеет говорить лучше Марка Туллия; но когда говорил Демосфен, афиняне восклицали: «Война Филиппу!» Когда Тьер кончил свою речь, депутаты вместо всяких

похвал открыли свои кошельки и дали ему требуемые деньги.

Главным в этой речи Тьера было слово «соглашение», которое наши газетные политики поняли очень плохо, но в котором, на мой взгляд, заключен глубочайший смысл. Разве исконной задачей великих государственных мужей было что-либо иное, как не соглашение, сделка между принципами и партиями? Когда приходится управлять, стоя между двумя враждующими партиями, надо пытаться достигнуть соглашения. Разве мог бы мир двигаться вперед, разве мог бы он даже спокойно оставаться на месте, если бы после диких потрясений не приходили мужественные повелители и не восстанавливали блаженное спокойствие среди усталых и страждущих борцов — как в мире мысли, так и во внешнем мире явлений? Да, в мире мысли сделки тоже необходимы. То, что в Германии триста лет тому назад явилось в образе реформации и протестантской церкви, разве это не было сделкой между римско-католической традицией и человечески-божественным разумом? То, что во Франции пробовал сделать Наполеон, пытаясь примирить людей старого режима и их интересы с новыми людьми и новыми интересами революции, — разве это не было сделкой? Он дал этой сделке название «слияние» — тоже слово, полное смысла, представляющее целую систему. За две тысячи лет до Наполеона другой великий государственный муж, Александр Македонский, измыслил подобную же систему слияния, пожелав соединить Запад с Востоком путем браков между победителями и побежденными, обмена нравов, сплава идей. Нет, до такой высоты не могла подняться Наполеонова система слияния, он умел примирять лишь интересы и личности, но не идеи; и это был великий недостаток, и в этом была также причина его падения. Сделает ли г-н Тьер такой же промах? Мы готовы опасаться, что сделает. Г-н Тьер способен говорить с утра до полуночи, неустанно, вечно сверкая новыми мыслями, новыми молниями ума, забавляя, поучая, ослепляя слушателя, — я назвал бы это словесным фейерверком! И все же он лучше понимает материальные, а не идеальные потребности человечества; ему неведомо последнее звено цепи, которое соединяет земные явления с небом: у него нет чутья к великим общественным установлениям.

Париж, 30 апреля 1840 г.

«Скажи мне, что ты посеял сегодня, и я предскажу тебе, что ты завтра пожнешь!» Об этой поговорке рассудительного Санчо я размышлял на днях, после того как посетил несколько мастерских в предместье Сен-Марсо и увидел там, что читают рабочие — самая здоровая часть низшего класса. А увидел я там несколько новых изданий речей старого Робеспьера, затем памфлеты Марата, выпусками по два су, «Историю революции» Кабе, ядовитые пасквили Корменена, «Учение и заговор Бабефа» — сочинение Буонаротти, — всё книги, которые как бы пахнут кровью; и песни я слышал там, которые, казалось, созданы были в аду и припевы которых свидетельствовали о самом яростном возбуждении. Нет, в наших нежных сферах невозможно составить себе понятие о демонических звуках, которыми полны эти песни, их надо слышать собственными ушами, — например, в тех ужасных мастерских, где обрабатывают металлы и где под звуки песни полунагие упорные люди бьют в такт большими железными молотами по вздрагивающим наковальням. Подобный аккомпанемент чрезвычайно эффектен, равно как и освещение, — когда гневные искры вылетают из горна. Здесь все — страсть и пламя!

Плод этого сева, республика, рано или поздно грозит взойти на почве Франции. Мы в самом деле должны этого опасаться; но в то же время мы убеждены, что этот республиканский строй отнюдь не может быть долговечен в отчизне кокетства и тщеславия. И даже если предположить, что национальный характер французов вполне совместим с республиканизмом, все же республика, в том виде, в каком она снится нашим радикалам, не могла бы долго продержаться. Жизненный принцип подобной республики таит уже зародыш своей ранней смерти; она должна умереть в своем расцвете. Как бы ни было устроено государство, оно держится не одним лишь единодушием и патриотизмом народной массы, как думают обычно, — оно держится духовной мощью великих личностей, управляющих им. А ведь мы знаем, что в подобной республике царит ревновиный дух равенства, который отесняет все выдающиеся индивидуальности, даже делает их немыс-

лимими, и что, следовательно, во времена бедствия во главе государства станут лишь кум кожевник да кум колбасник. Этот органический порок является причиной неизбежной гибели подобных республик, как только они вступают в решительную борьбу с олигархиями и автократиями, полными энергии и возглавляемыми крупными личностями. А что это должно случиться, как только во Франции будет провозглашена республика, — не подлежит сомнению.

Меж тем как спокойствие, которым мы теперь наслаждаемся, весьма благоприятствует распространению республиканских учений, в среде самих республиканцев оно разрушает все узы единодушия; недоверчивый дух этих людей должен быть занят делом, иначе они вовлекаются в колкие споры и препирательства, которые переходят в лютую вражду. В них мало любви к друзьям и много ненависти к тем, которые силой прогрессивной мысли склоняются к противоположным взглядам. Они весьма щедры на обвинения в честолюбии, а то и в продажности. Они в своей ограниченности никогда не понимают, что их прежних союзников отделяет от них различие в убеждениях. Не будучи в силах понять рациональные причины этого отдаления, они сразу вопят о денежных мотивах. Эти вопли характерны. Республиканцы — в вечной ссоре с деньгами; все, что с ними случается худого, они приписывают влиянию денег; и в самом деле, их противникам деньги служат баррикадой, оплотом и оружием; пожалуй даже, деньги — настоящий их противник, нынешний Питт, нынешний Кобург, и они осыпают их бранью на старый санкюлотский лад. В сущности ими руководит правильный инстинкт. Той новой доктрины, которая все социальные вопросы рассматривает с высшей точки зрения и представляет столь же блистательное отличие от вульгарного республиканства, как пурпурная мантия императора от серой куртки равенства, — ее нашим республиканцам не стоит особенно бояться; ибо так же, как и они, толпа далека от этой доктрины. Толпа, высший и низший плебс, благородное буржуазное сословие, буржуазная знать, все эти сановники милой посредственности очень хорошо понимают республиканство — учение, которое не требует больших предварительных познаний, которое в то же время отвечает всем их малейшим чувствам

и пошлому мышлению и которое они признали бы все-пародно, если бы тем самым не пришлось вступить в столкновение с деньгами. Каждый талер — храбрый боец против республиканцев, и каждый дукат — Ахилл. Поэтому республиканец с полным правом ненавидит деньги, и если этот враг попадает в его руки — ах! — тогда победа оказывается еще горше поражения: республиканец, овладевший деньгами, перестает быть республиканцем.

Что симпатии, возбуждаемые республиканством, все-таки постоянно подавляются денежными интересами, — это я заметил на днях в разговоре с одним весьма просвещенным банкиром, который с величайшей горячностью сказал мне: «Кто же оспаривает преимущества республиканского строя! Я сам порою — совсем республиканец. Видите ли, когда я опускаю руку в правый карман брюк, в котором находятся мои деньги, прикосновение к холодному металлу вызывает во мне дрожь, я опасаясь за свою собственность, я чувствую, что настроен монархически; наоборот, когда я опускаю руку в левый карман, который пуст, — сразу исчезает всякий страх, и я весело насвистываю «Марсельезу» и голосую за республику!»

Подобно республиканцам, легитимисты также стараются воспользоваться для посева нынешним мирным временем и сеют главным образом на тихой почве провинции свои семена, из которых должно возрасти их спасение. Больше всего надежд они возлагают на ту пропаганду, которая через школу и путем влияния на сельский люд надеется восстановить авторитет церкви. Вместе с верой отцов должны войти в почет и права отцов. Поэтому дамы из высшего общества, как *ladies patronesses*¹ религии, выставляют напоказ свой набожный образ мыслей, повсюду вербуют души для неба и своим изящным примером заманивают в церкви всю знать. И церкви никогда не были так переполнены, как в дни последней пасхи. Расфранченное благочестие особенно устремилось в церкви Сен-Рок и Нотр-Дам-де-Лоретт; здесь блистали самые мечтательно-изящные туалеты, здесь благочестивый денди черпал освященную воду рукою в белой лайковой перчатке, здесь молились грации. Долго ли будет так? И религиозность эта, если ей суждено стать модой, не будет ли под-

¹ Дамы-патроессы (англ.).

вержена быстрым превращениям моды? Румянец этот — признак ли здоровья?.. «У господина бога сегодня большой прием», — сказал я приятелю в прошлое воскресенье, заметив толпы народа у церкви. «Эти визиты — прощальные», — отвечал неверующий.

Мы знаем теперь те драконовы зубы, которые сеют республиканцы и легитимисты, и нас не удивит, если семена эти вдруг вырвутся из земли в образе бойцов, одетых в латы, и станут друг друга душиить или брататься друг с другом. Да, это возможно: ведь есть же тут ужасный священник, надеющийся кровожадными словами своей веры соединить слугителей костра и слугителей гильотины.

Меж тем все взоры прикованы к драме, которая на поверхности Франции разыгрывается более или менее поверхностными актерами. Я говорю о палате и о кабинете. Настроение первой, равно как поведение второго, — вот, бесспорно, предметы величайшей важности, ибо раздор в палате мог бы ускорить катастрофу, которая кажется то близкой, то далекой. Отсрочить этот пожар насколько возможно — вот задача наших нынешних правителей. Они ничего иного не хотят, ни на что другое не надеются, они предвидят неизбежную «гибель богов» — и это явствует из каждого их поступка, из каждого их слова. В одной из своих последних речей Тьер с почти наивной честностью сознался, что он мало полагается на ближайшее будущее и что надо перебиваться со дня на день; у него — чуткое ухо, и он уже слышит вой Ферриса — волка, возвещающего царство Гелы. Отчаяние перед неизбежным не толкнет ли его на какой-либо внезапный, чрезмерно резкий поступок?

V

Париж, 30 апреля 1840 г.

Вчера вечером, после долгих ожиданий, после почти двухмесячных отсрочек, разжигающих сверх меры и любопытство и нетерпение публики, — вчера вечером, наконец, на сцене Французского театра представлена была драма Жоржа Санда «Козима». Невозможно представить

себе, как в течение нескольких недель все знаменитости столицы, все, кто славится здесь своим званием, происхождением, талантом, пороками, богатством, словом — чем-нибудь замечателен, старались найти способ, чтобы присутствовать на этом спектакле. Слава автора так велика, что любопытство было возбуждено до крайней степени; однако не одно лишь любопытство, также и другие интересы играли здесь роль. Заранее были известны те происки, те интриги, та злонамеренность, которые составили заговор против автора и вступили в союз с низкой завистью его собратьев по перу. Смелый автор, возбудивший своими романами одинаковое негодование и в аристократии и в буржуазном сословии, должен был, дебютируя в качестве драматурга, публично понести наказание за свои «безбожные и безнравственные принципы»; ибо, как я писал вам на этих днях, французская знать смотрит на религию как на оплот против грозно надвигающихся ужасов республиканства и покровительствует ей, чтобы поднять уважение к себе и защитить свою голову, а буржуазия тоже считает, что антимаатримониальные доктрины Жоржа Санда грозят опасностью ее голове, а именно — грозят неким украшением в виде рогов, от которого женатый буржуа — он же национальный гвардеец — откажется с такой же охотой, с какой он стремится к кресту Почетного легиона.

Автор прекрасно понял опасность своего положения и в пьесе избежал всего, что могло бы вывести из себя аристократических рыцарей религии и буржуазных оруженосцев морали, легитимистов политики и брака; поборник социальной революции, рсшавшийся в своих писаниях на самые отчаянные вещи, он замкнулся на сцене в самые скромные пределы, и главной его целью было — не провозглашать в театре свои принципы, но завладеть театром. Мысль, что это может ему удастся, возбудила, однако, большие опасения среди известного сорта малых людишек, которым вполне чужды упомянутые выше религиозные, политические и моральные различия и которые чтят только самые низкие интересы ремесла. Это — так называемые драматические авторы, образующие во Франции, так же как и у нас в Германии, совершенно особый класс и не имеющие ничего общего ни с настоящей литературой, ни со знаменитыми писателями, которыми гордятся

нация. Последние, за немногими исключениями, стоят очень далеко от театра, — с той лишь разницей, что у нас крупные писатели сами с гордым пренебрежением отворачиваются от мира подмоштов, тогда как во Франции они от души желали бы работать для сцены, но махинации упомянутых драматических авторов гонят их оттуда. И, в сущности, нельзя обижаться на малых людишек за то, что они, как могут, обороняются против натиска великих. Чего вам надо от нас, — кричат они, — оставайтесь в вашей литературе и не лезьте к нашим горшкам! Вам — слава, нам — деньги! Вам — длинные статьи, полные восхищения, признательность возвышенных умов, высшая критика, которая нас, бедных, не хочет знать. Вам — лавры, нам — жаркое! Вам — опьянение поэзией, нам — пена шампанского, которое мы весело прихлебываем в обществе главарей клаки и самых приличных дам. Мы едим, мы пьем, нам аплодируют, нас освистывают и забывают, меж тем как вас чествуют в «Обзрении Старого и Нового света», и вы взамен голода ждете самого возвышенного бессмертия!

В самом деле, театр доставляет этим драматическим авторам блистательнейшее благополучие; большая часть их богатеет, живет в довольстве и спокойствии, тогда как величайшие писатели Франции, разоряемые бельгийскими перепечатками и жалким состоянием книжной торговли, прозябают в безотрадной нищете. Не вполне ли естественно, что порой они томятся по золотым плодам, зреющим за огнями рампы, и протягивают к ним руку, как недавно Бальзак, которому это так плохо удалось! Если уже и в Германии есть тайный оборонительный и наступательный союз посредственностей, эксплуатирующих театр, то подобное же явление, но в гораздо более постыдной форме, имеет место и в Париже, где скопляется вся эта мерзость. И притом малые людишки здесь так деятельны, так ловки, так неутомимы в своей борьбе с великими, и особенно в борьбе с гением, который всегда стоит особняком, отличается некоторой неуклюжестью и, между нами говоря, слишком уж мечтательно-ленив!

Какой же прием встретила драма Жоржа Санда, величайшего писателя, рожденного новой Францией, этого страшно одинокого гения, которого оценили и у нас в Германии? Был ли прием решительно плохим или сом-

нительно благоприятным? Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос. Уважение к великому имени парализовало, может быть, не один злой умысел. Я ожидал худшего. Все противники автора назначили друг другу свидание в огромном зале Французского театра, вмещающем больше двух тысяч человек. Дирекция предоставила автору около ста сорока билетов для раздачи друзьям; полагаю, однако, что, разбросанные женской прихотью, лишь немногие из них попали в надлежащие, аплодирующие руки. Об организованной кляке не было и речи; всегдашний шеф ее предложил свои услуги, но был отвергнут гордым автором «Лелии». Так называемых «римлян», которые, сидя в середине партера под большой люстрой, всегда столь смело аплодируют, когда разыгрывается пьеса Скриба или Ансело, вчера не было видно во Французском театре.

Об исполнении рецензируемой драмы я, к сожалению, могу дать лишь самый отрицательный отзыв. За исключением знаменитой Дорваль, которая вчера играла не хуже, но и не лучше обычного, все актеры выставляли напоказ свою монотонную посредственность. Герой пьесы, некий господин Бовалле, играл, говоря библейскими словами, «как свинья с золотым кольцом в носу». Жорж Санд, казалось, предвидел, как мало может ждать его драма от мимических способностей актеров, несмотря на все уступки, сделанные их прихотям, и в разговоре с другом-немцем он сказал в шутку: «Видите ли, французы — все прирожденные комедианты, и каждый из них более или менее блестяще играет в свете свою роль; но те из моих соотечественников, у кого меньше всего способностей к благородному искусству сцены, посвящают себя театру и становятся актерами».

Когда-то я заметил, что общественная жизнь во Франции, система представительного правления и политическая деятельность поглотили лучшие актерские таланты французов, и поэтому на настоящей сцене можно найти только посредственность. Впрочем, это касается только мужчин, но не женщин: французская сцена богата первостепенными актрисами, и новое поколение, пожалуй, превосходит старое. Мы восхищаемся крупными, исключительными талантами, которые могут развиваться здесь в изобилии, потому что несправедливые законы, мужская

узурпация закрыли для женщин дорогу ко всем политическим должностям и званиям и они не могут применять свои дарования на подмостках Бурбонского и Люксембургского дворцов. Свое стремление к публичности они утоляют лишь в общественных домах искусства или публичных домах веселья и становятся либо актрисами, либо кокетками, или же и тем и другим одновременно, потому что здесь, во Франции, два эти ремесла не столь строго разграничены, как у нас, в Германии, где комедиантки часто принадлежат к числу самых порядочных особ и нередко отличаются благонравным мещанским поведением: у нас общественное мнение не изгоняет их, как парий, из общества, и, напротив, они встречаются любезный прием в дворянских домах, на вечерах терпимых еврейских банкиров и даже в иных честных мещанских семьях. Здесь же, во Францию, где искоренено столько предрассудков, проклятие церкви все еще тяготеет над актрисами; на них все еще смотрят как на отверженных, а так как люди всегда становятся дурными, если с ними дурно обращаются, то, за немногими исключениями, актеры по-прежнему пребывают здесь в состоянии блистательно грязного цыганства. Талия и Добродетель редко спят здесь на одном ложе, и даже знаменитейшая Мельпомена спускается порой со своих котурнов, смешая их на распутные туфельки Филины.

Здесь существует определенная цена на всех красивых актрис, а те, которых ни за какую определенную цену не достать, конечно самые дорогие. Молодых актрис большей частью содержат моты или богатые *parvenus*,¹ и, наоборот, собственно содержанки, так называемые *femmes entretenues*, испытывают страстное желание показаться на сцене — желание, в котором соединяются и тщеславие и расчет, потому что там они выгоднее всего могут выставить напоказ свое тело, обратить на себя внимание знатных сластолюбцев и вместе с тем заслужить восхищение более широкой публики. Особы эти, выступающие главным образом в маленьких театрах, обычно вовсе не получают жалованья, — напротив, они сами каждый месяц платят директорам определенную сумму за разрешение выступать на сцене. Поэтому здесь редко знаешь, где

¹ Выскочки (*франц.*).

актриса и куртизанка поменялись ролями, где кончается комедия и снова начинается приятная действительность, где пятистопный ямб переходит в четвероногое распутство. Эти амфибии искусства и порока, эти Мелузины берегов Сены представляют, конечно, опаснейшую часть галантного Парижа, где проказничает столько обольстительных монстров. Горе тому неопытному, кто попадает в их сети! Но горе и тому, кто опытен, тому, кто знает, что у прелестного чудовища — отвратительный рыбий хвост, и кто все же не в силах противиться волшебству и идет на верную гибель, побежденный, быть может, именно сладострастием внутреннего ужаса, роковой прелестью блаженной смерти, сладостной бездны!

Женщины, о которых здесь идет речь, — не злы и не коварны; большею частью они даже чрезвычайно добры; они вовсе не такие лживые и жадные, как думают о них; напротив, порой это даже прямодушнейшие и благороднейшие создания; источник всех их нечистых поступков — потребности минуты, нужда и тщеславие; вообще они не хуже прочих дочерей Евы, которых от падения, все более глубокого, предохраняет жизнь, полная достатка, бдительность родни или благосклонность судьбы. Для этих женщин характерна некая жажда разрушения, которой они одержимы, и не только во вред любовнику, но и во вред тому человеку, которого они действительно любят, и большей частью во вред самим себе. Эта жажда разрушения тесно сплетается с дикой, безумной, страстной жаждой наслаждений, минутных наслаждений, которые не терпят и дня отсрочки, не допускают и мысли о завтрашнем дне и вообще смеются над всеми опасениями. Они выжимают у возлюбленного последний су, доводят его до того, что он закладывает даже свою будущность, — лишь бы насладиться радостным мгновением; они заставляют его расточать даже те ресурсы, которые им самим могли бы пойти на пользу, порою они виноваты и в том, что он учитывает свою честь, точно вексель, — словом, они разоряют возлюбленного с самой жуткой поспешностью и страшной добросовестностью. Монтескье в своем «*Esprit des lois*»¹ пытался где-то охарактеризовать сущность деспотизма, сравнивая деспотов с теми дикарями, которые,

¹ «Духе законов» (франц.).

когда захотят насладиться плодами какого-нибудь дерева, тотчас же хватаются за топор и срубают самое дерево, затем спокойно усаживаются вокруг ствола и, спеша полакомиться, поедают плоды. Я применил бы это сравнение к упомянутым дамам. После Шекспира, проникновенно показавшего нам образ одной из этих женщин в лице Клеопатры, которую я как-то назвал *reine entreteneue*,¹ — их, конечно, с величайшей верностью изобразил наш друг Оноре де Бальзак. Он описывает их так, как натуралист описывает породу животных или патолог — болезнь: без наставительной цели, без любви или отвращения. Наверно, ему никогда не приходило в голову скрашивать подобные явления или же реабилитировать их, чего не допустили бы ни искусство, ни нравственность.

ПОЗДНЕЙШАЯ ЗАМЕТКА

(1854)

Отчет о первом представлении драмы, возбуждающей любопытство уже благодаря славному имени автора, должен быть написан и отослан с большой поспешностью, чтобы злопыхательские оценки и клеветнические толки не могли его опередить. Поэтому в предшествующей статье совершенно отсутствует подробная оценка писателя, или, вернее, писательницы, решившейся на первый драматургический опыт — опыт, который совершенно ей не удался, так что чело, привыкшее к лавровым венкам, на этот раз было увенчано весьма роковыми терциями. Восполняя этот пробел в нашем отчете необходимыми сведениями, мы приводим здесь из очерка, написанного несколько лет тому назад, некоторые замечания о личности, или, вернее, о впечатлениях от личности Жорж Санд. Вот они.

«Как известно, Жорж Санд — псевдоним, *nom de guerre*² прекрасной амазонки. При выборе этого имени ею руководило отнюдь не воспоминание о несчастном Занде, убийце Коцебу, единственного комедиографа среди немцев. Это имя наша героиня выбрала потому, что оно —

¹ Царицей-содержанкой (*франц.*).

² Ратная кличка (*франц.*).

первый слог имени Сандо; так звали ее возлюбленного, почтенного писателя, не сумевшего, однако, с целым своим именем достичь такой славы, какой достигла его любимая с половиной этого имени, которую она, смеясь, захватила с собой, покидая Сандо. Настоящее имя Жорж Санд — Аврора Дюдеван; эту фамилию Дюдеван и носит ее законный супруг, — и он вовсе не миф, как можно было бы подумать, а живой дворянин из провинции Берри, которого я однажды имел удовольствие видеть собственными глазами. Я даже видел его у супруги, уже разведенной с ним в то время, в ее маленькой квартире на набережной Вольтера, и то обстоятельство, что я видел его именно там, уже само по себе так достопримечательно, что, как сказал бы Шамиссо, я сам мог бы показывать себя за деньги. У него было невыразительное, филистерское лицо, и не казался он ни злым, ни грубым; но я сразу же понял, что сыровато-прохладная будничность, этот неподвижный взгляд, эти монотонные движения, как у фарфорового болванчика, могли бы быть очень приятны женщине заурядной, но они могли в конце концов внушить боязнь женщине с более глубокой душою и даже преисполнить ее такого ужаса и трепета, что заставили бежать.

Фамилия родителей Санд — Дюпен. Она дочь человека незнатного, сына знаменитой, но теперь забытой танцовщицы Дюпен. Эта Дюпен, говорят, была дочерью маршала Морица Саксонского, который и сам принадлежал к сотням внебрачных детей, оставленных курфюрстом Августом Сильным. Мать Морица Саксонского была Аврора Кенигсмарк, и Аврора Дюдеван, названная по имени своей прародительницы, тоже дала своему сыну имя Морис. Этот сын и дочь ее Соланж, вышедшая замуж за скульптора Клезингера, — единственные дети Жорж Санд. Она всегда была превосходной матерью, и я нередко по целым часам просиживал на уроках французского языка, которые она давала своим детям, и жаль, что на них не присутствовала вся Académie française,¹ так как она могла бы извлечь из них большую пользу.

Жорж Санд, величайшая писательница, вместе с тем и красивая женщина. Она даже исключительно красива.

¹ Французская академия (франц.).

Лицо ее, так же как и гений, обнаруживающийся в ее произведениях, можно скорее назвать прекрасным, чем интересным; интересное лицо — это всегда миловидное или остроумное отклонение от типа красоты, а черты Жорж Санд являют печать именно греческой правильности. Черты эти, однако, не резки, и их смягчает чувствительность, покрывающая их словно скорбной вуалью. Лоб невысок, и чудные вьющиеся темно-каштановые волосы, разделенные пробором, падают до плеч. Глаза немного тусклы, во всяком случае не блестящи, и, быть может, огонь их померк от слез или же перешел в ее произведения, которые по всему миру распространили пламя пожара, озарили не одну безотрадную темницу, но, пожалуй, зажгли гибельным огнем и не один мирный храм добродетели. У автора «Лелии» — тихие, кроткие глаза, не напоминающие ни о Содоме, ни о Гоморре. Нос ее — это не эмансипированный орлиный нос и не остроумничавший вздернутый носик; это вполне обыкновенный прямой нос. На губах ее обычно играет добродушная улыбка, но улыбка эта не особенно привлекательна: несколько отвисшая нижняя губа обличает усталую чувственность. Подбородок — полный, но пропорциональный и красивый. Плечи тоже прекрасны, даже великолепны. Таковы же очень маленькие руки и ноги. Прелесть груди пусть описывают другие современники: я признаюсь в моей некомпетентности. Остальная часть тела, по-видимому, немного толста, во всяком случае коротковата. Лишь голова носит печать идеала, напоминающая благороднейшие памятники греческого искусства, и в этом смысле один из наших друзей, пожалуй, имел основание сравнивать эту прекрасную женщину с мраморной статуей Венеры Милосской, выставленной в нижних залах Лувра. Да, Жорж Санд прекрасна, как Венера Милосская, она даже превосходит ее некоторыми свойствами: например, она много моложе. Физиономисты, утверждающие, что голос человека служит самым несомненным выражением его характера, оказались бы в большом затруднении, если бы в голосе Жорж Санд они захотели найти выражение ее необыкновенной задушевности. Голос ее тускл и вял, лишен металла, но нежен и приятен. Естественность ее речи придает ему некоторую прелесть. Способностей к пению у ней нет и в помине; Жорж Санд

поэт разве что с бравурностью прекрасной гризетки, которая еще не позавтракала или почему-либо не в голосе. Голос Жорж Санд так же не блестящ, как и то, что она говорит. В ней нет и следа брызжущего остроумия ее соотечественниц, но также нет и следа их болтливости. В основе этой склонности к молчанию лежит, однако, не скромность и не сочувственное внимание к речи собеседника. Жорж Санд немногословна, но скорее из высокомерия, так как считает собеседника недостойным того, чтобы расточать перед ним свой ум, или, пожалуй, из эгоизма, так как старается из его речи впитать все лучшее, чтобы переработать затем в своих книгах. Жорж Санд из скупости умеет ничего не дать в разговоре, но всегда что-нибудь взять, — на эту черту как-то обратил мое внимание Альфред де Мюссе. «У нее благодаря этому большое преимущество перед всеми нами», — сказал Мюссе, который, долгое время будучи *cavaliere servente*¹ этой дамы, имел полную возможность основательно изучить ее.

Жорж Санд никогда не сострит, да и вообще она одна из самых неостроумных француженок, каких я знаю. Когда говорят другие, она слушает их с милой, порою странной улыбкой, и чужие мысли, воспринятые и переработанные ею, выходят из реторты ее ума гораздо более драгоценными. Она очень чуткая слушательница. Она также охотно внимает советам своих друзей. При нецерковном направлении ее ума у нее, разумеется, нет духовного отца; но так как женщины, даже столь эмансипированные, все же нуждаются в мужском руководстве, в мужском авторитете, то у Жорж Санд есть нечто вроде литературного *directeur de conscience*² — в лице философского капуцина Пьера Леру. К сожалению, он очень пагубно влияет на ее талант, заставляя ее пускаться в какие-то смутные рассуждения, развивать полувывошенные идеи, вместо того чтобы отдаваться ясной радости созидания ярких и четких образов, служить искусству для искусства. Обязанности гораздо более светского характера Жорж Санд возложила на нашего многолюбимого Фредрика Шопена. Этот великий композитор и пианист долго был

¹ Верным служителем (*итал.*).

² Духовного отца (*франц.*).

ее *cavalicre servente*; незадолго до его смерти она отпустила его в отставку; правда, в последнее время должность его превратилась в синскуру.

Не знаю, как мой друг Генрих Лаубс мог некогда во «Всеобщей газете» приписать мне утверждение, гласившее, что тогдашним любовником Жорж Санд был гениальный Франц Лист. Ошибка Лаубс, вероятно, была вызвана ассоциацией идей, по которой он спутал имена двух одинаково знаменитых пианистов. Пользуясь случаем оказать истинную услугу доброму имени, вернее — эстетической репутации этой дамы, заверяю моих немецких соотечественников в Вене и Праге, что если там один из самых презренных, косноязычных сочинителей романсов, безыменное насекомое, расхвастался, будто он находился в интимных отношениях с Жорж Санд, то это — презренная клевета. У женщины бывают разные формы идиосинкразии, и даже есть женщины, глотающие пауков; но я не встречал женщины, которая глотала бы клопов. Нет, этот хвастливый клоп никогда не был по вкусу Леллии, и она только изредка терпела его подле себя, потому что он был уж слишком настойчив.

Как я уже упомянул, Альфред де Мюссе долго был другом сердца Жорж Санд. Странное совпадение: величайший французский прозаик и величайший среди нынешних французских поэтов (во всяком случае, величайший после Беранже), пылая страстной любовью друг к другу, долгое время составляли увенчанную лаврами чету. Жорж Санд в прозе и Альфред де Мюссе в стихах действительно превосходят столь прославленного Виктора Гюго, который с жутким упрямством, с почти безумной настойчивостью убедил французов, а потом и себя, что он величайший поэт Франции. Была ли это и в самом деле его навязчивая идея? Во всяком случае, мы ее не разделяем. Странно! Свойство, которого больше всего ему недостает, есть именно то свойство, которое выше всего ценится французами и принадлежит к их прекраснейшим особенностям. Свойство это — вкус. Так как у всех своих писателей они видят вкус, то, быть может, в полном отсутствии его у Виктора Гюго они как раз и находят оригинальность. Для нас самое нестерпимое в нем — отсутствие того, что мы, немцы, называем естественным; он неестественен, фальшив, и часто одна половина стиха

старается оболгать другую; он страшно холоден, даже и в самых страстных своих излияниях, как дьявол, который, по словам ведъм, холоден словно лед; воодушевление его — лишь фантазмагория, расчет без любви; вернее, он любит только самого себя; он эгоист, и, что еще хуже, он гюгоист. Мы видим тут скорее жестокость, чем силу, дерзкий, железный лоб и, при всем богатстве фантазии и остроумия, — беспомощность выскочки или дикаря, который неумело, сверх всякой меры, разукрасил себя золотом и драгоценными камнями и потому смешон; словом — варварская причудливость, пронзительная дисгармония и самое жуткое уродство! Кто-то сказал о таланте Виктора Гюго: «C'est un beau bossu!»¹ Смысл этих слов глубже, чем думают те, кто прославляет совершенства Гюго.

Я хочу указать здесь не только на то, что герои его романов и драм обременены горбами, но что и сам он умственно горбат. Наше новое учение о тождестве считает законом природы, что внутреннему духовному облику человека соответствует и внешний его, телесный облик. Я с этой мыслью приехал во Францию и однажды сознался моему издателю Эжену Рандюэлю, который был также издателем Гюго, что, заранее составив себе понятие об этом последнем, я немало был удивлен, когда в Викторе Гюго увидел человека, не отягощенного горбом. «Да, изъян в нем незаметен», — рассеянно заметил Рандюэль. «Как? — воскликнул я, — значит, он в самом деле не без того?» — «Не вполне», — был смущенный ответ, и после многих настояний друг Рандюэль сознался мне, что раз утром он застал г-на Гюго в ту минуту, когда тот менял рубашку, и тут-то заметил, что одно из его бедер, кажется, правое, так неправильно выступает вперед, как это бывает только у людей, про которых народ говорит, будто у них есть горб, но только неизвестно, где он находится. Народ с остроумной паявностью называет таких людей неудавшимися, фальшивыми горбунами, подобно тому как альбиносов он называет белыми маврами. Знаменательно, что именно от издателя поэта не укрылся этот изъян. «Никто не может быть героем в присутствии своего камердинера», — говорит пословица, и даже величайший писатель не всегда окажется героем

¹ Это красивый горбун! (франц.).

в присутствии своего издателя, этого подкарауливающего камердинера его ума: издатели слишком часто видят нас в нашем человеческом неглиже. Во всяком случае, меня очень развеселило открытие Рандюэля, так как оно спасает идею моей немецкой философии, а именно, что тело есть зримый дух и что духовные изъяны обнаруживаются и телесно. Я должен решительно опровергнуть ошибочное предположение, будто всегда бывает и наоборот: раз тело человека есть зримый дух, то внешнее уродство позволяет заключить и об уродстве внутреннем. Нет, и в самых искалеченных оболочках мы часто находим прямые, прекрасные души, и это тем понятнее, что телесные изъяны обычно вызваны физической причиной и нередко бывают результатом небрежного ухода или болезни, следующей за рождением. Напротив, изъяны души являются на свет вместе с нею, и таким образом у французского поэта, в котором все фальшиво, есть и фальшивый горб.

Мы облегчим себе оценку произведений Жорж Санд, если скажем, что они представляют решительную противоположность произведениям Виктора Гюго. У первого автора есть все, чего недостает второму: у Жорж Санд — правда, естественность, вкус, красота и вдохновение, и все эти свойства связаны между собой строжайшей гармонией. У гения Жорж Санд прекрасные, дивно округленные бедра, и все, что она чувствует и думает, дышит глубокомыслием и прелестью. Слог ее — откровение гармоничной и чистой формы. Но что касается материала ее произведений, ее сюжетов, которые нередко можно было бы назвать плохими сюжетами, то я воздержусь здесь от какого бы то ни было замечания и предоставлю эту тему ее врагам».

VI

Париж, 7 мая 1840 г.

В сегодняшних парижских газетах приводится донесение королевско-императорского австрийского консула в Дамаске королевско-императорскому генеральному консулу в Александрии касательно дамасских евреев, мученичество которых заставляет нас вспомнить самые мрачные дни средневековья. В то время как мы в Европе подвергаем поэтической переработке сказки средних веков и

развлекаемся теми жутко-наивными преданиями, которые нашим предкам внушали немалую боязнь; в то время как у нас лишь в стихах и романах говорится о ведьмах, волках-оборотнях и евреях, служителях сатаны, которым нужна кровь благочестивых христианских детей; в то время как мы смеемся и забываем, — там, на Востоке, начинают скорбно вспоминать о древнем суеверии и строить серьезнейшие физиономии, полные самого мрачного гнева и отчаяния смертельной муки! И тем временем палач истязает еврея, и еврей на скамье пыток сознается, что ему ради приближавшегося праздника пасхи нужно было немного христианской крови, дабы обмакнуть в нее пасхальные опресоки, и что ради этой цели он зарезал старого капуцина! Турок глуп и мерзок и рад предоставить в распоряжение христиан свои палки и орудия пытки, лишь бы их пустили в ход против преследуемых евреев: ибо ему ненавистны обе секты, и на тех и на других он смотрит, как на собак, он называет их этим почетным именем и радуется, конечно, когда гяур-христианин дает ему возможность с некоторой видимостью законности помучить гяура-еврея. Но погодите: если это будет выгодно паше и если ему больше нечего будет бояться вооруженного влияния европейцев, — тогда он выслушает и обрзанную собаку, и она обвинит наших братьев-христиан бог знает в чем! Нынче — наковальня, завтра — молот!

Но для друга человечества это всегда будет источником глубокой скорби. Подобные явления — несчастья, последствий которых нельзя предугадать. Фанатизм — разный недуг, который распространяется в самых различных формах и в конце концов оборачивается и против нас самих. Французский консул в Дамаске граф Ратти-Мантон дал повод обвинить себя в таких вещах, которые вызвали здесь всеобщий крик ужаса. Это он прививал Востоку суеверие Запада и распространял среди черни Дамаска сочинение, обвиняющее евреев в умерщвлении христиан. Эта дышащая ненавистью книга, которую граф Мантон получил от своих духовных друзей с целью распространения, заимствована из «*Bibliotheca prompta a Lucio Ferrario*»,¹ и в ней содержится вполне определенное

¹ «Справочной библиотеки Лючио Феррарио» (*итал.*). (См. комментарий.)

утверждение, что евреям для праздника пасхи пужна христианская кровь. Благородный граф остерегся повторить связанное с этим средневековое предание, гласящее, будто евреи для той же цели крадут и освященные дары и вонзают в них булавки, пока не станет течь кровь, — злодеяние, о котором в средние века стало известно не только вследствие клятвенных показаний свидетелей, но также и вследствие того, что над еврейским домом, где распяты были украденные дары, встало яркое сияние. Нет, неверные, магометане, никогда бы этому не поверили, и граф Мантон, в интересах своей миссии, должен был прибегнуть к менее чудотворным измышлениям. Я говорю: «в интересах своей миссии» — и рекомендую глубже обдумать эти слова. Господин граф лишь с недавних пор в Дамаске; шесть месяцев тому назад его можно было видеть в Париже, этой кузнице всех прогрессивных, но также и всех ретроградных союзов. Здешний министр иностранных дел г-н Тьер, который совсем недавно старался выказать себя не только мужем гуманным, но даже и сыном революции, в отношении дамасских событий проявляет удивительную вялость. По словам сегодняшнего «Moniteur», в Дамаск уже отправлен вице-консул, который должен произвести следствие над тамошним французским консулом. Вице-консул! Наверное, какое-нибудь подчиненное лицо из соседнего ведомства, без имени и без поруки в его беспристрастии и независимости!

VII

Париж, 14 мая 1840 г.

Официальное сообщение, касающееся перенесения бранных останков Наполеона, произвело здесь действие, превзошедшее все ожидания правительства. Национальное чувство возбуждено до самых бездонных своих глубин, и великий акт справедливости, удовлетворение, которое дается великану нашего столетия и должно обрадовать все благородные сердца земного шара, представляется французам началом реабилитации их оскорбленной народной чести. Наполеон — их *point d'honneur*.¹

¹ Дело чести (франц.).

Однако умный председатель совета, который так удачно умеет шекотать и эксплуатировать национальное тщеславие наших милых кехенейн, зевак сенских берегов, проявляет большое равнодушие — и даже не только равнодушие — в вопросе, где речь идет уже не об интересах одной страны или одного народа, но об интересах самого человечества. Отсутствие ли проницательности или же либерального чувства позволило ему явно стать на сторону французского консула, которому в дамасской трагедии приписывается позорнейшая роль? Нет, г-н Тьер — человек весьма гуманный и проницательный, но он также и государственный муж, он нуждается не только в революционных симпатиях, ему нужны помощники всякого рода, он должен вступать в сделки, ему необходимо большинство в палате пэров; в качестве правительственного средства он может воспользоваться духовенством, именно той частью духовенства, которая, ничего не ожидая больше от старшей линии Бурбонов, примкнула к теперешнему правительству. К этой части духовенства, которую называют *clergé rallié*,¹ принадлежит очень много ультрамонтанов; их орган — газета под названием «Univers»;² спасения церкви они ожидают от г-на Тьера, он же в них ищет опоры. Граф Монталамбер, самый деятельный член благочестивой компании, а с 1 марта — еще и сеид г-на Тьера, является видимым посредником между сыном революции и отцами веры, между бывшим редактором «National» и нынешними редакторами «Univers», которые на столбцах своей газеты изо всех сил стараются уверить мир, будто евреи пожирают старых капуцинов и будто граф Ратти-Мантон — порядочный человек. Граф Ратти-Мантон — друг, а может быть, только орудие в руках друзей графа Монталамбера — был прежде французским консулом в Сицилии, где дважды обанкротился и откуда его убрали. Потом он был консулом в Тифлисе, который он тоже должен был покинуть, и притом по причинам не особенно почтенного свойства; я хочу лишь заметить, что русский посланник в Париже граф Пален решительно объявил

¹ Буквально: «присоединившиеся (т. е. примирившиеся) духовенство» (*франц.*).

² «Вселенная» (*франц.*).

тогда здешнему министру иностранных дел графу Моле, что в случае, если г-н Ратти-Мантон не будет отозван из Тифлиса, правительство русского царя удалит его с позором. Не следовало бы столь гнилое дерево брать на дрова, которыми хотят разжечь огонь.

VIII

Париж, 20 мая 1840 г.

Г-н Тьер стяжал себе новые лавры той убедительной ясностью, с которой он изложил в палате самые сухие и самые запутанные вопросы. Положение банков, равно как алжирские дела и сахарный вопрос, были нам представлены в его речи с полной наглядностью. Этот человек все знает; жаль, что он не занялся немецкой философией; он и в нее сумел бы внести ясность. Но кто знает! Если обстоятельства заставят его заняться Германией, он и о Гегеле и Шеллинге будет говорить так же поучительно, как о сахарном тростнике и свекловице.

Однако для интересов Европы торжественное возвращение земных останков Наполеона важнее, чем коммерческие, финансовые и колониальные вопросы, обсуждаемые в палате. Событие это продолжает занимать здесь все умы, как самые возвышенные, так и самые низкие. Меж тем как внизу, в народе, все ликует, все веселится, все горит и воспламеняется, — вверху, в более холодных общественных сферах, толкуют об опасности, которая с каждым днем все приближается со Святой Елены и угрожает Парижу весьма рискованным похоронным торжеством. Да, если бы прах императора завтра же можно было схоронить под сводом Дворца инвалидов, то еще можно было бы ожидать, что у теперешнего кабинета хватит силы предотвратить бурный взрыв страстей, возможный при этой церемонии. Но будет ли у него еще эта сила через шесть месяцев, в то время, когда гроб-триумфатор станет подыматься по Сене? Во Франции, шумной и беспокойной стране, за шесть месяцев могут произойти самые странные вещи. Тьер тем временем, может быть, снова окажется частным человеком (чего мы очень желали бы), или станет очень непопулярен как министр (чего мы очень опасаемся), или Франция впутается в войну, —

п тогда из щепла Наполеона могут брызнуть искры, совсем близко от кресла, покрытого красным трутом!

Может быть, г-н Тьер создал эту опасность, чтобы сделать себя незаменимым, так как все ведь верят в его искусство успешно преодолевать всякую опасность, созданную им самим. Или в бонапартизме он ищет блистательного прибежища на тот случай, если когда-нибудь ему придется совсем порвать с орлеанизмом? Г-н Тьер очень хорошо знает, что если бы, вернувшись в низины оппозиции, он помог низвергнуть нынешний трон, то у власти стали бы республиканцы и за лучшую из услуг оплатили бы ему худшей неблагодарностью; в самом благоприятном случае они тихонько оттолкнули бы его в сторону. Споткнувшись об эти грубые булыжники добродетели, он легко мог бы свернуть себе шею и к тому же подвергнуться осмеянию. Но со стороны бонапартизма ему нечего опасаться подобных вещей, если он поможет его восстановлению. А во Франции легче вновь установить бонапартистское правление, чем республику.

Французы, при всех своих республиканских свойствах, вполне бонапартисты по природе. Им недостает простоты, умеренности, внутреннего и внешнего спокойствия; они любят войну ради войны, даже в годы мира жизнь их — только шум и борьба; и стар и млад рады забавляться барабанным боем и пороховым дымом, трескучими эффектами всякого рода.

Польстив врожденному бонапартизму французов, г-н Тьер приобрел среди них исключительнейшую популярность. Или он стал популярен потому, что сам он — маленький Наполеон, как назвал его недавно один немецкий корреспондент. Маленький Наполеон! Маленький готический собор! Ведь готический собор именно тем и возбуждает в нас изумление, что он так колоссален, так велик. В уменьшенном виде он теряет всякий смысл. Г-н Тьер, разумеется, нечто большее, чем такой крошечный соборик. Своим умом он превосходит всех окружающих его, хотя многие среди них — высокого духовного роста. Никто не может с ним померяться, и в борьбе с ним самой хитрости приходится отступить. Он — умнейшая голова во Франции, хотя утверждают, что он сам признается в этом. В прошлом году во время правительственного кризиса он, с обычной своей поспешностью в речах, будто

бы сказал королю: «Ваше величество думаете, что вы — самый умный человек в этой стране, но я знаю здесь другого человека, который еще гораздо умнее, и человек этот — я!» Говорят, хитрый Филипп ответил ему: «Вы заблуждаетесь, господин Тьер; если бы это было так, вы бы этого не сказали». Но как бы то ни было, г-н Тьер п[р]о охаживается сейчас по апартаментам Тюильри с сознанием своего величия, как всемогущий министр орлеанской династии.

Долго ли продержится его всемогущество? Не надломлен ли он втайне уже и сейчас вследствие необычайного напряжения? Голова его поседела прежде времени, на ней, наверно, не отыщется больше ни одного черного волоса; и чем дольше он властвует, тем больше исчезает его зазорное здоровье. В легкости, с которой он двигается, теперь есть даже что-то зловещее. Но все же эта легкость необычайна и достойна удивления, и как ни легки и подвижны остальные французы, в сравнении с Тьером все они кажутся неуклюжими немцами.

IX

Париж, 27 мая 1840 г.

О кровавом дамасском деле северогерманские газеты напечатали ряд сообщений, из которых одни помечены Парижем, другие — Лейпцигом, но все, вероятно, вышли из-под одного и того же пера и, служа интересам известной клики, должны направить на ложный путь мнение немецкой публики. Мы оставим в тени личность корреспондента и мотивы, руководившие им, мы воздержимся также и от всякого рассмотрения дамасских событий; мы позволим себе только внести несколько поправок в то, что было сказано здешними евреями и здешней прессой по поводу этих событий. Но даже ставя себе эту задачу, мы руководимся скорее интересами истины, чем интересами отдельных лиц; а что касается здешних евреев, то возможно, что наше свидетельство будет скорее против них, чем в их пользу. Право, я охотней похвалил бы французских евреев, чем стал бы осуждать их, если бы они действительно, как сообщали упомянутые северогерманские газеты, проявили горячее сочувствие к своим несчастным единоверцам в Дамаске и не побоялись никаких денежных

жертв для спасения чести своей оклеветанной религии. Но дело обстояло иначе. Евреи во Франции уже слишком давно эмансипированы, чтобы племенная связь не ослабела в очень значительной степени, — они почти совсем потонули, вернее — растворились, во французской национальности; они совершенно такие же французы, как все другие, и поэтому тоже испытывают приступы энтузиазма, которые продолжаются двадцать четыре часа, а если солнце сильно греет — даже и три дня! И это относится к лучшим из них. Многие еще посещают еврейское богослужение, механически соблюдают внешние обряды, сами не зная почему, — по старой привычке; внутренней веры нет и следа, ибо и в синагоге, так же как и в христианской церкви, острая кислота вольтеровской критики оказала свое разрушительное действие. Для французских евреев, так же как и для остальных французов, золото — кумир дня и промышленность — господствующая религия. В этом смысле здешних евреев можно было бы разделить на две секты: секту *rive droite*¹ и секту *rive gauche*; ² названия эти связаны с двумя железными дорогами, которые ведут в Версаль, одна — вдоль правого, другая — вдоль левого берега Сены, и возглавляются двумя знаменитыми финансовыми раввинами, столь же резко враждующими друг с другом, как некогда в древнем граде Вавилоне рабби Самаи и рабби Гиллель.

Великому раввину *rive droite* барону Ротшильду мы должны отдать справедливость в том отношении, что к дому Израилеву он выказал симпатию гораздо более благородную, чем его многоученный антагонист, великий раввин *rive gauche*, г-н Бенуа Фульд, который, в то время как в Сирии по наущению французского консула пытали и душили братьев его по вере, с невозмутимым душевным спокойствием, достойным Гиллеля, произнес в палате французских депутатов несколько красивых речей о конвексии рент и банковском дисконте.

Участие, которое здешние евреи проявили к дамасской трагедии, свелось к весьма незначительным манифестациям. Израильская консистория собиралась и совещалась с обычной вялостью всех корпораций; единственным

¹ Правого берега (*франц.*).

² Левого берега (*франц.*).

результатом этих совещаний было мнение, что документам, относящимся к процессу, следует придать гласность. Г-н Кремье, знаменитый адвокат, давно уже посвящающий свое великодушное красноречие не только евреям, но также угнетенным всяких вероисповеданий и всяких догматов, взял на себя обнародование этих документов, и, за исключением одной прелестной женщины и нескольких молодых ученых, г-н Кремье, конечно, единственный человек в Париже, действительно вступившийся за дело Израилево. С величайшей готовностью жертвуя своими личными интересами, презирая коварство, подкарауливающее из-за угла, он бесстрашно выступил против самых злобных обвинений и вызвался даже ехать в Египет — в случае, если бы дело дамасских евреев было отдано на суд паши Мехмета-Али. Лживый корреспондент упоминавшихся выше северогерманских газет делает инсинуации насчет лейпцигской «Всеобщей газеты», с подлым коварством замечая вскользь, что возражение, которым г-ну Кремье удалось в здешних газетах разрушить лживые отчеты миссии, было напечатано им как объявление, за обычную в этих случаях плату. Мы знаем из надежного источника, что редакции газет выражали готовность поместить это возражение совершенно безвозмездно, но для этого нужно было ждать несколько дней, и лишь ввиду требований скорейшего напечатания некоторые редакции взяли деньги из расчета за один добавочный газетный лист, деньги, право же, не особенно значительные, если принять во внимание средства еврейской консистории. Денежная мощь евреев в самом деле велика, но опыт учит, что скупость их еще гораздо больше. Один из самых высокооцениваемых членов здешней консистории — скажем точно: цынят его в тридцать миллионов — г-н В. де Ромильи не дал бы, пожалуй, и ста франков, если бы к нему пришли с подпиской на спасение всего его племени! Тому, кто поднимет голос в защиту евреев, приписываются самые грязные денежные побуждения; это — старая, жалкая, но все еще не вышедшая из употребления выдумка; я убежден, что род Израилев никогда не давал денег, если только ему насильно не вырывали зубы, как во времена Валуа. Перелистывая недавно «Histoire des juifs»¹ Бас-

¹ «Историю евреев» (франц.).

нажа, я от души смеялся над наивностью, с которой автор, обвиненный противниками в том, что он получал деньги от евреев, защищался против подобного упрека; я верю ему на слово, когда он меланхолически заявляет: «Le peuple juif est le peuple le plus ingrat qu'il y ait au monde!»¹ Конечно, порой бывали случаи, когда тщеславию удавалось раскрыть законопаченные карманы евреев, но щедрость их оказывалась тогда еще более омерзительной, чем их скряжничество. Один бывший прусский подрядчик, который, в соответствии со своим еврейским именем Моисей, принял звучную фамилию, назвавшись бароном Дельмаром (ведь «Моисей» — значит: «вынутый из воды», а в переводе на итальянский язык — «del mare»), основал здесь недавно воспитательное заведение для детей обедневших дворян и затратил на это больше полутора миллионов франков — благородный поступок, поставивший его так высоко в мнении Сен-Жерменского предместья, что даже самые гордые вдовствующие старухи и самые насмешливые молодые девицы больше не издеваются над ним вслух. А пожертвовал ли этот дворянин из племени Давидова хоть один грош при подписке в пользу евреев? Я готов ручаться, что и другой вынутый из воды барон, разыгрывающий в благородном предместье роль gentilhomme catholique² и великого писателя, ни деньгами своими, ни пером не принял участия в деле своих соплеменников. Здесь я должен высказать замечание, может быть самое горькое. Среди крещеных евреев есть много таких, которые из трусливого лицемерия поносят Израиль еще более злобно, чем его природные враги. Также и некоторые писатели, стараясь, чтобы не вспомнили об их еврейском происхождении, или очень дурно отзываются о евреях, или совсем молчат о них. Это известное прискорбно-комическое явление. Но полезно, особенно сейчас, обратить на это внимание публики, так как не только в упоминавшихся северогерманских газетах, но даже и в одной гораздо более влиятельной можно было найти намеки на то, что все, писавшееся в пользу дамаских евреев, исходило из еврейских источников, что австрийский консул в Дамаске — еврей, что там и все

¹ Еврейский народ — самый неблагодарный народ на свете! (франц.).

² Католического дворянина (франц.).

прочие консулы, за исключением французского, — сплошь евреи. Мы знаем эту тактику, мы уже познакомились с пей в связи с «Молодой Германией». Нет, все консулы в Дамаске — христиане, и даже тамошний австрийский консул не еврей. Поручкой тому служит бесстрашие и резкость, с которой он выступил на защиту евреев против французского консула; что представляет собою последний, покажет время.

Х

Париж, 30 мая 1840 г.

Toujours lui! ¹ Наполеон и снова Наполеон! Он — непрестанная тема разговоров с тех пор, как возведено о его посмертном возвращении в отчизну, и особенно с тех пор, как палата приняла столь жалкое решение насчет необходимых издержек. Это — новая глупость, которую следует поставить рядом с отказом в дотации герцогу Немурскому. Вследствие упомянутого решения палата оказывается в опасном противоречии с симпатиями французского народа. Свидетель бог, что причиной было скорее малодушие, чем злоба. Сначала большинство в палате отнеслось к перенесению праха Наполеона с таким же воодушевлением, как и весь народ; но постепенно палата перешла к противоположному умонастроению, приняв в расчет возможные опасности и услышав грозное ликование бонапартистов, которое и в самом деле звучало не очень успокоительно. Тогда и врагов императора выслушали более благосклонно, и этим неблагоприятным расположением духа воспользовались как настоящие легитимисты, так и перешительные роялисты, с давней закоренелой злобой более или менее ловко выступив против Наполеона. Так, «Gazette de France» ² представила нам целую антологию из ругательств, направленных против Наполеона, а именно — выдержки из сочинений Шатобриана, г-жи де Сталь, Бенжамена Констан и т. д. У нашего брата, привыкшего в Германии к яствам более тяжелым, это вызвало улыбку. Было бы забавно, пародируя утонченность грубостью, поставить рядом с этими француз-

¹ Всегда он! (франц.).

² «Французская газета» (франц.).

скими цитатами такое же количество аналогичных мест из немецких авторов грубиянского периода. «Батюшка Ян» действовал бы навозными вилами, которыми колол бы корсиканца куда более свирепо, чем какой-нибудь Шатобриан, орудовавший легкой и сверкающей модной шпагой. Шатобриан и батюшка Ян! Какие контрасты и все же какое сходство!

Но если Шатобриан был пристрастен в своем суждении об императоре, то последний проявил еще большее пристрастие, когда на Святой Елене с уничтожающим презрением отозвался об иерусалимском пилигриме. А именно, он сказал: «C'est une âme rampante qui a la manie d'écrire des livres». ¹ Нет, Шатобриан — не пресмыкающаяся душа, он всего только шут, и притом грустный шут, тогда как другие — веселы и забавны. Он мне всегда напоминает меланхолического шута Людовика XIII. Кажется, того звали Анжели, он носил куртку черного цвета, а также и черный колпак с черными погремушками и отпускал печальные шутки. Для меня в пафосе Шатобриана есть всегда что-то комическое; в нем мне все время слышится позвякиванье черных бубенчиков. Но искусственное уныние, аффектированные думы о смерти становятся под конец столь же противны, сколь и однообразны. Ходят слухи, что писатель занят сейчас статьей о перенесении Наполеонова праха. Вот, в самом деле, отличный случай для него выложить все свои ораторские иммортели и крепы, всю помпу своей похоронной фантазии; памфлет его превратится в писанный катафалк, здесь не будет недостатка в серебряных слезах и траурных свечах, ибо он чтит императора с тех пор, как тот умер.

Г-жа де Сталь теперь тоже стала бы прославлять Наполеона, если б появлялась еще в салонах современников. Уже при возвращении императора с острова Эльбы, во время Ста дней, она была не прочь воспеть хвалу тирану и только ставила условием, чтобы предварительно ей выплатили те два миллиона, которые Франция будто бы задолжала ее покойному отцу. Но когда император не дал ей этих денег, у нее не оказалось нужного вдохновения для предложенных хвалебных песен, и Коринна сымпровизировала тирады, которые на этих днях так

¹ Это пресмыкающаяся душа, у которой мания писать книги (франц.).

услужливо повторила «Gazette de France»: «Point d'argent, point de Suisses!»¹ Что слова эти применимы также и к ее соотечественнику Бенжамену Констану, это — увы! — нам слишком хорошо известно. Но довольно выводить на свет личностей, поносивших императора. Достаточно того, что г-жа де Сталь умерла, Б. Констан умер и Шатобриан, так сказать, тоже умер: по крайней мере, как он давно уверяет нас, он занят исключительно своими похоронами, и его «Mémoires d'outre-tombe»,² которые он выпускает по частям, не что иное, как похоронная церемония, которой, в ожидании окончательной смерти, он распоряжается сам, подобно императору Карлу V. Словом, на него тоже можно смотреть как на мертвеца, и в своей статье он имеет право говорить о Наполеоне как о равном.

Однако не только упомянутые выдержки из старых авторств, но также и речь, которую в палате депутатов г-н де Ламартин произнес о Наполеоне, или, вернее, против Наполеона, неприятно меня поразила, хотя все в этой речи — правда. Нечестны в ней задние мысли, и оратор сказал правду в интересах лжи. Правда, тысячу раз правда, что Наполеон был враг свободы, деспот, венчанный эгоист и что прославление его — дурной, опасный пример. Правда, что у него не было гражданских добродетелей какого-нибудь Байи, какого-нибудь Лафайета и он попирает ногами законы и законодателей, чему и теперь еще есть кой-какие живые доказательства в люксембургской больнице. Но не этому Наполеону, не герою 18 брюмера, не богу-громовержцу честолюбия должны посвящать вы блистательнейшие погребальные игры и памятники! Нет, дело идет о том, чтобы прославить человека, который противопоставлял молодую Францию старой Европе: в лице его одерживал победы французский народ, в лице его он был унижен, в лице его он чтит и славит самого себя — и это чувствует каждый француз, и потому-то он забывает все темные черты покойного и прославляет его quand même,³ и палата своей несвоевременной скаредностью допустила крупную ошибку. Речь г-на де Ламартина явилась образцовым произведением, полным ко-

¹ Не будет денег, не будет и швейцарцев (*франц.*). (См. комментарий.)

² «Воспоминания с того света» (*франц.*).

³ Вопреки всему (*франц.*).

варных цветов, тонкий яд которых одурманил не одну слабую голову; но недостаток честности скудно прикрывается красивыми словами, и правительство скорее должно радоваться, чем огорчаться, если враги его так неловко выдали свои антинациональные чувства.

XI

Париж, 3 июня 1840 г.

Парижские газеты читаются и по ту сторону Рейна, как и вообще во всем мире, и там принято отрицать всякие заслуги отечественной прессы — в сравнении с прессой французской, достоинства которой преувеличиваются сверх меры. Правда, здешние газеты кишат суждениями, которые у нас в Германии вымарал бы и самый снисходительный цензор; правда, статьи во французских газетах пишутся лучше и бывают построены более логично, чем в газетах немецких, где автор еще должен выработать свой политический язык, с трудом пробиваясь сквозь девственные леса своих идей; правда, француз лучше умеет редактировать свои мысли и раскрывает их на глазах у публики до самой явственной наготы, тогда как немецкий журналист, скорее от застенчивости, чем от страха перед смертельным красным карандашом, старается окутать свои мысли вуалями всяческой неопределенности; и все же, если судить о французской прессе не по ее внешности, если заглянуть в ее внутреннюю жизнь, в конторы ее редакций, надо будет сознаться, что она страдает особым видом неволи, который совершенно чужд немецкой прессе и, быть может, пагубнее нашей зарейнской цензуры. Затем надо будет сознаться, что ясность и легкость, с которой француз приводит в порядок и излагает свои мысли, имеет источником сухую односторонность и механическое ограничение, гораздо более опасное, чем пышная путаница и беспомощное многословие немецкого журналиста! По этому поводу — короткое замечание:

Французская пресса в известной мере — олигархия, отнюдь не демократия; ибо основание французской газеты связано с такими расходами и трудностями, что издавать газету под силу только лицам, имеющим возможность рисковать крупнейшими суммами. Обычно поэтому деньги

на основании газеты дают капиталисты или вообще промышленники; при этом они спекулируют на сбыте газеты, если ей как органу известной партии удастся приобрести влияние, или же у них есть задняя мысль — впоследствии, как только газета приобретет достаточное число подписчиков, с еще большей выгодой продать ее правительству. Таким образом, обреченные служить целям уже имеющихся партий или кабинета, газеты впадают в зависимость, стесняющую их, и, что еще хуже, в односторонность при всяких сообщениях, в узкую партийность, по сравнению с которой препятствия, представляемые немецкой цензурой, должны бы казаться веселыми гирляндами из роз. Главный редактор французской газеты — кондотьер, защищающий и укрепляющий на ее столбцах интересы и стремления той партии, которая обещала ему хороший сбыт или денежную субсидию. Его помощники, его офицеры и солдаты повинуются в соответствии с военной субординацией и дают своим статьям требуемое направление и окраску, и поэтому газеты приобретают то единство и точность, которой мы издали не можем вдоволь надивиться. Здесь царит строжайшая дисциплина в мыслях и даже в выражениях. Если какой-нибудь невнимательный сотрудник не расслышит слов команды, если он напишет не совсем так, как гласил приказ, то главный редактор станет резать его статью по живому, с военной беспощадностью, какой не найти ни у одного немецкого цензора. Немецкий цензор тоже ведь немец, и при своей благодушной многосторонности он охотно вникает разумным доводам; но главный редактор французской газеты — практически односторонний француз, имеющий свое определенное мнение, которое он раз навсегда сформулировал себе определенными словами или которое его доверители передали ему в готовом, сформулированном виде. Если бы кто-нибудь пришел и принес ему статью, не совпадающую с целями его издания или хотя бы касающуюся темы, не особенно интересной для той публики, органом которой служит газета, редактор строго возвратил бы ее, произнеся при этом сакраментальные слова: «Cela n'entre pas dans l'idée de notre journal». ¹ Таким образом, поскольку каждая из здешних газет имеет свою определенную поли-

¹ Это не входит в задачи нашей газеты (франц.).

тическую окраску и свой определенный круг идей, вполне понятно, что тот, кто мог бы сказать нечто, выходящее за пределы этого круга идей и притом не имеющее той или иной партийной окраски, не нашел бы органа для изложения своих взглядов. Да, чуть только вы отклонитесь от обсуждения интересов нынешнего дня, от так называемых злободневных тем, чуть только вы станете развивать мысли, чуждые банальным вопросам партий, чуть только вы пожелаете говорить хотя бы об интересах человечества, редакторы здешних газет с проницательной вежливостью возвратят подобную статью; а так как с публикой здесь можно говорить лишь через посредство газет или газетной рекламы, то хартия, разрешающая каждому французу обнародование его мыслей путем печати, является горькой насмешкой для гениальных мыслителей, друзей всего мира, и для них фактически вовсе не существует свободы печати: «Cela n'entre pas dans l'idée de notre journal».

Предшествующие замечания могут, пожалуй, объяснить некоторые непопятные явления, и я предоставляю пемецкому читателю черпать из них всякого рода полезные сведения. Но прежде всего они должны разъяснить, почему французская пресса не высказалась так решительно в пользу дамасских евреев, как этого, наверно, ожидали в Германии. Да, корреспондент «Лейпцигской газеты» и более мелких северогерманских газет, собственно, не грешил против истины, когда радостно сообщал, что французская пресса не выказала по этому случаю особой симпатии к Израилю. Но честная душа благо-разумно остереглась вскрыть причину этого явления, которая просто-напросто состоит в том, что председатель совета министров г-н Тьер с самого начала принял сторону графа Ратти-Мантона, французского консула в Дамаске, и высказал свое мнение по этому поводу редакторам всех газет, которые находятся в его распоряжении. Конечно, среди этих журналистов есть много честных, и даже очень честных людей, но теперь они, как этого требует военная дисциплина, повинуются команде генералиссимуса общественного мнения, в приемной которого они каждое утро собираются, чтобы принять l'ordre du jour,¹ и, наверное, не могут без смеха смотреть друг

¹ Ежедневный приказ по войскам (франц.).

на друга; французские гаруспики не умеют так хорошо ухаживать мускулами своего лица, как гаруспики римские, о которых говорит Цицерон. На своих утренних аудиенциях г-н Тьер с видом полнейшего убеждения уверяет, что евреи на празднике пасхи лакают христианскую кровь, *chacun à son goût*,¹ что это — дело известное: все показания свидетелей подтвердили, что дамаский раввин зарезал патера Томаса и выпил его кровь, — мясо же, вероятно, съели младшие служители синагоги; и в этом следует видеть печальное суеверие, религиозный фанатизм, который еще царит на Востоке, тогда как евреи Запада стали гораздо гуманнее и просвещеннее и некоторые из них отличаются отсутствием предрассудков и изысканным вкусом, например г-н фон Ротшильд, который, правда, не перешел в христианскую веру, но тем ревностнее обратился к христианской кухне и взял к себе в услужение величайшего христианского повара, любимца самого Талейрана, бывшего епископа Отенского. Примерно так рассуждает сын революции, к величайшему негодованию своей мамы, которая порой багровеет от гнева, слыша подобные речи развратного сына или даже видя, как он водит знакомство с ее злейшими врагами, например с графом Монталамбером — младоиезуитом, известным в качестве самого деятельного орудия ультрамонтанской шайки. Этот предводитель так называемых неокатоликов редактирует фанатическую газету «Univers» — газету, в которой пишут столь же умно, сколь и коварно; граф тоже обладает умом и талантом, но он — редкостная помесь дворянской надменности и романтического ханжества, и это сочетание всего наивнее сказывается в его легенде о святой Елизавете, венгерской принцессе, которую он, *entre parenthèses*,² объявляет своей кузиной; она, как оказывается, исполнена была такого страшного христианского смирения, что своим благочестивым языком лизала паршивейшим нищим их чирья и струпя и даже из чистейшего благочестия пила собственную мочу.

После таких указаний станет вполне понятен антилиберальный язык этих оппозиционных газет, которые в другое время били бы тревогу, кричали бы караул, негодуя

¹ Каждый — по своему вкусу (*франц.*).

² Между прочим; буквально: «в скобках» (*франц.*).

на фанатизм, вновь раздутый на Востоке, и на того мерзавца, который в качестве французского консула позорит там имя Франции.

Несколько дней тому назад г-н Бенуа Фульд поднял и в палате депутатов вопрос о поведении французского консула в Дамаске. Таким образом, я прежде всего должен взять обратно упрек, вырвавшийся у меня по адресу этого депутата в одной из моих предшествующих корреспонденций. Я никогда не сомневался в уме, в мыслительных способностях г-на Фульда; я тоже считал его одним из величайших дарований во французской палате; но я сомневался в его сердце. Когда люди, о которых я судил несправедливо, на деле опровергают мои обвинения, мне так приятно чувствовать себя пристыженным. Требования г-на Фульда свидетельствовали о большом уме и чувстве собственного достоинства. Лишь весьма немногие газеты напечатали выдержки из его речи; правительственные газеты не поместили и этих выдержек, но с тем большей подробностью сообщили возражения Тьера. В «Moniteur» я прочел их полностью. Выражение: «La religion à laquelle j'ai l'honneur d'appartenir»¹ — должно было сильно поразить немца. Ответ г-на Тьера был педантом коварства: прибегая к уклончивости, к умолчанию того, что ему якобы известно, к притворно боязливой сдержанности, он отлично сумел бросить на своих противников тень подозрения. Слушая его, действительно можно было поверить, что любимое кушанье евреев — мясо капуцинов. Но нет, великий историк и маленький богослов, нет, ни на Востоке, ни на Западе Ветхий завет не позволяет исповедующим его вкушать столь грязную пищу; отвращение, которое внушает евреям кровь, составляет их отличительную особенность, оно сказывается в главных догматах их веры, во всех их врачебных правилах, в их очистительных обрядах, в их основном учении о чистом и нечистом, в этом космогонически-глубокомысленном откровении материальной чистоты в животном мире, которое представляет как бы физическую этику и которое совершенно не было понято Павлом, отвергнувшим его как басню. Нет, потомки Израиля, чистого, избранного народа-жреца, не едят ни свиного мяса, ни старых францисканцев, они не пьют ничьей

¹ Религия, к которой я имею честь принадлежать (франц.).

крови, так же как не пьют и своей собственной мочи, не в пример святой Елизавете, пратетушке графа Монталамбера.

Самое прискорбное обстоятельство, обнаружившееся в этом кровавом дамаском вопросе, — то незнание восточных дел, которое мы замечаем у нынешнего председателя совета министров, блистательное невежество, которое может привести его к опаснейшим промахам, если потребует разрешения или хотя бы подготовки к разрешению не этот маленький сирийский вопрос о крови, а гораздо более важный, кровавый мировой вопрос, тот роковой, зловещий вопрос, который мы называем восточным. Суждения г-на Тьера обычно бывают правильны, но его послышки часто совершенно неосновательны; это фантазмы, высиженные в фанатическом солнечном зное монастырской Ливана и других притонов сусерия. Ультрамонтанская партия посылает к нему своих эмиссаров, и они рассказывают ему небылицы о могуществе римско-католических христиан на Востоке, а между тем восстание этих жалких латинян, право же, не выманило бы ни одного турецкого пса из его фаталистической конуры. Г-н Тьер думает, что Франции, исконному старшине латинян в делах веры, удастся когда-нибудь с их помощью одержать победу на Востоке. В этом отношении гораздо лучше осведомлены англичане; они знают, что эти жалкие обломки средневековья, отставшие от цивилизации на несколько столетий, опустились еще гораздо ниже, чем их властители-турки, и что, в случае падения османского государства, а пожалуй, и еще раньше, дело могут решить люди, исповедующие греческую веру. Верховный глава этих греческих христиан — не тот бедный малый, что носит сан патриарха константинопольского и чей предшественник был в Константинополе позорно повешен между двумя собаками; нет, их верховный глава — всемогущий русский царь, император и папа всех исповедующих святуя, православную греческую веру; он — их Мессия, одетый в броню, который освободит их от ига неверных, бог пушечного грома, который некогда водрузит победное знамя на башнях великой византийской мечети; да, это их политическое, равно как и религиозное, убеждение, и они мечтают о мировом греко-российско-православном господстве, протирающем свои длани с Босфора на Европу, Азию и Африку. И, что всего ужаснее, мечта эта — не мыльный

пузырь, лопающийся от дуновения ветра; в ней таится возможность осуществления, показывающая свои зубы и превращающая нас в камни, словно это — голова Медузы!

Слова, сказанные Наполеоном на Святой Елене, что мир в близком будущем превратится или в американскую республику, или в русскую всемирную монархию, — весьма неутешительное пророчество. Какая перспектива! В самом благоприятном случае — умереть республиканцем от монотонной скуки! Бедные потомки!

Выше я отметил, что англичане гораздо лучше французам осведомлены в восточных делах. Сейчас, более чем когда бы то ни было, Левант кишит британскими агентами, которые наводят справки о каждом бедуине, даже о каждом верблюде, бредущем через пустыню. Сколько цехинов в кармане у Мехмета-Али, сколько кишок в животе этого вице-короля Египта — все это знают совершенно точно в канцеляриях Даунинг-стрит. Тут не верят чудесным басням благочестивых мечтателей; тут верят лишь в факты и числа. Но не только на Востоке — Англия и на Западе имсет самых надежных агентов, и среди них мы нередко встречаем людей, которые со своими тайными миссиями соединяют обязанности корреспондента лондонской аристократической или правительственной газеты; они от этого не хуже осведомлены. При молчаливости британцев публика редко узнает о ремесле этих тайных корреспондентов, которые остаются неизвестными даже высшим сановникам Англии; только министр иностранных дел знает их и передает это знание своему преемнику. Заграничный банкир, если он должен произвести какой-нибудь платеж английскому агенту, никогда не узнает его имени: он только получает предписание выплатить определенную сумму лицу, которое удостоверит свои права, предъявив карточку с обозначением на ней известного номера.

ПОЗДНЕЙШАЯ ЗАМЕТКА

(Май 1854)

Предшествующая статья не была принята редакцией «Всеобщей газеты», и мы печатаем ее здесь по старым черновикам, случайно сохранившимся. Из этой статьи явствует, сколь незаслужен был упрек, сделанный в более

ранней статье депутату Бенуа Фульду; но, как мы показываем, нам в то время совсем не приходило в голову, что мы совершаем несправедливость. Также не приходило нам в голову оскорблять личность упомянутого депутата и цитировать с этой целью насмешливые слова газеты «National». Страстные друзья г-на Бенуа Фульда (а какой богач не окружен стаей друзей, страстно отстаивающих его честь!), правда, утверждали тогда, будто в конце какой-то статьи «Всеобщей газеты», помеченной той же буквой, что и мои статьи, следовательно — приписываемой мне, они прочли злостную цитату из «National», которая касалась генерал-прокурора Гебера и г-на Бенуа Фульда и в которой говорилось, что «последний был единственным лицом в палате, протянувшим руку генерал-прокурору, и что видом своим он напоминал речь какого-то *accusateur public*,¹ произносящего приговор». Право же, слабое понятие о моем характере и о моем уме составили себе эти милые люди, которые могли подумать, что я посмел бы нападать на такого человека, как Б. Фульд, если бы стрелы мне приходилось заимствовать из дурацкого колчана газеты «National»! Такое предположение в самом деле было оскорбительно для автора «Путевых картин»! Нет, эта цитата, эта пошлость вышла не из-под моего пера, и уж в отношении г-на Гебера я не позволил бы себе тогда никакого неприличия, по вполне понятным причинам. Я никогда не желал иметь дело с зловещей особой генерал-прокурора, чьи тайственные полномочия шире полномочий министра; есть особы, о которых вовсе не следует упоминать, если не занимаешься специально ремеслом демагога и не жаждешь славы узника. Я говорю это теперь, когда подобное объяснение не может быть превратно истолковано моими отважными и воинственными товарищами. В то время, когда появилась статья с глупой цитатой из «National», я воздержался от всяких разъяснений; я никому не мог предоставить право привлечь меня к ответу за статью, появившуюся анонимно и помеченную только буквой, которой не я помечал свои статьи, а редакция — чтобы удовлетворить административным целям, например для удобства расчетов, но отнюдь не для того, чтобы

¹ Общественного обвинителя (*франц.*).

sub rosa¹ подсказать почтенной публике имя автора, как если бы это была легко отгадываемая шарада. Так как только редакция, а отнюдь не истинный автор несет ответственность за всякую анонимную статью; так как редакция отвечает за свою газету не только перед тысячеголовым миром читателей, но нередко и перед совершенно безголовыми властями; так как ей приходится бороться с бесчисленными трудностями, материальными и моральными, — то надо было дать ей право приспособлять к своим насущным потребностям всякую принимаемую статью и по своему усмотрению черкать ее, сокращать, словом — производить над ней всякого рода манипуляции, чтобы сделать статью удобопечатаемой, хотя бы от этого и терпели серьезный ущерб добрые мысли и еще более добрый стиль автора. Писатель, который является действительно политическим писателем, должен ради дела, за которое он борется, идти на всякие горькие уступки перед лицом грубой необходимости. Есть немало темных, маленьких газет, в которых мы вполне могли бы с пылом и негодованием излить наше сердце, но у этих газет очень убогая и не имеющая никакого влияния публика, и писать в этих газетах было бы то же самое, что в трактире или в кофейне бахвалиться перед завсегдатаями, как это большей частью и делают наши великие патриоты. Мы поступаем гораздо умнее, когда, умерив нашу горячность, а порою даже скрываясь под маской, трезвыми словами высказываемся в газете, которая по праву называется всеобщей и всемирной газетой и во всех странах попадает в руки сотен тысяч читателей, черпающих в ней поучение. Здесь, даже подвергнувшись самым прискорбным искажениям, слово может оказать благотворное влияние; самый скудный намек превращается порой в плодотворное семя на почве, не ведомой нам самим. Если бы меня не одушевляла эта мысль, право же, я бы никогда не обрел себя на ужасную пытку — писать для «Всеобщей газеты». Так как я всегда был совершенно убежден в верности и честности благородного и любимого друга моей юности и моего соратника, редактирующего эту газету, то я терпеливо сносил страшную муку переделок и изменений, которым он подвергал мои статьи;

¹ Конфиденциально; буквально: «под розой» (лат.).

ведь я всегда видел честные глаза друга, который, казалось, хотел сказать раненому: «А я-то разве покоюсь на ложе из роз?» Этого смелого бойца немецкой прессы, который ради своих убеждений уже в юности вытерпел тюрьму и нищету, его, который столько сделал для распространения общепользных знаний, лучшего средства эмансипации, и вообще для политического блага своих сограждан, сделал гораздо больше, чем тысячи хвастливых горланов, — его эти горланы обвинили в раболепии, и радикальная чернь наградила «Всеобщую газету» ругательным названием «Аугсбургская девка».

Но я отдаюсь здесь течению, которое может унести меня слишком далеко. Ограничусь указанием на то, какую неволю я терпел ради высших патриотических соображений, когда писал для «Аугсбургской газеты». В этом отношении я нередко встречал непонимание даже в сферах, где обычно господствует понятливость. Так, например, случилось и с упомянутой выше цитатой из «National», приписанной по ошибке мне. Так как я не люблю страдать невинно, то мне в конце концов пришла в голову злополучная мысль в самом деле решиться на то государственное преступление, в котором меня обвиняли, и во время выборов в Тарбе депутату Верхних Пиренеев пришлось заплатить за мое неудовольствие. Так как я в конце концов сам сознаюсь во всякой несправедливости, то, к собственному стыду, отмечу здесь, что человек, в котором я отрицал все способности, вскоре после этого выказал себя государственным деятелем самого выдающегося значения. Это меня обрадовало.

XII

Париж, 12 июня 1840 г.

Бедных парижан бомбардирует сейчас письмами кавалер Спонтини, желая во что бы то ни стало напомнить публике о своей забытой персоне. У меня в эту минуту перед глазами циркуляр, который он рассылает редакторам всех газет, но ни один из них не хочет его печатать из уважения к человеческому здравому смыслу и былой славе Спонтини. Смешное здесь граничит с великим. Эта прискорбная слабость, выражающаяся, или, вернее, из-

ливающая свой гнев самым причудливым слогом, в равной мере достойна внимания врача и внимания лингвиста. Врач найдет здесь печальное проявление тщеславия, которое все более неистово разгорается в мозгу, по мере того как угасают в нем более благородные умственные силы, а лингвист увидит, какой получается забавный жаргон, если упрямый итальянец, который с трудом научился во Франции чуть-чуть говорить по-французски, усовершенствуя этот так называемый французско-итальянский язык, двадцать пять лет прожив в Берлине, благодаря чему прежняя тарабарщина окажется напшигованной причудливыми сарматскими варваризмами. Циркуляр помечен февралем, однако недавно снова прислан в Париж, ибо синьор Спонтини прослышал, будто здесь опять собираются ставить его знаменитое произведение, в чем он усматривает только ловушку; но этой ловушкой он хочет воспользоваться, чтобы его вызвали сюда. А именно, после патетической декламации, направленной против его врагов, он прибавляет: «Et voilà justement le nouveau piège que je crois avoir deviné, et ce qui me fait un impérieux devoir de m'opposer, me trouvant absent, à la remise en scène de mes opéras sur le théâtre de l'Académie royale de musique, à moins que je ne sois officiellement engagé moi-même par l'administration, sous la garantie du Ministère de l'Intérieur, à me rendre à Paris, pour aider de mes conseils créateurs les artistes (la tradition de mes opéras étant perdue), pour assister aux répétitions et contribuer au succès de la «Vestale», puisque c'est d'elle qu'il s'agit».¹ И среди этих Спонтинийских болот это еще единственное место, где под ногами — твердая почва; лукавство высовывает здесь длинные уши. Спонтини непременно хочет покинуть Берлин, где ему стало невозможно с тех пор, как там ставятся оперы Мейербера; год назад он на несколько недель приезжал в Париж и с утра до полуночи

¹ Вот именно та новая ловушка, которую я, кажется, угадал; поэтому, находясь в отсутствии, я считаю своим неизменным долгом воспротивиться возобновлению моих опер на сцене театра Королевской музыкальной академии, пока администрация, заручившись гарантией Министерства внутренних дел, не пригласит меня в Париж помогать артистам моими творческими советами (ибо традиция моих опер утрачена), присутствовать на репетициях и содействовать успеху «Весталки», так как речь ведь идет о ней (франц.).

бегал ко всяким влиятельным особам, добиваясь, чтобы его скорее вызвали сюда. Так как здесь большинство считало его уже давно умершим, то его внезапный приезд, точно явление призрака, вызвал немалый испуг. В лукавом проворстве этого скелета действительно было нечто жуткое. Г-н Дюпоншель, директор Большой оперы, совсем не допустил его к себе и в ужасе воскликнул: «Пусть эта интригующая мумия оставит меня в покое; мне уже достаточно приходится терпеть от интриг живых людей!» А между тем г-н Шлезингер, издатель Мейерберовых опер, — ибо свой визит к г-ну Дюпоншелю кавалер возвестил заранее, через посредство этого доброго и честного человека, — пустил в ход все свое убедительное красноречие, чтобы представить Спонтини в самом благоприятном свете. Выбрав себе этого достойного посредника, г-н Спонтини проявил всю свою проницательность. Проявлял он ее и при других обстоятельствах: например, если ему приходилось высказываться о каком-нибудь человеке, то он это делал всегда у ближайших друзей последнего. Он рассказывал французским писателям, что в Берлине он засадил под арест немецкого писателя, который писал против него. У французских певиц он жаловался на певиц немецких, которые не согласны поступать в Берлинскую оперу, если в контракте не будет оговорено, что им не придется петь ни в одной из опер Спонтини.

Но он во что бы то ни стало стремится в Париж; он больше не в силах оставаться в Берлине, куда, как он утверждает, он был сослан из-за ненависти своих врагов и где все еще его не оставляют в покое. На днях он писал в редакцию «France musicale»,¹ будто враги не удовлетворились тем, что прогнали его за Рейн, за Везер, за Эльбу; им хотелось бы прогнать его еще дальше, за Вислу, за Неман! В своей судьбе он находит большое сходство с судьбой Наполеона. Он мнит себя гением, против которого в заговоре все музыкальные силы. Берлин — его Святая Елена, а Рельштаб — его Гудсон Лоу. Но теперь следовало бы вернуть его останки в Париж и торжественно похоронить в музыкальном Dôme des Invalides, в Académie royale de musique.²

¹ «Музыкальной Франции» (франц.).

² Королевской музыкальной академии (франц.).

Альфа и омега всех сетований Спонтини — Мейербер. Когда здесь, в Париже, кавалер удостоил меня своим посещением, он был неисчерпаем в рассказах, пенившихся желчью и ядом. Он не может отрицать тот факт, что король прусский осыпает почестями нашего великого Джакомо и намеревается доверить ему высокие должности и звания, но этой королевской благосклонности он приписывает самые гнусные мотивы. В конце концов он сам поверил в свои выдумки и с самоуверенным видом убеждал меня, что однажды, когда ему случилось обедать у короля, его величество изволил после обеда сказать в веселой, откровенной беседе, что всеми силами старается привязать Мейербера к Берлину, дабы этот миллионер не растратил за границей своего состояния. Так как музыка, желание известной слабостью этого богача, то он, король, и старается воспользоваться этой слабой стороной его, чтобы почестями приманить честолюбца. «Печально, — будто бы добавил король, — что отечественному таланту, владеющему таким большим, почти гениальным, состоянием, приходилось растрчивать в Италии и в Париже свои добрые прусские звонкие талеры, лишь бы добиться славы композитора, — ведь то, что можно получить за деньги, есть и у нас в Берлине; и в наших оранжереях растут лавровые деревья для дурака, который хочет за них платить, и наши журналисты тоже неглупы и любят хорошие завтраки и хорошие обеды, и у наших поденщиков и торговцев солеными огурцами такие же крепкие, созданные для аплодисментов руки, как и у парижской клаци; если бы наши бездельники, вместо того чтобы сидеть в трактире, проводили вечера в опере и рукоплескали «Гугенотам», даже образование их выиграло бы от этого. Следует поднять моральное и эстетическое развитие низших классов, а главное, деньгам надо дать ход, особенно в столице». Так, по словам Спонтини, выразился его величество, словно оправдывая себя в том, что его, автора «Весталки», он принес в жертву Мейерберу. Когда же я заметил, что такие жертвы, приносимые монархом благосостоянию своей столицы, в сущности весьма похвальные, Спонтини перебил меня: «О, вы ошибаетесь: прусский король покровительствует плохой музыке не в целях политико-экономических, а скорее потому, что ненавидит

музыку и, конечно, знает, что для нее окажутся губительными пример и руководство человека, который, будучи лишен чувства правды и благородства, старается только угодить грубой толпе».

Я не мог не высказать открыто этому злобному итальянцу, что неблагоразумно с его стороны не признавать никаких заслуг за своим соперником. «За соперником!» — закричал он в ярости и десять раз изменился в лице, пока, наконец, оно опять не стало желтым, — но затем, взяв себя в руки, он спросил, язвительно оскали зубы: «А вы уверены, что Мейербер действительно автор той музыки, которая исполняется под его именем?» Я был немало смущен этим безумным вопросом и с удивлением услышал, что Мейербер в Италии скупал у бедных музыкантов их произведения и из них изготовлял свои оперы, которые, однако, проваливались, так как проданная ему дрянь была слишком ничтожна. Потом в Венеции у какого-то талантливового аббата он купил нечто лучшее и включил в «Crosiato». ¹ Он также владеет посмертными рукописями Вебера, которые своей болтовней он выманил у вдовы и которыми, наверно, еще воспользуется. «Роберт-дьявол» и «Гугеноты» будто бы в значительной своей части произведение некоего француза по имени Гуэн, который очень рад, что оперы его ставятся под именем Мейербера, ибо опасается лишиться места начальника почтового отделения: ведь его шефы перестали бы доверять его служебному рвению, если бы узнали, что он мечтательный композитор; филистеры считают, что практическая деятельность несовместима с артистическим дарованием, и почтовый чиновник Гуэн настолько благоразумен, что скрывает свое авторство и всю мировую славу предоставляет своему честолюбивому другу Мейерберу. Отсюда и тесная связь этих двух людей, интересы которых, связанные так же тесно, дополняют друг друга. Но отец всегда остается отцом, и добряк Гуэн обычно близко принимает к сердцу судьбу своих творений; подробности постановки и успех «Роберта-дьявола» и «Гугенотов» занимают его всецело, он присутствует на каждой репетиции, он постоянно ведет переговоры с директором оперы, с певцами, танцовщицами, с начальником клаки, с журналистами; он в своих

¹ «Крестоносца» (итал.).

смазных сапогах без кожаных штрипок бегаёт с утра до вечера по всем газетным редакциям, чтобы пристроить какую-нибудь рекламу в пользу так называемых Мейерберовых опер, и его неутомимость должна бы всякого привести в изумление.

Когда Спонтини сообщил мне эту гипотезу, я признал, что она не совсем лишена правдоподобия и что хотя неуклюжая наружность — кирпично-красное лицо, узкий лоб, жирные черные волосы — упомянутого г-на Гуэна скорее напоминает облик погонщика быков или мясника, чем композитора, тем не менее многое в его поведении заставляет подозревать, что он автор Мейерберовых опер. Ему случается порою называть «Роберта-дьявола» или «Гугенотов» «нашей оперой». У него вырываются такие выражения, как: «У нас сегодня репетиция», или: «Мы должны сократить одну арию». Также очень странно, что г-н Гуэн не пропускает ни одного представления этих опер, а когда аплодируют какой-нибудь браваурной арии, он до того забывается, что расклашивается во все стороны, словно желая отблагодарить публику. Во всем этом я признался яростному итальянцу. «Но все-таки, — прибавил я, — хоть я и собственными глазами замечал подобные вещи, я не считаю г-на Гуэна автором Мейерберовых опер; я не могу поверить, что г-н Гуэн написал «Гугенотов» и «Роберта-дьявола»; если же это действительно так, то в конце концов артистическое тщеславие наверно возьмет верх и господин Гуэн объявит себя автором этих опер».

«Нет, — возразил итальянец, бросив зловещий взгляд, острый, как обнаженный стилет, — этот Гуэн слишком хорошо знает Мейербера и не может не знать, какие средства находятся в распоряжении его ужасного друга, чтобы устранить всякого, кто ему опасен. Он был бы способен навеки засадить в Шарантон бедного Гуэна под предлогом, будто тот сошел с ума, и бедняге еще следовало бы радоваться, что он остался жив. Всякий, кто преграждает путь этому честолюбцу, должен посторониться. Где Вебер? Где Беллини? Гм! Гм!»

Несмотря на все бесстыдство его злобы, это «гм! гм!» было так уморительно, что я не без смеха заметил: «Но вы, маэстро, вы еще не убраны с дороги, так же как и Доницетти, или Мендельсон, или Россини, или Галеви». «Гм! Гм! — был ответ. — Гм! Гм! Галеви не стесняет

своего собрата, и последний готов был бы даже платить ему за одно только его существование в качестве безопасного лжесоперника, а про Россини он знает от своих шпионов, что тот больше не сочиняет ни одной ноты, да и желудок Россини достаточно уже пострадал, и он не притрагивается к фортепьяно, чтобы не вызывать подозрения у Мейербера. Гм! Гм! Но хвала богу! Умертвить можно только наши тела, но не произведения нашего таланта; они будут цвести, вечно юные, тогда как со смертью этого музыкального Картуша придет конец и его бессмертию и оперы его последуют за ним в немое царство забвения!»

Я с трудом обуздал свое негодование, слушая, с каким дерзким пренебрежением завистник-иноземец говорит о великом, достославном художнике, который составляет гордость Германии и усладу стран Востока и которому, конечно, заслуженно воздается дань восхищения, как истинному творцу «Роберта-дьявола» и «Гугенотов»! Нет, ничего столь прекрасного не мог создать Гуэн! При всем уважении к великому таланту, во мне, правда, иногда возникают серьезные сомнения насчет бессмертия этих мастерских произведений после смерти самого маэстро, но в моей беседе со Спонтини я все же принял такой вид, словно я убежден в продолжении их существования даже и после смерти их автора, и, чтобы позлить злобного итальянца, я конфиденциально сообщил ему известие, из которого он мог усмотреть, как дальновиден Мейербер в заботах о процветании своих произведений даже и после его смерти. «Эти попечения, — сказал я, — служат психологическим доказательством того, что не господин Гуэн, а великий Джакомо — настоящий их отец. А именно, он в своем завещании как бы учредил капитал в пользу своих музыкальных творений, причем каждому он завещал особый капитал, проценты с которого должны обеспечить будущность бедных сирот, так что даже после кончины папаши легко будут покрываться соответственные издержки на создание им популярности — на декорации, на клаку, восхваления в газетах и тому подобное. Даже еще не родившемуся маленькому «Пророку» нежный родитель будто бы пазначил сумму в 150 000 прусских талеров. Право, никогда еще не появлялся на свет пророк с таким большим состоянием; сын вифлеемского плотника и погонщик верблюдов из Мекки не были так бо-

гаты. Говорят, что «Роберт-дьявол» и «Гугеноты» не получают столь щедрой дотации; они, пожалуй, могут некоторое время жить за счет собственного жира, пока обеспечена роскошь декораций и пышные балетные ножки; позднее им понадобится прибавка. Дотация «Сросиато», по-видимому, не так блистательна; в этом случае отец имеет право немного поскупились и жалуется, что некогда в Италии беспутный малый стоил ему слишком дорого, что он — расточитель. Тем великодушнее печется Мейербер о своей несчастной, провалившейся дочери — «Эмме ди Ресбург»; каждый год в газетах будут делаться оглашения, ей изготовят новое приданое, и она появится в роскошном издании на атласно-веленовой бумаге. Любящее сердце родителей всегда преисполнено особенной нежности к жалким уродцам. Таким образом, все произведения Мейербера хорошо обеспечены, их будущность застрахована на вечные времена».

Ненависть ослепляет даже и умнейших людей, и не удивительно, что такой пылкий безумец, как Спонтини, не вполне усомнился в моих словах. Он воскликнул: «О! Он на все способен! Злосчастные времена! Злосчастный свет!»

На этом я кончаю, так как сегодня я и без того настроен очень трагически и мысли о смерти омрачают мой ум своею тенью. Сегодня схоронили моего бедного Сакоского, знаменитого художника кожаной обуви — по названию «сапожник» слишком ничтожно для Сакоского. Все парижские *marchands bottiers*¹ и *fabricants de chaussures*² провожали его тело. Ему было восемьдесят лет, и умер он от несварения желудка. Жил он мудро и счастливо. Его мало беспокоили головы современников, но тем более заботили его их ноги. Земля да будет тебе легка, как легки были твои сапоги!

XIII

Париж, 3 июля 1840 г.

На некоторое время у нас отдых, по крайней мере от депутатов и пианистов, двух страшных бедствий, от которых нам столько приходится терпеть всю зиму, до

¹ Торговцы сапогами (франц.).

² Фабриканты обуви (франц.).

самой весны. Бурбонский дворец и салоны господ Эрара и Герца заперты на все замки. Слава богу, политические и музыкальные виртуозы молчат! Те несколько стариков, что сидят в Люксембургском дворце, бормочут все тише или сонно кивают головой в знак согласия с решениями младшей палаты. Несколько недель тому назад эти старые господа два-три раза отрицательно покачали головой, и это было истолковано как угроза для кабинета, но это не было всерьез. Г-ну Тьеру менее всего следует ждать сильного сопротивления со стороны палаты пэров. На нее он может рассчитывать с еще большей уверенностью, чем на своих оруженосцев в палате депутатов, хотя и их он привязал к своей особе крепкими лентами и ленточками, риторическими гирильндами цветов и полновесными золотыми цепями!

Великая борьба должна бы, однако, разгореться будущей зимой, а именно, когда г-н Гизо, передав другому миссию посла, вернется из Лондона и возобновит свою оппозицию против г-на Тьера. Эти два соперника давно уже поняли, что они могут, правда, заключить короткое перемирие, но никогда не смогут совсем отказаться от своего поединка. С окончанием его, быть может, наступит и конец всего парламентского правления во Франции.

Г-н Гизо сделал большую ошибку, приняв участие в коалиции. Впоследствии он сам сознавался, что это была ошибка, и отчасти для того, чтобы реабилитировать себя, он и отправился в Лондон: на путях дипломатической карьеры он желал вернуть себе доверие иностранных держав, которое утратил как деятель оппозиции; ибо он рассчитывает, что во Франции при выборах председателя совета в конце концов опять одержит верх иностранное влияние. В то же время он, быть может, рассчитывает на кой-какие здешние симпатии, которых постепенно может лишиться г-н Тьер и которые перейдут к нему, к любимому Гизо. Злые языки уверяли меня, что доктринеры воображают, будто их любят уже и теперь. Так далеко простирается самоослепление даже у самых умных людей! Нет, господин Гизо, мы еще не дошли до того, чтобы любить вас; но мы также не перестали вас уважать. Несмотря на все наше пристрастие к его блистательно подвижному сопернику, мы никогда не отказывали в уважении тяжеловесному, хмурому Гизо; в этом человеке есть что-то прочное,

устойчивое, основательное, и я думаю, что интересы человечества ему дороги.

О Наполеоне сейчас больше уж нет речи; никто уже не думает здесь о его прахе, и это как раз внушает большие опасения. Ибо воодушевление, которое после непрестанной трескотни превратилось, наконец, в самую умеренную теплоту, вспыхнет новым пламенем через пять месяцев, когда останки императора торжественно придут в Париж. Большой ли вред причинят искры, летящие из пламени? Все зависит от погоды. Может быть, если рано наступят зимние холода и выпадет много снега, похороны будут весьма прохладные.

XIV

Париж, 25 июля 1840 г.

В здешних бульварных театрах представляют теперь историю жизни Бюргера, немецкого поэта; и мы видим, как он, сочиняя при лучшем свете «Ленору», сидит и поет: «Hurrah! Les morts vont vite,— mon amour, crains tu les morts?»¹ Право, это превосходный припев, и мы предпосылаем его нашей сегодняшней статье, и притом непосредственно относим его к французскому правительству. Труп исполина со Святой Елены, надвигаясь издалека, становится все грознее, а через несколько дней и здесь, в Париже, разверзнутся могилы, и поднимутся неуспокоенные кости июльских героев, и побредут к площади Бастилии, к страшному месту, где все еще являются призраки лета 89-го... Les morts vont vite,—mon amour, crains tu les morts?

Действительно, мы очень опасаемся предстоящих Июльских дней, которые в этом году будут отпразднованы особенно пышно, но, как полагают, в последний раз; правительство не всякий год может взваливать на себя бремя такого страха. Волнение в эти дни будет тем сильнее, чем родственнее звуки, доносящиеся из Испании, и чем ярче подробности восстания в Барселоне, где так на-

¹ Ура! Мертвые мчатся быстро,— любимая, боишься ли ты мертвецов? (*франц.*).

зываемые нищие забылись настолько, что позволили себе дойти до грубейшего оскорбления величества.

В то время как на Западе кончилась война за наследство и начинается настоящая революционная война, дела восточные запутываются в неразрешимый клубок. Сирийское восстание ставит французский кабинет в весьма затруднительное положение. С одной стороны, он хочет всем своим влиянием поддержать власть паши в Египте, с другой стороны, он не смеет отречься от маронитов, христиан Ливанской горы, поднявших знамя мятежа, ибо ведь знамя это — французское трехцветное знамя и, подняв его, мятежники хотят выказать себя приверженцами Франции, думая, что Франция лишь для вида поддерживает Мехмета-Али, втайне же натравливает сирийских христиан на египетские власти. Насколько обоснованы эти предположения? Действительно ли, как уверяют, восстание маронитов против паши затеяно вождями католической партии без ведома французского правительства, в надежде на то, что при слабости турок теперь удастся основать в Сирии христианское государство, изгнав оттуда египтян? Это столь же несвоевременное, сколь благочестивое начинание явится там причиной больших несчастий. Вспыхнувшее в Сирии восстание так возмутило Мехмета-Али, что он разъярился, как дикий зверь, замышляя ни больше ни меньше, как истребить всех христиан горы Ливанской. Лишь увещания австрийского генерального консула заставили его отказаться от этого нечеловеческого намерения, и многие тысячи христиан обязаны жизнью этому великодушному человеку, но еще больше обязан ему паша: ведь он спас его имя от вечного позора. Мехмет-Али неравнодушен к тому уважению, которым пользуется в цивилизованном мире, и г-н фон Лорен весьма удачно обезоружил его гнев, изобразив ему всю ту антипатию, которую он возбудил бы во всей Европе избиением маронитов, к величайшему ущербу для своей власти и своей славы.

Таким образом, старая система истребления народов постепенно вытесняется на Востоке европейским влиянием. Так же начинают признавать там и право личности на существование, и, в частности, ужасы пытки уступают место более мягкому уголовному судопроизводству. К этому результату и должна привести кровавая дамас-

ская история, и в этом смысле путешествие г-на Кремье в Александрию должно быть отмечено в анналах человечества как событие большой важности. Этот знаменитый законовед, принадлежащий к числу самых уважаемых во Франции людей и уже ранее упоминавшийся в этих статьях, отправился в свое воистину благочестивое странствие в сопровождении жены, пожелавшей разделить с ним все опасности, которыми ему угрожали. Пусть бы эти опасности, которыми его, быть может, хотели только напугать, лишь бы заставить отказаться от благородного начинания, оказались столь же ничтожны, как и люди, подготавливавшие их! Действительно, этот защитник евреев защищает вместе с ними дело всего человечества. Речь идет ни больше ни меньше, как о введении на Востоке европейского уголовного судопроизводства. Процесс дамасских евреев пачался с пытки; он не был доведен до конца потому, что обвиненному подвергся и австрийский подданный, — австрийский консул воспрепятствовал пытке. Теперь процесс должен начаться снова, и притом без обязательной пытки, без тех ее орудий, с помощью которых вырывали у обвиняемых бессмысленнейшие показания и наводили на свидетелей страх. Французский генеральный консул в Александрии готов сделать все возможное и невозможное, лишь бы помешать этому возобновлению процесса, ибо поведение французского консула в Дамаске может в этом случае предстать в слишком ярком свете и позор представителя Франции должен поколебать ее авторитет в Сирии. А в отношении Сирии у Франции широкие планы, которые восходят еще ко временам крестовых походов, планы, от которых не отказывалась даже и революция; с ними носился и Наполеон, и о них думает сам г-н Тьер. Сирийские христиане ожидают своего освобождения от французов, а французы, с каким бы свободомыслием ни вели себя дома, все же рады слыть благочестивыми защитниками католической веры на Востоке и потакают там фанатизму монахов. Этим мы объясняем себе, почему не только в Александрии г-н Кошле, но и в Париже наш председатель совета, сын революции, берут под свою защиту дамасского консула. Право, теперь речь идет не о высокой добродетели какого-нибудь Ратти-Мантона или скверных свойствах дамасских евреев, — может быть, между ним и этими евреями нет большой

разицы, и как первый слишком ничтожен, чтобы заслужить нашу ненависть, так и последние слишком ничтожны, чтобы возбуждать нашу любовь, — но теперь дело сводится к следующему: уничтожение пытки должно быть санкционировано на Востоке громким примером. Поэтому консулы европейских держав, а именно Австрии и Англии, ходатайствовали перед египетским пашой о том, чтобы процесс дамасских евреев был возобновлен без применения пытки, и, быть может, они, между прочим, испытывают и некоторое злорадство, видя, что именно г-н Кошле, французский консул, представитель революции и ее сын, противится возобновлению процесса и становится на сторону пытки.

XV

Париж, 27 июля 1840 г.

Злые вести следуют здесь, не переставая, одна за другой; но последняя, самая страшная, — о соглашении между Англией, Россией, Австрией и Пруссией против египетского паши, — возбудила как в правительстве, так и в народе гораздо больше воинственных ликований, нежели замешательства. Вчерашний номер «Constitutionnel» прямо объявил, что Франция позорно обманута и оскорблена, страшно оскорблена: ее заподозрили в трусливой покорности. Это сообщение кабинета о высиженном в Лондоне предательстве подействовало здесь, как призывный клич; казалось, прозвучал великий гневный крик Ахилла и оскорбленные национальные чувства и национальные интересы требуют перемирия между враждующими партиями. За исключением легитимистов, ждущих спасения только от иностранцев, все французы собираются вокруг трехцветного знамени, и война с «коварным Альбионом» — их всеобщий пароль.

Заметив выше, что воинственный дух вспыхнул и в правительстве, я под правительством подразумевал здешний кабинет и, в частности, нашего смелого председателя совета, который уже довел историю жизни Наполеона до конца Консульства и с южной пылкостью воображения следовал за своим героем в столь многочисленных победных странствиях и на полях стольких сражений. Быть

может, надо пожалеть, что он мысленно не принимал еще участия в русском походе и в великом отступлении. Если бы г-н Тьер дошел в своей книге до Ватерлоо, воинственный пыл его, пожалуй, поостыл бы немного. Но что гораздо важнее и гораздо более достойно внимания, чем воинственные склонности премьер-министра, это — неограниченное доверие, которое он питает к собственным военным талантам. Да, это факт, за который я могу поручиться на основании многолетних наблюдений: г-н Тьер верит твердо и непоколебимо, что не парламентские стычки, а настоящая война, со звоном оружия, — его врожденное призвание. Мы здесь не собираемся исследовать, правду ли говорит этот внутренний голос или же только льстит тщеславному самообольщению. Мы хотим обратить внимание лишь на то, что благодаря этому воображаемому призванию полководца г-н Тьер не особенно испугается пушек нового союза монархов, что втайне он, быть может, радуется той суровой необходимости, которая заставит его показать изумленному миру свои военные таланты, и что, наверное, в настоящее время французские адмиралы уже получили самые решительные приказания оборонять египетский флот от всяческих нападений.

Я не сомневаюсь в результате этой обороны, как ни страшна морская мощь англичан. Я недавно посетил Тулон и питаю большое уважение к французскому флоту. Этот флот значительнее, чем думают в Европе, ибо, кроме военных судов, число которых известно из сметы военных расходов и которыми Франция владеет, так сказать, официально, на верфях Тулона с 1814 года мало-помалу было построено почти вдвое больше судов, которые в течение шести недель могут быть полностью снаряжены. Но рухнет ли мир Европы и вспыхнет ли всеобщая война, если французский и английский флоты, встретясь в Средиземном море, начнут друг друга бомбардировать? Нисколько. Я в это не верю. Континентальные державы еще долго будут думать, прежде чем снова решатся затеять с Францией смертельную игру. А что до Джона Булля, то этот толстяк прекрасно знает, во что обойдется его карману война с Францией, даже если она останется совсем без союзников; словом, английская нижняя палата ни в коем случае не даст согласия на военные расходы, и в этом-то все дело. Но если бы все же возникла война

между этими двумя народами, то, выражаясь мифологически, это было бы злою шуткой со стороны древних богов, которые, желая отомстить за нынешнего своего коллегу Наполеона, намереваются, быть может, снова послать Веллингтона на поле сражения и заставят его проиграть битву генерал-фельдмаршалу Тьеру!

XVI

Париж, 29 июля 1840 г.

Г-н Гизо доказал, что он честный человек; он не сумел ни разглядеть тайное предательство англичан, ни помешать ему ответной хитростью. Он возвращается честным человеком, и никто не станет оспаривать у него премии за добродетель, *prix Monthyon*¹ нынешнего года. Успокойся, бритоголовый упрямец-пуританин, вероломные кавалеры морочили и дурачили тебя, но при тебе осталось гордое чувство собственного достоинства, сознание того, что ты не перестаешь быть самим собою. Как христианин и доктринер, ты терпеливо снесешь свою неудачу, и с тех пор как мы от всего сердца можем смеяться над тобой, для тебя в нашем сердце снова находится место. Ты снова — наш старый милый школьный учитель, и мы радуемся, что светский блеск не убил в тебе благочестивой учительской наивности, что хотя тебя вышучивали и теребили, ты все же остался честным человеком! Мы начинаем любить тебя. Лишь посольского поста в Лондоне мы тебе больше не доверим; тут нужен человек с ястребиным взором, вовремя умеющий проведать о происках коварного Альбиона, или совсем невежда, дюжий детина, не питающий ученой симпатии к великобританской форме правления, не умеющий произносить вежливых *speeches*² на английском языке, но отвечающий по-французски, когда его стараются провести двусмысленными речами. Советую французам отправить в Лондон в качестве посланника любого гренадера старой гвардии и, пожалуй, присоединить к нему Видока в качестве действительного тайного секретаря посольства.

¹ Премии Монтиона (*франц.*). (См. комментарии.)

² Речей (*англ.*).

Но в самом ли деле у англичан такие исключительные способности к политике? Чем вызвано их превосходство в этой области? Думаю, оно вызвано тем, что они существа насквозь прозаические, что их не сбивают с толку поэтические иллюзии, что их не ослепляет пылкая греза, что вещи они видят в самом трезвом виде, не забывая самой сущности фактов, точно рассчитывают условия времени и места и что в этом расчете им не мешает ни биение их сердца, ни полет великодушных мыслей. Да, их превосходство состоит в том, что у них совершенно нет воображения. В отсутствии его — вся сила англичан и, конечно, причина их удач в политике, как и во всяком реальном деле, в промышленности, механике и т. д. У них нет фантазии; в этом весь секрет. Их поэты — лишь блистательные исключения; потому-то они и приходят в столкновение со своим народом, коротконосым, узколобым, беззатылочным, избранным народом прозы, который в Индии и в Италии остается таким же прозаическим, холодным и расчетливым, как и на Треднидл-стрит. Их не опьяняет аромат лотоса, как не согревает их и пламя Везувия. К самому его кратеру они притаскивают свой чайный прибор и пьют там чай, приправленный *sant*.¹

Я слышал, что Тальони в прошлом году не имела успеха в Лондоне; право же, в этом — величайшая ее слава. Если бы она понравилась там, я бы начал сомневаться в поэзии ее ног. Сами они, сыны Альбиона, — отвратительнейшие в мире танцоры, и Штраус уверяет, что ни один из них не умеет танцевать в такт. Недаром он так опасно заболел в графстве Миддлсекс, насмотревшись на танцы старой Англии. Слуху этих людей чужды и такт и музыка вообще, и тем отвратительнее их противоестественная страсть к фортепьянной игре и к пению. Право, в этом мире нет ничего ужаснее английской музыки, разве только английская живопись. У англичан нет ни слуха, ни чутья красок, и порой я начинаю подозревать, что и обоняние их притуплено от насморка; весьма возможно, что по запаху они не в силах отличить обыкновенные яблоки от тех коричневых, которые лошадь роет на дороге.

¹ Лицемерным разговором (*англ.*).

Но храбры ли они? Сейчас это самое главное. Так ли отважны эти англичане, как их всегда описывали на материке? Хваленое великодушие английских милордов существует лишь на наших сценах, и вполне возможно, что слепая вера в хладнокровную отвагу англичан со временем исчезнет. Странное сомнение овладевает нами, когда мы видим, что нескольких гусар достаточно для того, чтобы разогнать бурный митинг ста тысяч англичан. Но если англичане, взятые в отдельности, даже и очень храбры, то все же масса ослаблена привычками и комфортом мирного периода, который длится уже более ста лет; в течение столь долгого времени война не беспокоила их в самой стране, а что до войны, которую им приходилось вести за границей, то вели они ее не собственными руками, а руками на вербованных наемников, продажных искателей приключений и купленных за деньги народов. Позволить стрелять в себя ради защиты национальных интересов — это не придет в голову гражданину Сити, даже лорд-мэру; ведь для этого есть люди, которым заплачено. Этот слишком долгий мир, слишком большое богатство и слишком большая нищета, политическая испорченность, являющаяся следствием представительного образа правления, изнуряющая фабричная жизнь, высоко развитый дух торговли, религиозное лицемерие, пие-тизм, этот вреднейший опиум, превратили англичан в народ столь же невоинственный, как китайцы, и, прежде чем они победят китайцев, французы, быть может, окажутся в состоянии, в случае удачного десанта, завоевать всю Англию с помощью менее чем стотысячного войска. В дни Наполеона англичанам постоянно грозила такая опасность, и только море, но отнюдь не население служило защитой этой стране. Если бы Франция располагала тогда флотом, каким она владеет теперь, или если бы изобретение парохода приносило уже такие же страшные плоды, как в наше время, Наполеон, конечно, высадился бы на английском берегу, как некогда Вильгельм Завоеватель, и не встретил бы сильного сопротивления именно потому, что уничтожил бы захватнические права норманского дворянства, оградил бы гражданскую собственность и соединил бы браком английскую свободу и французское равенство!

Все эти мысли с гораздо большей резкостью, чем я высказал их здесь, возникли в моей голове вчера, пока я

смотрел на шествие, тянувшееся за похоронной колесницей Июльских героев. Огромная толпа, серьезная и гордая, присутствовала на этом погребальном торжестве. Величественное зрелище, весьма знаменательное в настоящую минуту. Боятся ли французы нового союза держав, ополчившихся против них? По крайней мере в течение трех Июльских дней они никогда не испытывают страха, и я даже готов уверять, что те полтораста депутатов, которые еще находятся в Париже, самым решительным образом выскажутся за войну, в случае если оскорбленная национальная честь потребует этой жертвы. Но что важнее всего — Луи-Филипп, по-видимому, распростился с терпением, с которым он раньше переносил всякие обиды, и в случае необходимости готов на самые решительные меры. По крайней мере, он так говорит, и г-н Тьер уверяет, что порой он лишь с трудом сдерживает кипучее негодование короля. Или эта воинственность — только военная хитрость божественного страдальца Одиссея?

XVII

Париж, 30 июля 1840 г.

Биржа была закрыта вчера, так же как и третьего дня, и курсам предоставлен был досуг, чтобы оправиться от великого волнения умов. В Париже, как в Спарте, есть свой храм страха, и этот храм — биржа, в залах которой все трепещут тем боязливее, чем бурливее отвага, бушующая за ее стенами.

Вчера я с большим озлоблением высказался об англичанах. При ближайшем рассмотрении вина их оказывается меньше, чем я предполагал вначале. По крайней мере, английский народ дезавуирует своего уполномоченного. Один толстый британец, каждый год приезжающий сюда на 29 июля показывать своим дочерям фейерверк на мосту Согласия, уверяет меня, что в Англии царит сильнейшее негодование против дурака Пальмерстона, который мог бы предвидеть, что конвенция по вопросу о Египте должна крайне оскорбить Францию. Англичане сознаются, что со стороны Англии это в самом деле оскорбление, но не предательство, ибо Франция, по их словам, давно

знала, что Мехмета-Али собираются силой выгнать из Сирии; что французское правительство давало на то полное согласие; что само оно в отношении этой провинции играло весьма двусмысленную роль; что тайными вождями сирийского восстания являются французы, католический фанатизм которых встречает всяческое поощрение и симпатии не на Даунинг-стрит, а на бульваре Капуцинов; что уже в деле дамаских евреев — жертв пытки — французское правительство весьма скомпрометировало себя, благоприятствуя католической партии; что уже при этом случае лорд Пальмерстон достаточно выказал свое презрение к французскому премьер-министру, гласно опровергнув его утверждения, и т. д. Как бы то ни было, лорд Пальмерстон мог предвидеть, что конвенция неосуществима и что, следовательно, она зря вызовет возмущение французов, а это все-таки может иметь опасные последствия. Чем больше мы думаем обо всех этих событиях, тем больше они нас удивляют. Тут есть мотивы, которые до сих пор скрыты от нас, может быть, очень тонкие, политические мотивы, а быть может, и совсем простые.

Выше я упомянул о дамаской истории. О ней и до сих пор еще много говорят, в частности она служит темой постоянного отдела в газете «Univers», органе ультрамонтанской партии духовенства. Уже долгое время эта газета каждый день печатает по одному письму с Востока. Так как пароход из Леванта приходит лишь раз в неделю, то мы склонны здесь верить в чудо, тем более что дамасские события и без того переносят нас в полное чудес средневековье. Не чудо ли уже то, что сотканые из воздуха известия «Univers» находят отклик во Франции! Да, нельзя отрицать, что значительная часть французов не прочь поверить кровавой лжи и самые невежественные выдумки поповского коварства наталкиваются здесь на весьма вялые возражения. Мы с удивлением спрашиваем себя: неужели это Франция, родина Просвещения, где смеялся Вольтер и плакал Руссо? Неужели это французы, которые некогда в Соборе богородицы поклонялись богине Разума, восставали против обмана духовенства и в целом мире провозгласили себя национальными врагами фанатизма? Не будем несправедливы к ним: именно потому, что их еще воодушевляет слепой гнев против всякого суеверия, именно потому, что они, старые дети

XVIII века, во всякой религии готовы видеть самое дурное, они и последователей иудейской веры сочли способными на такие деяния и их легкомысленное отношение к дамамским событиям имело причиной не фанатическую ненависть к евреям, а ненависть к самому фанатизму. Если в Германии по поводу этих событий не могли возникнуть столь ограниченные мнения, то это свидетельствует лишь о том, что мы более учены; исторические познания так распространены в немецком народе, что даже самая жестокая злоба больше уж не посмеет пустить в ход кровавые сказки прошлого.

Как странно сочетаются во Франции в простом народе легкоеверие и величайший скептицизм, это я заметил несколько вечеров тому назад на площади Биржи, где какой-то человек установил подзорную трубу и за два су показывал Луну. При этом он рассказывал окружающим зевакам, как велика эта Луна — столько-то тысяч квадратных миль, — какие горы и реки есть на ней, сколько тысяч миль отделяет ее от Земли и разные другие вещи; старый портье, проходивший в это время со своей женой, почувствовал непреодолимое желание истратить два су, чтобы посмотреть на Луну. Однако его дражайшая половина воспротивилась этому и с рационалистическим пылом посоветовала ему лучше истратить эти два су на табак: все, что рассказывают о Луне, о ее горах, и реках, и сверхъестественной величине, — все это, мол, предрассудки, все это выдумали для того, чтобы выманить деньги у людей.

XVIII

Гранвиль (департамент Ламанш),
25 августа 1840 г.

Вот уже три недели, как я в Нормандии, и, изъездив ее вдоль и поперек, могу в качестве очевидца рассказать вам о настроении умов, вызванном последними событиями. Умы были уже и так достаточно взволнованы воинственными трубными звуками французской прессы, когда десант принца Луи дал повод ко всевозможным опасениям. Люди пугали себя самыми отчаянными предположениями. До сих пор здешние жители думают, что принц рассчи-

тывал на обширный заговор и что его долгая стоянка в Булони, у подножия памятника, была доказательством назначенного свидания, которое расстроилось из-за измены или по вине случая. Две трети многочисленных английских семейств, живущих в Булони, дали тягу, охваченные паническим ужасом, когда услышали в тихом городке несколько опасных ружейных выстрелов и увидели войну у самых своих дверей. Стараясь оправдать свой страх, эти беглецы принесли на английский берег ужаснейшие слухи, и известковые скалы Англии еще больше побелели от испуга. Вследствие этих слухов туземные родственники англичан, живущих в Нормандии, зовут их вернуться на счастливый остров, которого долго еще не коснутся опустошения войны, — то есть до тех пор, пока французы не снарядят достаточного количества паровых судов, с помощью которых можно осуществить десант в Англии.

В Булони этот паровой флот был бы до самого начала похода защищен множеством маленьких фортов. Эти форты, покрывающие все побережье Северного департамента и департамента Ламанш, воздвигнуты на скалах, которые высятся над морем и напоминают бросившие якорь каменные военные суда. За долгие годы мира эти крепости пришли в некоторый упадок, но теперь их весьма усердно снаряжают. Я видел, как со всех сторон тащат для этой цели множество блестящих пушек; они очень приветливо улыбались мне, ибо эти умные создания разделяют мою антипатию к англичанам и, конечно, выскажут ее гораздо более громогласно и метко. Между прочим, отмечу, что пушки французских береговых крепостей стреляют в полтора раза дальше, чем английские корабельные пушки, которые, правда, не отличаются от них калибром, но короче их.

Здесь, в Нормандии, слухи о войне пробудили все национальные воспоминания и национальные чувства, и дело представилось мне отнюдь не в шуточном свете, когда в гостинице Сен-Валери я услышал за столом, как обсуждают план десанта в Англии; ведь некогда на этом самом месте сел на корабль Вильгельм Завоеватель, и тогдашние товарищи его были совсем такие же норманны, как те добрые люди, которые теперь обсуждали при мне подобный же замысел. Пусть гордое английское дворянство

никогда не забывает, что в Нормандии есть и горожане и крестьяне, которые могут документами доказать свое кровное родство с благороднейшими семьями Англии и были бы весьма не прочь сделать визит дорогим своим кузенам и кузинам.

Английское дворянство — в сущности, самое молодое в Европе, несмотря на громкие имена, которые редко служат признаком происхождения, но обычно свидетельствуют лишь о том, что титул перешел по наследству. Преувеличенная надменность этих лордов и леди — возможно лишь проказы юных выскочек: ведь чем моложе родословное древо, тем зеленее и горше его плоды. Эта надменность вовлекла некогда английское рыцарство в губительную борьбу с демократическими стремлениями и требованиями Франции, и весьма возможно, что последние их шалости произошли из того же источника, ибо, к величайшему нашему изумлению, оказалось, что торн и виги в этом случае действовали заодно.

Но отчего восстания во имя аристократических интересов встречали всегда такой сильный отклик в английском народе? Во-первых, причина в том, что весь английский народ, джентри, как и *high nobility*¹ и как *mob*,² держатся самых аристократических взглядов, и во-вторых, в том, что от тайной ревности, словно от мучительного нарыва, сердца англичан чешутся и гноятся всякий раз, как во Франции расцветают довольство и благосостояние, как французская промышленность начинает преуспевать благодаря миру, а французский флот — расти и укрепляться.

Что касается, в частности, французского флота, англичанам приписывают отвратительнейшую зависть к нему, и действительно, во французских гаванях растет флот, который заставит поверить, что морская мощь французов способна через некоторое время превзойти морскую мощь англичан: последние уже двадцать лет находятся в одном и том же положении, тогда как первые деятельно развиваются. Как я уже заметил в одном из предшествующих писем, постройкой военных судов на тулонских верфях занимаются с таким рвением, что в случае войны Франция

¹ Высшее дворянство (англ.).

² Плебе (англ.).

может в короткий срок спустить на море почти вдвое больше кораблей, чем было у нее в 1814 году. Одна лейпцигская газета довольно резко опровергла это утверждение; я могу лишь пожалеть плечами, потому что подобные сведения черпаю не из пустых слухов, а из самых непосредственных наблюдений. В Шербуре, где я был неделю тому назад (в гавани там стоит довольно-таки много французских кораблей), меня уверяли, что и в Бресте кораблей вдвое больше, чем прежде, а именно, свыше пятнадцати линейных кораблей, фрегатов и бригов, с весьма приличным количеством пушек, что часть их полностью отстроена и вооружена, а часть не готова всего на какую-нибудь одну двадцатую долю. Через месяц я буду иметь случай познакомиться с ними лично. А пока что ограничусь сообщением, что и в Нижней Нормандии и на бретонском побережье, так же как и здесь, среди моряков господствует воинственнейшее возбуждение и делаются серьезнейшие приготовления к войне.

О боже! Только бы не война! Я боюсь, что французский народ, если его станут теснить, вытащит снова тот красный колпак, который воспаляет его голову гораздо сильнее, нежели волшебная шапка — бонапартистская треуголка! Я хотел бы поставить здесь вопрос, действительны ли и за границей те демонические разрушительные силы, что послушны во Франции этому старому талисману? Важно было бы исследовать, насколько значительны силы, приписываемые тому волшебному средству, о котором французская пресса так таинственно и угрожающе шептала и шипела последнее время, называя его пропагандой? По легко понятным причинам я должен воздержаться от подобных исследований, а что касается пропаганды, о которой столько толкуют, я позволю себе лишь аллегорический намек. Вам известно, что в Лапландии еще господствует язычество и что лапландцы, собираясь в море, перед отплытием отправляются к чародею, чтобы купить попутного ветра. Чародей дает им платок, завязанный на три узла. Как только выйдут в море и развяжут первый узел, нарушается затишье и подымается добрый попутный ветер. Когда развяжут второй узел, ветер усиливается и яростно воет непогода. А когда развяжут и третий узел, подымается самая лютая буря, она хлещет по бешеным волнам, и судно трещит и идет ко дну со всем,

что на нем есть живого. Бедный лапландец, когда приходит к чародею, уверяет, разумеется, что ему довольно и одного узла, доброго попутного ветра, что не нужен ему более сильный ветер и уж совсем ни к чему опасная буря; но это не помогает, ветер продается только *en gros*,¹ приходится платить за все три сорта, и горе лапландцу, если потом в открытом море он выпьет слишком много водки и в опьянении развяжет более опасные узлы! Французы не так косолопы, как лапландцы, хотя и у них хватило бы легкомыслия дать волю бурям, которые погубили бы их самих! Пока они еще очень далеки от этого. Меня с прискорбием заверяют, что французское правительство не проявило особой щедрости, когда некоторые прусские и польские ветрогоны (но отнюдь не чародеи) предлагали ему свой ветер.

XIX

Париж, 21 сентября 1840 г.

Без особенной добычи вернулся я на днях из поездки по Бретани. Это бедная, пустынная страна, а люди там глухие и грязные. Я не услышал ни единого звука тех прекрасных народных песен, которые думал собрать. Эти песни существуют теперь лишь в старых сборниках; я купил несколько таких песенников, но они писаны на бретонском диалекте, и, прежде чем цитировать, мне придется дать перевести их на французский язык. Единственная песня, которую я слышал во время моего путешествия, была немецкая; в городе Ренн, пока я брился, кто-то козлиным голосом и по-немецки пел на улице о брачном венке из «Волшебного стрелка». Самого певца я не видел, но слова о лиловом шелке целый день приходили мне на память. Франция теперь кишит немецкими нищими, которые кормятся пением и не особенно содействуют славе немецкой музыки.

О политическом настроении бретонцев я мало что могу сообщить: люди здесь высказываются не так легко, как в Нормандии; страсти здесь так же молчаливы, как и глубоки; и друзья и враги нынешнего правительства затаили

¹ Оптом (франц.).

немую злобу. В Бретани, так же как в начале революции, и сейчас еще находятся пламеннейшие энтузиасты свободы, и те ужасы, которыми им угрожает противная партия, превратили их рвение в кровожаднейшую ярость. Ошибаются те, что думают, будто бретонские крестьяне из любви к бывшим господам — дворянам — возмутятся за оружие при любом легитимистском призыве. Напротив, зверства старого режима еще очень свежи в их памяти, а знатные господа похозяйничали в Бретани достаточно жестоко. Может быть, вы помните то место в письмах г-жи де Севинье, где она рассказывает, как недовольные вилланы и roturiers¹ выбили стекла в доме генерал-губернатора и с какой жестокостью были казнены виновные. Число погибших от колесования, надо полагать, было очень велико, ибо, говоря о том, что после этой пытки пачали вешать, г-жа де Севинье весьма наивно замечает: «После колесования виселица — истинное отдохновение». Недосток любви восполняется обещаниями, и один бедный бретонец, деятельно участвовавший в каждом восстании легитимистов и ничего не заработавший на этом, кроме ран и нищеты, сознался мне, что на этот раз он уверен в награде, ибо Генрих V по возвращении своим будет платить пожизненную пенсию в пятьсот франков каждому, кто сражался за него.

Но если народ в Бретани питает к старому дворянству весьма прохладные и корыстные симпатии, то он тем безусловнее следует всем внушениям духовенства, под умственной и физической опекой которого он рождается, живет и умирает. Подобно тому как в древнекельтские времена бретонец повиновался друиду, так теперь он повинуется священнику и лишь через его посредство служит дворянству. Жорж Кадудаль, конечно, не был раболепным лакеем дворянства, так же как и Шаретт, высказавшийся об этом сословии с самым горьким пренебрежением и без обвиняков писавший Людовику XVIII: «La lâcheté de vos gentilshommes a perdu votre cause»;² но перед тонзурой своих начальников эти люди смиренно склоняли колени. Даже бретонские якобинцы никогда не могли вполне освободиться от своих церковных на-

¹ Низкородные (франц.).

² Трусость ваших дворян погубила ваше дело (франц.).

клонностей, и разлад всегда смущал их душу, когда свобода приходила в столкновение с их верой.

Но дойдет ли дело до войны? Сейчас — нет: однако злой демон снова на свободе и тревожит умы. Французское правительство поступило очень необдуманно, начав изо всех сил дуть в военные трубы и разбудив барабанным боем всю Европу. Подобно рыбаку в арабской сказке, Тьер откупорил бутылку, из которой поднялся страшный демон... Тьер немало испугался его исполинского роста и хотел бы хитрыми словами загнать его обратно. «Ты в самом деле вылез из такой маленькой бутылки?» — сказал рыбак великану и в доказательство потребовал, чтобы тот снова влез в ту же бутылку, а когда великан-дурак это сделал, рыбак заткнул бутылку хорошей пробкой... Почта отходит, и, подобно султанше Шехеразаде, мы прерываем наш рассказ, обещая вернуться к нему завтра, хотя и завтра не окопчим его из-за множества вставных эпизодов.

XX

Париж, 1 октября 1840 г.

«Читали ли вы книгу Варуха?» С этим вопросом по всему Парижу носился некогда Лафонтен, останавливая каждого знакомого и сообщая ему великую новость, что книга Варуха — чудесная книга, одна из лучших вещей, когда-либо написанных. Люди смотрели на него с удивлением и улыбались, может быть, так же, как улыбаетесь вы моему сегодняшнему письму, в котором я сообщаю важную новость, а именно, что «Тысяча и одна ночь» — одна из лучших книг, и даже из числа особенно полезных и поучительных в нынешнее время... Потому что по этой книге мы лучше узнаем Восток, чем по рассказам Ламартина, Пужула и компании, и если этих познаний и недостаточно для разрешения восточного вопроса, то, по крайней мере, они послужат нам маленьким развлечением в наших западных бедствиях. Когда читаешь эту книгу, чувствуешь себя таким счастливым! Уже самая рамка драгоценнее прекраснейших картин Запада. Какой чудесный малый — этот султан Шахриар, который наутро после брачной ночи немедленно умерщвляет своих жен!

Какая глубина чувства, какое страшное целомудрие, какая нежность понятий о браке сказывается в этом наивном подвиге любви, который до сих пор несправедливо считали жестоким, варварским, деспотическим! Этот человек питал отвращение к мысли, что чувства его могут загрязниться, а загрязненными они казались ему уже от одного того, что жена, которую он прижимал сегодня к своему высокому сердцу, может завтра упасть в объятия другого, какого-нибудь грязного нищего, — и он сразу же убивал ее после первой брачной ночи! Теперь, когда снова входит в почет столько непризнанных благородных мужей, которых бессмысленная толпа долгое время бесчестила и позорила, следовало бы постараться восстановить в общественном мнении и славного султана Шахриара. Сам я сейчас не могу взяться за это похвальное дело, так как я уже занят реабилитацией покойного короля Прокруста; а именно, я собираюсь доказать, что о Прокрусте до сих пор так несправедливо судили потому, что он опередил свое время и, живя в эпоху героическую и аристократическую, пытался осуществить наиболее плебейские идеи наших дней. Никто не понимал его, когда он укорачивал больших, а маленьких растягивал в длину, пока они не приходились по мерке его железного ложа равенства.

Республиканизм во Франции делает с каждым днем все более крупные успехи, и Робеспьер и Марат реабилитированы совершенно. О благородный Шахриар и воистину демократический Прокруст! Вам уже недолго дожидаться. Только теперь и могут вас понять. Правда в конце концов побеждает.

Дело г-жи Лафарж возбуждает еще более страстные толки, с тех пор как состоялся обвинительный приговор. Общественное мнение целиком склонилось в ее пользу, после того как благожелательность г-на Распайля упала на чашку весов. Если, с одной стороны, принять во внимание, что строгий республиканец выступает здесь вопреки интересам своей партии и своими утверждениями непосредственно контролирует суд присяжных, одно из популярнейших учреждений новой Франции, и если, с другой стороны, учесть, что человек, утверждение которого послужило суду основой для обвинительного приговора, — отъявленный интриган и шарлатан, цепляю-

щийся, как репейник, за одежды вельмож, впивающийся, как терновый шип, в тело угнетенного, льстящий высшим, злобно позорящий низших, фальшивый и в речах и в пении, — о небо! — тогда больше не будет сомнений, что Мария Капель невиновна и что к позорному столбу на рыночной площади в Тюлле надо было бы вместо нее поставить знаменитого токсиколога, декана медицинского факультета в Париже, г-на Орфила! У всякого, кто ближе наблюдал его и хоть немного знаком с происками этого тщеславного себялюбца, создается глубочайшее убеждение, что он не побрезгает никакими средствами, если ему представится случай выказать свою ученость и вообще усилить блеск своей славы! Действительно, этот скверный певец, который козлиным голосом распевает свои скверные романсы в парижских салонах, не щадя человеческого слуха, и готов убить всякого, кто стал бы насмехаться над ним, — он не задумается принести в жертву человеческую жизнь, если собравшуюся публику надо будет уверить в том, что никто не сравняется с ним в искусстве открывать тайные яды! Общественное мнение считает, что в трупе Лафаржа яда не имелось вовсе, зато тем больше было яда в сердце г-на Офила. Те, которые одобряют приговор суда присяжных в Тюлле, составляют ничтожное меньшинство и больше уже не проявляют прежней уверенности. Среди них есть люди, которые, правда, верят, что отравление было совершено, но смотрят на это преступление как на своего рода самозащиту и в известной степени оправдывают его. Лафарж, говорят они, виновен в большем злодеянии: чтобы выгодной женитьбой спастись от банкротства, он, так сказать, похитил благородную женщину, предательски обманутую им, и притащил ее в свою дикую, воровскую берлогу, где, окруженная грубой родней, терпя нравственные муки и смертельные лишения, бедная изнеженная, привыкшая удовлетворять свои духовные потребности парижанка, точно рыба, выброшенная на сушу, точно птица, оказавшаяся среди летучих мышей, точно цветок среди лимузинских гадов, обречена была сгнить, погибнуть жалкой смертью. Разве это не убийство и разве самооборону нельзя оправдать? — так говорят защитники и прибавляют: когда несчастная женщина увидела, что она поимана, заточена в глухой монастырь, называемый Гландье,

отдана под надзор старухе — матери вора, лишена помощи закона, даже скована самим законом, — тогда она потеряла голову, и к числу безумных средств, которые она сначала пустила в ход для своего освобождения, принадлежит знаменитое письмо, в котором она лгала свосму грубому супругу, что любит другого, что его не может любить, что лучше ему отпустить ее, что она убежит в Азию, а он пусть оставит себе ее приданое. Милая дурочка! В своем безумии она считала, что человек не может жить с женщиной, которая его не любит, что он от этого умрет, что это — смерть... Но когда она увидела, что человек может жить и без любви, что отсутствие любви не убивает его, тогда она прибегла к настоящему мышьяку... Крысиный яд для крысы! По-видимому, эти же мысли являлись и у присяжных в Тюлле, ибо иначе было бы непонятно, почему в своем приговоре они упоминали о смягчающих обстоятельствах. Несомненно, однако, что процесс дамы из Гландье — важный документ для всякого, кто занимается великим женским вопросом, от решения которого зависит вся общественная жизнь Франции. Необыкновенное участие, возбуждаемое этим процессом, вызвано сознанием собственных мук. Право же, плохо вам приходится, бедные женщины! Евреи в своих молитвах каждый день благодарят бога за то, что он не создал их женщинами. Как наивна молитва этих людей, которых именно рождение сделало несчастными, но которые судьбу женщины считают несчастьем самым страшным! Они правы — правы даже во Франции, где страдающие женщины прикрыты таким множеством роз.

XXI

Париж, 3 октября 1840 г.

Со вчерашнего вечера здесь царит волнение, не поддающееся никакому описанию. Гром бейрутских пушек находит отклик в груди каждого француза. Я сам словно ошеломлен: страшные опасения проникают в мою душу. Война — еще наименьшее из зол, которых я опасаюсь. В Париже могут случиться вещи, в сравнении с которыми сцены последней революции должны будут казаться все-

лым сном в летнюю почь! Последней революции? Нет, революция — еще все та же, мы видели только начало, и многие из нас не доживут до середины! Французы могут оказаться в скверном положении, если дело будет решаться штыками. Но убивает не железо, а рука, рука же повинуется душе. Весь вопрос теперь лишь в том, сколько душ ляжет на чашки весов. Перед bureaux de recrutements¹ становятся в очередь, как перед театрами, когда идет хорошая пьеса: бесчисленное множество молодых людей записывается добровольцами. Пале-Рояль кишит рабочими, которые читают газеты и при этом имеют весьма серьезный вид. Серьезность, которая сейчас проявляется почти безмолвно, несравненно опаснее, нежели болтливый гнев, господствовавший здесь два месяца тому назад. Говорят, что будут созданы палаты, а это, может быть, новое несчастье. Резонерствующие корпорации парализуют все деятельные силы правительства, если правительственная власть не находится целиком в их руках, как было, например, в конвенте 1792 года. Французы были тогда в гораздо худшем положении, чем сейчас.

XXII

Париж, 7 октября 1840 г.

Волнение умов возрастает с каждым часом. При жгучем нетерпении французов трудно понять, как они могут выносить эту неизвестность. «Решения, решения во что бы то ни стало!» — кричит весь народ, считающий, что честь его оскорблена. Действительное ли это оскорбление или только воображаемое, я не в состоянии решить; заявление англичан и русских, что они только хотят упрочить мир, звучит во всяком случае весьма иронически, когда в то же самое время пушечный гром в Бейруте доказывает обратное. Больше всего негодуют на то, что в Бейруте с особой охотой стреляли по трехцветному флагу над домом французского консула. В Большой опере третьего дня партер потребовал, чтобы оркестр сыграл «Марсельезу»; когда полицейский комиссар вос-

¹ Пунктами вербовки новобранцев (франц.).

противился этому требованию, публика запела без аккомпанемента, но с такой задыхающейся злобой, что слова застревали в горле и звучали как непонятный рев. Или французы забыли слова этой страшной песни и помнят только старую мелодию? Полицейский комиссар, вышедший на сцену, чтобы укротить публику, пробормотал, кланяясь во все стороны, что оркестр не может сыграть «Марсельезу», так как этой музыкальной пьесы нет на афише. Голос из партера возразил: «Мосье, это ничего не значит, потому что ведь и вас нет на афише». Сегодня префект полиции разрешил всем театрам играть «Марсельский гимн», и это обстоятельство я считаю немаловажным. В нем я вижу симптом, которому придаю большее значение, нежели всем воинственным тирадам правительственных газет. Они действительно уже несколько дней так сильно дуют в трубу Беллоны, что война, очевидно, представляется чем-то неизбежным. Самыми миролюбивыми оказались военный и морской министры, самым воинственным — министр просвещения, достойный человек, который со времени своего вступления в должность заслужил уважение даже своих врагов и развивает теперь деятельность, не уступающую его воодушевлению, но, конечно, не может так же хорошо судить о военных силах Франции, как министр морской или военный. Тьер никому и ни в чем не уступит, и он в самом деле герой нации. Национальный дух — мощный рычаг в его руках, и от Наполеона он узнал, что с помощью этого рычага французов легче привести в сильное возбуждение, чем с помощью идей. Несмотря на свой национализм, Франция остается представительницей революции, и только за нее борются французы, даже когда сражаются из тщеславия, корыстолюбия и глупости. У Тьера — империалистические наклонности, и, как я писал вам еще в конце июля, война радует его сердце. Теперь пол его рабочего кабинета весь покрыт географическими картами, и он лежит на животе и втыкает в бумагу черные и зеленые булавки, совсем как Наполеон. Слух о его биржевых спекуляциях — гнусная клевета: человек может повиноваться только одной страсти, и честолюбец редко думает о деньгах. Все злобные сплетни, колеблющие репутацию Тьера, он сам навлек на себя своей дружбой с бессовестными авантюристами. Теперь, когда он повернулся к ним

спиной, люди эти ругают его еще сильнее, чем его политические враги. Но для чего он водил дружбу с этим сбродом? Кто ложится спать с собаками, встает с блохами.

Я изумляюсь смелости короля; пока он колеблется дать удовлетворение оскорбленному национальному чувству, с каждым часом возрастает опасность, представляющая гораздо более страшную угрозу трону, нежели пушки союзных держав. Говорят, завтра будет опубликован указ, которым созываются палаты, и во Франции вводится военное положение (*état de guerre*). Вчера поздно вечером на бирже Тортони циркулировали слухи, что Лаланд получил приказание спешить к Гибралтарскому проливу и, если русский флот захочет соединиться с английским, преградить ему вход в Средиземное море. Рента, понизившаяся на два процента еще днем, упала опять на два процента. Уверяют, будто у г-на Ротшильда была вчера зубная боль; другие говорят — колики. Что из всего этого выйдет? Гроза все приближается. Уже слышно, как крылья валькирий режут воздух.

XXIII

Париж, 29 октября 1840 г.

Тьер сходит со сцены, и снова появляется Гизо. Но пьеса все та же, и меняются только актеры. Эта перемена ролей вызвана требованием многих высоких и высочайших особ, а не обыкновенной публики, которая была весьма довольна игрой своего первого героя. Он, быть может, слишком добивался одобрения партера; его преемника скорее интересует внимание более высоких сфер — польских лож.

Теперь мы не отказываем в сострадании человеку, который при нынешних условиях въезжает в особняк на бульваре Капуцинов; он более достоин сожаления, чем тот, кто покидает этот дом пыток. Он почти так же достоин сожаления, как сам король: в короля стреляют, на министра клеветуют. Сколько грязи кидали в Тьера, пока он был министром! Сегодня он снова поселяется в своем маленьком доме на площади Сен-Жорж, и я советую ему тотчас же принять ванну. Здесь он снова в незапятнанном

величии явится своим друзьям, и, так же как четыре года тому назад, когда он столь же внезапно покинул министерство, всякий увидит, что руки его остались чисты, а сердце не покрылось морщинами. Он стал лишь несколько серьезнее, хотя настоящая серьезность всегда была в нем и таилась, как у Цезаря, под внешней легкостью. Обвинение в хвастовстве, которому в последнее время он подвергался всего чаще, он опровергает своим уходом из правительства; но именно потому, что он не был бахвалом, что он в самом деле занят был крупными приготовлениями к войне, — именно потому ему и пришлось уйти. Теперь всякий видит, что призыв к оружию не был хвастовством шарлатана. Сумма, истраченная на армию, на флот и на крепости, уже составляет более четырехсот миллионов, и через несколько месяцев шестьсот тысяч солдат будут стоять под ружьем. Предполагались еще более серьезные приготовления к войне, и в этом-то причина, почему король еще до начала заседаний палаты должен был во что бы то ни стало избавиться от великого вооружителя. Правда, теперь найдутся ограниченные депутатские головы, которые будут кричать о бесполезных тратах, не думая о том, что, быть может, именно эти военные приготовления сохранили нам мир. Один меч удерживает в ножнах другой. Теперь в палате будет дебатироваться важный вопрос: оскорблена ли Франция лондонской конвенцией или не оскорблена? Это вопрос запутанный, и при решении его надо принять во внимание различие национальностей. Но пока что у нас мир, и королю Луи-Филиппу подобает хвала, ибо, охраняя мир, он выказал такую же храбрость, какую Наполеон проявлял во время войны. Да, не смейтесь, он — мирный Наполеон!

XXIV

Париж, 4 ноября 1840 г.

Маршал Сульт, герой меча, охраняет внутреннее спокойствие Франции, и это его исключительная задача. Между тем за внешнее спокойствие отвечает Луи-Филипп, умный король, который трудом терпеливых рук, а не ударом меча старается распутать гордые узлы — дипломати-

ческую путаницу. Удастся ли ему? Мы желаем этого, и притом как в интересах монархов, так и в интересах народов Европы. Последним война может принести лишь смерть и нищету. Монархи же даже в самом благоприятном случае, в случае победы над Францией, превратят в действительность те опасности, которые сейчас, быть может, существуют лишь в воображении двух-трех государственных деятелей, тревожа их мысли. Великий переворот, совершившийся во Франции пятьдесят лет тому назад, если и не закончился, то во всяком случае приостановился, и только внешняя сила может снова привести в движение страшное колесо. Угроза войны с новой коалицией подвергает опасности не только трон короля, но и власть той буржуазии, которую законно — во всяком случае фактически — представляет Луи-Филипп. Не народ, а буржуазия начала революцию в 1789 году и завершила ее в 1830-м; это она правит теперь, хотя многие из ее уполномоченных — люди знатного рода; это она держала до сих пор в узде рвущуюся вперед толпу, требующую не только равенства в законах, но и равенства в благах земных. Буржуазия, которой приходится защищать плод своего упорного труда, новое государственное устройство, от напора народа, стремящегося к радикальному преобразованию общества, окажется, конечно, слишком слабой, если на нее нападут еще и иностранные державы, вчетверо сильнейшие; и еще прежде чем дело дойдет до вторжения, буржуазии придется отречься; низшие классы снова, как в страшные девяностые годы, станут на ее место, но только лучше организованные, с более ясным сознанием, с новыми доктринами, с новыми богами, с новыми силами, земными и небесными; иностранцам пришлось бы вступить в борьбу с революцией не политической, а социальной. Поэтому благоразумие должно было бы внушить союзным державам, что надо поддерживать существующее во Франции правительство, тем самым не давая более опасным и заразительным элементам вырваться на волю и требовать своих прав. Ведь сам господь явил своим заместителям столь поучительный пример: последнее покушение показало, что голова Луи-Филиппа пользуется особым покровительством промысла, что промысел охраняет великого брадмейстера, который гасит огонь и предотвращает мировой пожар.

Я не сомневаюсь, что маршалу Сульту удастся упрочить внутреннее спокойствие. Благодаря Тьеру и его военным приготовлениям он располагает достаточным числом солдат, которые, конечно, весьма недовольны изменившимся решением. Сможет ли он рассчитывать на них, если яростный народ с оружием в руках потребует войны? Смогут ли солдаты устоять против воинственных стремлений собственного сердца и вступят ли в бой со своими братьями, вместо того чтоб сражаться с чужеземцами? Смогут ли они спокойно выслушать упрек в трусости? Не потеряют ли они голову, когда вдруг прибудет со Святой Елены умерший полководец? Я хотел бы, чтоб он уже лежал под куполом *Dôme des Invalides* и чтобы похороны благополучно миновали!

Об отношении Гизо к двум вышеназванным столпам государства я буду говорить в дальнейшем. Да и нельзя еще определить, собирается ли он прикрывать их обоим эгидой своего слова. Через несколько недель ему потребуется вся сила его ораторского дара, и если палата, как говорят, подымет вопрос о *casus belli*,¹ ученый муж сможет самым блистательным образом проявить свои познания. Палата будто бы обратит особое внимание на заявление коалиционных держав о том, что при замирении Востока они не имеют в виду расширения территории и каких-либо других частных выгод, и всякое фактическое противоречие этому заявлению будет рассматриваться как *casus belli*. О той роли, которую в этом деле сыграет Тьер, и о том, собирается ли он снова со всею мощью своего красноречия выступить против старого соперника Гизо, я также смогу сообщить вам что-либо только в дальнейшем.

Положение Гизо — трудное, и я уже много раз говорил вам, что я ему соболезную. Он достойный, твердый в убеждениях человек, и Каламатта в превосходном портрете весьма верно изобразил его благородную внешность. Упрямая пуританская голова, которой он прислонился к каменной стене, — при резком движении назад он мог бы больно удариться. Портрет выставлен в магазинах Гупиля и Ритнера. На него много смотрят, и Гизо уже *in effigie*² приходится многое терпеть от злых языков.

¹ Поводе к войне (*лат.*).

² Заочно; буквально: «на картине» (*лат.*).

Париж, 6 ноября 1840 г.

Об Июльской революции и об участии в ней Луи-Филиппа появилась теперь книга, возбуждающая всеобщее внимание и всюду вызывающая толки. Это первая часть «Histoire de dix ans»¹ Луи Блана. Я еще не видел этого сочинения; как только прочту его, попытаюсь высказать самостоятельное суждение о нем. Сегодня сообщу вам только то, что уже теперь могу сказать об авторе и занимаемом им положении, чтобы у вас мог сложиться правильный взгляд и чтобы вы могли точно определить, в сильной ли степени отразился на книге дух партии и в какой мере содержание ее заслуживает или не заслуживает вашего доверия.

Автор, г-н Луи Блан, еще молодой человек, лет тридцати, не более; наружностью, однако, он напоминает тринадцатилетнего мальчика. Действительно, его на редкость малый рост, его румяное безбородое личико и нежный, мягкий, еще не сформировавшийся голос — все это придает ему вид прелестного мальчугана, только что выскокившего из третьего класса школы и в первый раз надевшего черный фрак; и все же он — знаменитость республиканской партии, а в рассуждениях его царит такая умеренность, какую встречаешь только у стариков. Физиономия его, особенно резвые глазки, указывает на южнофранцузское происхождение. Луи Блан родился в Мадриде от французских родителей. Его мать — корсиканка, и притом из рода Поццо ди Борго. Воспитывался он в Родезе. Не знаю, сколько времени он уже в Париже, но шесть лет тому назад я застал его здесь редактором республиканского журнала, называвшегося «Le monde»,² а с тех пор он основал также и «Revue du progrès»³ — самый значительный орган республиканизма. Его кузен Поццо ди Борго, бывший русский посланник, говорят, был не слишком доволен направлением молодого человека и нередко жаловался на него. (Об этом знаменитом дипломате, замечу мимоходом, здесь получены самые грустные известия, и его умственное расстройство, кажется, неизлечимо; порою он

¹ «Истории десяти лет» (франц.).

² «Мир» (франц.).

³ «Журнал прогресса» (франц.).

впадает в бешенство, и ему чудится тогда, что император Наполеон хочет его расстрелять.) Мать Луи Блана и вся его родня по матери живут еще на Корсике. Но это лишь физическое, кровное родство. По духу же Луи Блан самый близкий родственник Жан-Жака Руссо, сочинения которого служат источником всего его образа мыслей и манеры писать. Его теплая, ясная, правдивая проза напоминает этого первого отца церкви революции. «L'organisation du travail»¹ — сочинение Луи Блана, которое уже несколько лет тому назад привлекло к нему внимание публики. В каждой строке этого маленькогоopusа сказывается если не основательное знание, то пламенное сочувствие к страданиям народа, и вместе с тем в нем проявляется та склонность к неограниченной власти, то глубоко отвращение к возвеличиванию гения, которыми Луи Блан так резко отличается от иных своих республиканских товарищей, например от остроумного Пиа. Это различие едва не вызвало ссоры, когда Луи Блан не пожелал признать безусловную свободу печати, которой требовали другие республиканцы. Здесь обнаружилось с полной ясностью, что последние любят свободу только ради свободы, а Луи Блан смотрит на нее скорее как на средство к осуществлению филантропических целей, так что с этой точки зрения государственная власть, без которой ни одно правительство не может содействовать благу народа, значит для него гораздо больше, чем все права и привилегии индивидуальной мощи и величия. Да, может быть, уже вследствие своего маленького роста он ненавидит все крупные индивидуальности и, задирая голову, косится на них с тем недоверием, которое роднит его с другим учеником Руссо, покойным Максимилианом Робеспьером. Я думаю, этот малыш готов срубить всякую голову, если она нарушает установленную рекрутскую мерку, — разумеется, в интересах общественного блага, всеобщего равенства, социального счастья народа. Сам он ведет умеренную жизнь, по-видимому не позволяет своему маленькому телу никаких наслаждений и хочет ввести в государстве всеобщее кухонное равенство, при котором для всех нас должна вариться одна и та же черная спартанская похлебка, и — что еще ужаснее! — великан будет получать такую же

¹ «Организация труда» (франц.).

порцию, какая полагается его братцу карлику. Нет, покорно благодарю, новый Ликиург! Правда, все мы — братья, но я — большой брат, а вы — братья меньшие, и мне подобает бблшая порция. Луи Блан — потешная смесь лилипута со спартанцем. Во всяком случае я предсказываю ему великую будущность, и он будет играть важную роль, хотя бы и недолго. Он создан быть великим человеком для маленьких людей, которые легко могут носить на плечах такого, как он, между тем как люди гигантского покроя — хотелось бы сказать: умы крепкого сложения — слишком тяжелая для них ноша.

Говорят, новая книга Луи Блана написана прекрасно, и так как в ней много новых и злых анекдотов, то уже по самому содержанию она представляет интерес для злорадной толпы. Республиканцы блаженствуют, смакуя ее; ничтожество, мелочность той правящей буржуазии, которую они хотят низвергнуть, вскрыты здесь весьма забавно. Для легитимистов же книга эта — настоящее лакомство, ибо автор, пощадивший их самих, издевается над их буржуазными победителями и обдает ядовитой грязью королевскую мантию Луи-Филиппа. Ложь или правда все то, что Луи Блан рассказывает о нем? Если правда, то великая французская нация, так много говорящая о своем *point d'honneur*,¹ уже десять лет позволяет заурядному фокуснику, коронованному Боско, управлять ею и быть ее представителем. Рассказывается в этой книге, между прочим, следующее. 1 августа, когда Карл X назначил герцога Орлеанского наместником, Дюпен отправился к последнему в Нейльи и стал убеждать его, что, во избежание опасного подозрения в двуличности, он должен решительным образом порвать с Карлом X и письменно сообщить ему о своем отказе. Луи-Филипп будто бы вполне одобрил совет Дюпена и даже попросил его сочинить письмо; Дюпен написал письмо, и притом в самых резких выражениях, а Луи-Филипп, собираясь запечатать конверт и поднося уже сургуч к свече, вдруг повернулся к Дюпену и сказал: «В важных случаях я всегда советуюсь с моей женой, письмо я еще прочту ей, и, если она его одобрит, мы тотчас же его отошлем». Затем он вышел из комнаты, а через некоторое время, вернувшись с письмом,

¹ Чувстве чести (*франц.*).

быстро запечатал его и немедленно отослал к Карлу X. Но будто бы только конверт остался тот же, а грубое письмо Дюпена искусный фокусник подменил другим, весьма униженным, где он клялся в своей верноподданнической преданности, принимая назначение, и заклинал короля отречься в пользу его внука. Тут встает вопрос: как удалось вскрыть этот обман? В ответ на такой вопрос г-н Луи Блан устно сообщил моему знакомому следующее: г-н Берье, посетивший Карла X в Праге, почтительно заметил ему, что его величество слишком поторопился отречься, а его величество в свое оправдание показал ему письмо, полученное им в то время от герцога Орлеанского, совету которого он последовал с тем большей готовностью, что признал в нем наместника королевства. Таким образом, г-н Берье — единственный, кто видел это письмо, и на его авторитете основан весь анекдот. Для легитимистов этот авторитет, конечно, достаточен, и так же достаточен он для республиканцев, которые верят всему, что измышляет легитимистская ненависть против Луи-Филиппа. Это мы видели совсем недавно, когда мерзкая баба сочинила знаменитые подложные письма, а г-н Берье выступил в полном своем блеске как адвокат подлога. Мы, не принадлежащие ни к республиканцам, ни к легитимистам, верим только в талант г-на Берье, в его благозвучный голос, в его наклонности к игре и к сочинению музыки, а в особенности — в те огромные суммы, которыми партия легитимистов награждает своего великого адвоката.

Относительно Луи-Филиппа мы на этих страницах уже не раз высказывали наше мнение. Он — великий король, хотя более напоминает Одиссея, чем Аякса, неистового самодержца, которому пришлось потерпеть жалкое поражение в споре с хитроумным страдальцем. Но он не мошенник, он не крал корону Франции, нет, — горчайшая необходимость, скажу даже — немилость божия, увенчала его короной в страшный, в роковой час. Правда, он по этому случаю немного поломался и не был вполне честен со своими избирателями, с героями Июля, поднявшими его на щит, но ведь и они-то — вполне ли честно отнеслись они к нему, принцу Орлеанскому? Они думали, что он просто марионетка, они весело усадили его в красное кресло, с твердой уверенностью, что его легко будет сбросить оттуда, если он окажется недостаточно гибок и не позволит дергать

себя за проволоку или если им снова придет в голову разыграть старую пьесу — республику. Но на этот раз, как я говорил уже, монархия сама сыграла роль Юния Брута — чтобы обмануть республиканцев. И Луи-Филипп оказался достаточно умен, чтобы надеть на себя маску самой что ни на есть овечьей простоты, начать расхаживать по улицам Парижа, как Штаберле, с большим сентиментальным зонтиком под мышкой, пожимая немытые руки гражданину Встречному и гражданину Поперечному и улыбаясь с весьма растроганным видом. Он играл тогда в самом деле курьезную роль, и когда я прибыл сюда вскоре после Июльской революции, мне часто случалось смеяться над этим. Я еще очень хорошо помню, что сразу же по приезде в Париж я отправился к Пале-Роялю — посмотреть на Луи-Филиппа. Приятель, сопровождавший меня, рассказал мне, что король появляется теперь на террасе только в определенные часы, но что раньше, всего еще несколько недель тому назад, его можно было видеть во всякое время, и притом за пять франков. «За пять франков! — воскликнул я с удивлением. — Разве он показывает себя за деньги?» — «Нет, но его показывают за деньги; дело заключается в следующем: существует компания клакеров, продавцов контрамарок и прочий сброд, они-то каждому иностранцу предлагали за пять франков показать короля; за десять франков можно было увидеть, как король подымает глаза к небу и прижимает руку к сердцу, словно для клятвы; если же давали двадцать франков, он должен был и «Марсельезу» спеть». И вот, если вы этим молодцам давали пятифранковую монету, они подымали восторженный крик под окнами короля, и его величество появлялся на террасе, кланялся и уходил. За десять франков эти молодцы начинали кричать еще громче и бесновались, когда появлялся король, которому в знак безмолвного умиления оставалось лишь поднять глаза к небу и приложить руку к сердцу, как бы принося клятву. Англичане же порою платили и двадцать франков, и уж тогда энтузиазм достигал высшего предела, и как только на террасе показывался король, начинали петь «Марсельезу» и так отчаянно орать, что Луи-Филипп, может быть только для того, чтобы кончилось это пение, возводил глаза к небу, прикладывал руку к сердцу и тоже запевал «Марсельезу». Не знаю, отбивал ли он еще при этом и такт ногою, как уверяют. Вообще я не могу пору-

читься за истинность этого анекдота. Приятель, рассказавший мне его, умер семь лет тому назад; семь лет он уже не лжет. Таким образом, авторитет, на который я ссылаюсь, — не г-н Берье.

XXVI

Париж, 7 ноября 1840 г.

Король плакал. Он плакал публично, на троне, окруженный всеми сановниками государства, на виду у всего своего народа, избранные представители которого стояли перед ним; и очевидцами этого грустного зрелища были все иноземные монархи, представленные в лице своих посланников и уполномоченных. Король плакал! Это событие прискорбное. Многие сомневаются в искренности этих слез и сравнивают их со слезами Рейнеке-Лиса. Но разве недостаточно трагично то, что король терпит такой гнет, так измучен и должен прибегать к влажному вспомогательному средству — к слезам? Нет, Луи-Филиппу, царственному страдальцу, не приходится насиловать свои слезные железы, когда он думает о тех ужасах, которые грозят ему, его народу и всему миру.

Не известно еще ничего положительного о настроении в палате. А между тем от него зависит как внутреннее, так и внешнее спокойствие Франции и всего мира. Если возникнет серьезный разлад между буржуазными авторитетами палаты и короной, то вожди радикализма не будут больше медлить с восстанием, которое втайне уже организуется и ждет только того часа, когда король не сможет больше рассчитывать на поддержку палаты депутатов. До тех пор, пока обе стороны будут только дуться, но все же не нарушат своего брачного контракта, государственный переворот не может удалиться, и это прекрасно знают предводители движения; потому они на время и спрятали свою злобу под спуд и остерегаются всякого несвоевременного мятежа. История Франции показывает, что каждая значительная фаза революции всегда начиналась в парламентских формах и что люди, сопротивлявшиеся законному пути, всегда более или менее явственно подавали народу зловещий знак. Благодаря этому участию, мы сказали бы даже — сообщничеству, парламента междуцарствие гру-

бого насилия никогда не бывает длительно и французы защищены от анархии гораздо более надежно, чем другие народы, переживающие революционное состояние, — например, испанцы. Это мы видели в дни Июля, когда парламент, представляющий собой законодательное собрание, превратился в исполнительный конвент. В худшем случае ожидается снова такое превращение.

XXVII

Париж, 12 ноября 1840 г.

Рождение герцога Шартрского — послесловие к тронной речи. «Сострадание — нагой младенец», — говорит Шекспир. А младенец, к тому же, — принц крови, следовательно, обречен переносить печальнейшие испытания, а то и носить на голове терновый венец французского короля! Приставьте к нему немецкую кормилицу, чтобы он всасывал млеко терпения. Сейчас он свеж и здоров. Милое дитя сразу поняло свое положение и сразу начало плакать. Впрочем, говорят, оно очень похоже на своего деда. Дед ликует. Мы радуемся от души, что ему даровано это утешение, этот бальзам; за последнее время он ведь столько выстрадал! Луи-Филипп — превосходнейший семьянин, и как раз эта чрезмерная забота о счастье своей семьи столь часто приводила его к столкновениям с национальными интересами французов. Именно потому, что у него есть дети и что он их любит, он питает самое решительное и нежное пристрастие к миру. Воинственные монархи обычно бездетны. Эта любовь к семейственности и к семейному счастью, преобладающая в Луи-Филиппе, конечно достойна уважения, и высочайший пример оказывает во всяком случае благотворнейшее влияние на нравы. Король добродетелен в самом буржуазном смысле слова, дом его — самый порядочный во всей Франции, и буржуазия, избравшая его своим наместником, по-прежнему имеет достаточные основания быть им довольной.

Пока буржуазия стоит у кормила, нынешней династии нечего опасаться. Но что будет, когда подымутся бури, когда мощные кулаки потянутся к кормилу и буржуа боязливо отдернут руки, умеющие с большим успехом

считать деньги и вести торговые книги? Буржуазия окажется еще более слабое сопротивление, чем прежняя аристократия; ибо, даже несмотря на свою жалкую слабость, несмотря на свою немощь — плод безнравственности, на свою испорченность — следствие придворной жизни, старое дворянство все же еще было воодушевлено неким *point d'honneur*, совершенно чуждым нашей буржуазии, которая процветает благодаря духу промышленности, но которую он же и погубит. Предсказывают, что и для нее наступит 10 августа, но я сомневаюсь, чтобы мещанские рыцари Июльского трона проявили такую же отвагу, как напудренные маркизы старого века, которые в шелковых камзолах и с тоненькими шпажонками сопротивлялись в Тюльери натиску толпы.

Известия, которые мы получаем с Востока, очень печальны для французов. Авторитет Франции на Востоке безвозвратно утрачен и стал добычей Англии и России. Англичане достигли, чего хотели, — фактического господства в Сирии, обезопасили свой торговый путь в Индию: Евфрат, одна из четырех райских рек, — теперь английская река, по которой можно плыть на пароходе, как если бы вы сехали в Ремсет или Марсет; на Тауэр-стрит помещается *steamboat-office*,¹ где покупают билеты; а высаживаются в Багдаде, в этом древнем Вавилоне, и пьют портер или чай. Англичане каждый день клянутся в своих газетах, что они не хотели войны и что пресловутый трактат о перемирии отнюдь не должен был нарушить интересы Франции и бросить в мир факел войны. И все же это было именно так: англичане нанесли французам жесточайшее оскорбление и зажгли мировой пожар, чтобы добиться для себя кой-каких преимуществ в этой шахматной игре. Но эгоизм печется лишь о настоящем, а будущее готовит ему кару. Правда, преимущества, которые этот трактат доставляет России, — еще не наличные деньги, их нельзя так быстро сосчитать и занести в приход, но для ее будущего эти преимущества имеют неоценимое значение. Прежде всего, разрушается союз между Францией и Англией, что является важным приобретением для России, которая рано или поздно должна вступить в борьбу с одной из этих держав. Далее — уничтожена сила египтя-

¹ Пароходная контора (англ.).

нина, который, став во главе мусульман, был бы в состоянии защитить Турцию от русских, уже видящих в ней свою собственность. И еще много выгод в этом роде приобрели русские, притом не подвергаясь особой опасности, ибо в случае войны французы не могли бы попасть к ним, так же как не могут они добраться и до англичан: между Англией и гневом французов — море, между гневом французов и Россией — Германия; и мы, бедные немцы, по вине географической случайности, должны были бы драться ради вещей, которые нас вовсе не касаются, так-таки ни за что ни про что, ради чьих-то прекрасных глаз. Ах! Если бы хоть глаза эти в самом деле были прекрасны!

XXVIII

Париж, 6 января 1841 г.

Новый год, как и старый, начался музыкой и танцами. В Большой опере звучали мелодии Доницетти, которыми кое-как заполняют время, пока не явится Пророк — то есть опера Мейербера, носящая это название. Третьего дня с большим, блестящим успехом дебютировала мадемуазель Гейнефеттер. В «Одеоне», итальянском соловьином гнезде, пускают трели — такие томные, как никогда — стареющий Рубини и вечно юная Гризи, певучий цветок красоты. Начались также и концерты в соперничающих залах Герца и Эрара, этих двух художников поющего дерева. Кто в этих публичных заведениях Полигимнии не сумеет вдоволь соскучиться, тот уже может вволю назваться на вечерах у частных лиц: рой юных дилетантов, подающих самые зловещие надежды, выказывает здесь свое искусство всевозможными звуками и на всевозможных инструментах; г-н Орфила снова поет козлиным голосом свои немилосерднейшие романсы — музыкальный яд для крыс. После плохой музыки разносят тепловатую сахарную воду или соленое мороженое и танцуют. Начинаются уже и балы-маскарады под звуки труб и литавр, и парижане, как люди отчаявшиеся, бросаются в грохочущий водоворот утех. Немец пьет, чтобы избавиться от гнетущей заботы; француз мчится в опьяняющем, ошеломляющем галопе. Богиня легкомыслия рада была бы выгнать все хмурые

тревоги из души своего любимого народа, но это не удастся ей; в промежутке между кадрилями Арлекин шепчет на ухо своему соседу Пьеро: «Как вы думаете, будем мы восставать этой весной?» Само пампанское бессильно и может загуманивать лишь головы, сердца остаются трезвы, и порой, во время веселого банкета, гости бледнеют, шутка замирает на их устах, они бросают друг на друга испуганные взгляды, на стене им чудятся слова: «Мене! Текел! Фарес!»

Французы не закрывают глаза на опасность своего положения, но храбрость — их национальная добродетель. И ведь они прекрасно знают, что политические богатства, завоеванные смелостью их отцов, не могут быть сохранены терпеливой уступчивостью и бездеятельным смирением. Даже Гизо, столь недостойно поруганный Гизо, отнюдь не намерен сохранять мир во что бы то ни стало. Человек этот, правда, бесстрашно сопротивляется натиску радикализма, но я убежден, что он так же решительно встретит напор абсолютистских и иерархических устремлений. Не знаю, велико ли было число национальных гвардейцев, которые на похоронах императора кричали: «*A bas Guizot!*»,¹ но знаю, что национальная гвардия, если бы она понимала свои собственные интересы, выказала бы столько же благоразумия, сколько и благодарности, открыто выступив с протестом против этих гнусных выкриков. Ибо ведь национальная гвардия, в сущности, не что иное, как вооруженная буржуазия, а как раз буржуазия, которой в одно и то же время угрожают своими интригами партия старого порядка и проповедники бабефовской республики, нашла в Гизо своего естественного патрона, охраняющего ее от врагов снизу и сверху. Гизо никогда не желал ничего иного, кроме господства средних классов, считая, что богатство и образование дают им возможность руководить делами государства и быть его представителями. Я убежден, что если бы в старой аристократии Гизо нашел еще жизненные элементы, которые позволяли бы ей управлять Францией на благо народа и человечества, он стал бы защищать ее с не меньшим рвением и, конечно, с большим бескорыстием, нежели Берье и подобные ему паладины прошлого; точно так же я убежден, что он боролся бы за господство пролетариев, и притом с более суровой чест-

¹ «Долой Гизо!» (франц.).

ностью, чем Ламенне и его духовные братья, если бы считал, что низшие классы по своему образованию и благоразумию созрели для управления государством, и если бы не понимал, что преждевременная победа пролетариев была бы непродолжительна и явилась бы несчастьем для человечества, ибо в тупом упоении равенством они разрушили бы на этой земле все прекрасное и возвышенное и с иконоборческой яростью шагнули бы на искусство и науку.

Гизо, однако, не поборник упрямого застоя — он поборник размеренного и своевременного прогресса, и будущее воздаст ему блистательнейшую справедливость. Быть может, это произойдет уже и в самом близком будущем: надо только, чтобы он покинул особняк на бульваре Капуцинов. Занял бы он в этом случае снова место посланника в Лондоне? Стал бы, несмотря на свою симпатию к Англии, поддерживать этот новый кабинет, который мечтает о союзе с Россией? Возможно, ибо в том случае, если бы Франция была вынуждена воевать, Гизо, пренебрегая всеми революционными средствами, стал бы стремиться только к политическим союзам. «Если, несмотря на все жертвы и умеренность, мы не сможем сохранить мир, мы будем вести войну, как держава (*puissance*), а не как буйная толпа (*cohue*)», — так выразился Гизо в интимной обстановке салона. Но в этом причина, почему он не терпит всех тех людей, которые ожидают победы только от пропаганды и важничают, считая, что они — ее необходимые орудия. Люди эти — журналисты, приписывающие своему перу огромную спасительную силу. «Самое лучшее на свете — это ночной колпак из шерсти», — говорит шапочник, а журналисты говорят: «Самое лучшее — это газетная статья!» Как они ошибаются, это мы увидели недавно, когда пропаганда газет «National», «Courrier français» и «Constitutionnel» возбудила в Германии такое неудовольствие. В этом отношении отцы были гораздо практичнее: когда они видели, что международные идеи революции в опасности, они искали помощи в национальном чувстве. Сыновья, когда опасность грозит их национальности, прибегают к международным идеям; но эти идеи не столь властно влекут к подвигу, как те воодушевляющие испарения земли, которые мы называем любовью к отечеству.

Сомневаюсь в том, чтобы, в случае войны, союз с Россией мог оказаться для французов более благотворным, чем пропаганда. Последняя угрожает лишь преходящей форме их общественного строя, а союз с Россией подвергает опасности самую сущность общества, заветный жизненный принцип, душу французского народа.

XXIX

Париж, 11 января 1841 г.

Среди французов все более распространяется мнение, что этой весной пение соловьев заглушат трубы Беллоны и аромат бедных фиалок, растоптанных конским копытом, рассеется в пороховом дыму. Я отнюдь не могу согласиться с этим мнением, и сладчайшая надежда на мир упорно гнездится в моей груди. Все же вполне возможно, что прорицатели несчастья правы и дерзкая весна неосторожно приближается с фитилем к заряженным пушкам. Но если эта опасность минует, если и знойным летом не разразится гроза, тогда, думаю, Европе уже долго не будут угрожать ужасы войны и мы можем быть уверены в долгом, прочном мире. Путаница, пришедшая свыше, будет к тому времени уже спокойно распутана там же, наверху, растущее благо-разумие народов снова отбросит в грязь низкую тварь — национальную ненависть, развившуюся в низших слоях общества. Но это знают и демоны разрушения по обе стороны Рейна, и подобно тому, как здесь, во Франции, радикальная партия, опасаясь окончательного упрочения Орлеанской династии и ее длительного обеспеченного существования, жаждет случайностей войны, лишь бы иметь шанс на перемену правительства, так и по другую сторону Рейна радикальная партия проповедует крестовый поход против Франции — в надежде, что разнузданные страсти вызовут дикое состояние, при котором идеи прогресса можно будет осуществить гораздо легче, нежели в мирную и кроткую эпоху. Да, страх перед усыпляющей и сковывающей властью мира привел этих людей к отчаянному решению — принесли в жертву французский народ (как они простоудшно выражаются). Мы говорим это открыто потому, что этот героизм представляется нам столь же безрассудным, сколь

и неблагодарным, и потому, что мы чувствуем несказанное сострадание к медвежьей беспомощности, воображающей, будто она умнее лисиц со всей их хитростью! О глупцы, советую вам: не занимайтесь опасным ремеслом — политическими плутнями, будьте честны, как немцы, и благодарны, как люди, и не воображайте, что вы станете на собственные ноги, когда падет Франция — единственная опора, которая есть у вас на этой земле!

Но не свыше ли раздувают искры раздора? Не думаю, и мне кажется, что дипломатическая путаница — скорее результат неловкости, чем злого умысла. Кто же хочет войны? Англия и Россия уже и теперь могли бы успокоиться; в мутной воде они уже выудили достаточно выгод. Для Германии же и для Франции война так же бесполезна, как и опасна; правда, французы рады были бы завладеть границей по Рейну, но только потому, что без нее они слишком плохо защищены от всяких вторжений; немцам же нечего бояться утратить рейнскую границу, пока они сами не нарушат мира. Ни французский, ни немецкий народ не стремится к войне. Мне незачем, конечно, доказывать, что бахвальство наших тевтономанов, крикливо требующих Эльзаса и Лотарингии, не выражает желаний немецкого крестьянина и немецкого бюргера. Но и французский буржуа и французский крестьянин, ядро великого народа и вся масса его, не хотят войны, так как буржуазия жаждет лишь промышленной добычи, мирных завоеваний, а крестьянин по опыту времен Империи прекрасно знает, какой дорогой, какой кроваво-дорогой ценой ему приходится оплачивать триумфы национального тщеславия.

Воинственные стремления, так бурно пылавшие и клочкавшие в сердцах французов еще со времени галлов, мало-помалу утихли, и похороны императора Наполеона Бонапарта показали, как ослабел теперь *figor francese*,¹ прежде обуревавший их. Я не могу согласиться с корреспондентами, которые в зрелище этого удивительного погребения увидели только помпу и великолепие. От них остались скрыты те чувства, что потрясли французский народ до самых глубин. А чувства эти были — не солдатское тщеславие и не солдатская гордость; победоносного императора не сопровождало то ликование преторианцев,

¹ Французский пыл (*итал.*).

та шумная жажда славы и грабежа, память о которой Германия хранит еще со времен Империи. Старые завоеватели умерли за это время, и на погребальное шествие глядело совсем новое поколение, и если не с пламенным гневом, то с благоговейной тоской созерцало оно золотой катафалк, где покоились в гробу все радости, горести, заблуждения и разбитые надежды их отцов — живая душа их отцов! Здесь больше было немых слез, чем громких криков. И к тому же все зрелище было так сказочно, так фантастично, что не верилось собственным глазам, казалось, что это сон. Ибо тот Наполеон Бонапарт, которого теперь хоронили, для нынешнего поколения давно уже перешел в царство преданий, туда, где пребывают тени Александра Македонского и Карла Великого, а теперь вдруг, холодным зимним утром, он является среди нас, живых, на золотой триумфальной колеснице, которая, словно призрак, движется в белом утреннем тумане.

Но этот туман чудесно рассеялся, как только похоронное шествие достигло Елисейских Полей. Тут солнце вдруг прорезало мрачные облака, в последний раз поцеловало своего любимца и бросило розовые лучи на императорских орлов, которых несли впереди гроба, и как бы с нежным состраданием озарило оно бедные, скудные остатки тех легионов, которые когда-то, проносясь, как буря, завоевывали мир, а теперь, в изношенных мундирах, усталые, постаревшие, шли, ковыляя, за погребальной колесницей. Между нами говоря, эти инвалиды великой армии казались карикатурой, насмешкой над славой, римской сатирой на мертвого триумфатора!

Муза истории занесла это погребение в свои летописи как особую достопримечательность; но для современников это событие менее важно и представляет лишь доказательство того, что во Франции дух солдатчины вовсе не так уж процветает, как кричит об этом не один бахвал по сю сторону Рейна и как вторит ему не один болтливый дурак по ту сторону. Император мертв. С ним умер и последний герой старого склада, и новый, филистерский мир облегченно вздохнул, освобождаясь от блистательного гнета. Над его могилой возвышается новая, буржуазная эпоха, почитающая героев совсем иных: например, добродетельного Лафайета или Джемса Уатта, бумагопрядильщика.

Париж, 31 января 1841 г.

Между народами, имеющими свободную печать, пезависимые парламенты и вообще учреждения общественной гласности, недоразумения, вызванные интригами придворных дворянчиков и злобной враждой партий, не могут быть длительны. Только под покровом тьмы темное семя может разрастись в неисцелимый раздор. Как по ту, так и по эту сторону пролива раздались благороднейшие голоса, заявившие, что только преступное безрассудство или злобные козни, угрожающие смертью свободе, могли нарушить мир; и в то время когда английское правительство, прибегнувшее к замалчиваниям в тронной речи, как бы официально продолжает враждебно относиться к Франции, английский народ, напротив, протестует в лице своих достойнейших представителей и вполне открыто отдает справедливость французам. Речь лорда Брума в только что открывшемся парламенте вызвала здесь примирительное настроение, и он вправе похвалиться, что оказал всей Европе большую услугу. Также и речи других лордов, даже Веллингтона, заслуживают похвал, и на этот раз Веллингтон был выразителем истинных желаний и помыслов своей нации. Угроза франко-русского союза открыла глаза его светлости, и благородный лорд — не единственный человек, на которого снизошло такое просветление. Также и в наших немецких землях умеренные тори достигают более правильного понимания своих политических интересов, а их бульдогов, старонемецких кобелей, поднявших было радостный охотничий лай, теперь спокойно привязывают на сворку; наши христианско-германские националисты получили высочайший приказ больше не лаять на французов. Что же касается зловещего союза, то до его осуществления еще, конечно, далеко, и негодование на англичан, даже если бы оно и перешло в крайнюю ненависть, не могло бы еще вызвать во Франции любовь к русским.

В скорое разрешение восточной путаницы я так же не верю, как и в союз с Московией. Положение в Сирии, напротив, все более усложняется, и порою Мехмет-Али разыгрывает опасные шутки со своими врагами. Носятся страшные, но большей частью противоречивые слухи

о хитростях, с помощью которых старик хочет восстановить уважение к себе. Его несчастье — избыток хитрости, который мешает ему видеть вещи в их настоящем свеге. Он запутывается в сетях собственных козней. Например, сумев приманить прессу и заставив ее трубить о его могуществе и распускать в Европе всякие ложные известия, он, правда, завоевал симпатию французов, преувеличивших значение союза с ним, но в то же время он сам был виноват в том, что французы сочли его достаточно сильным для оказания сопротивления без их помощи до весны. Это и погубило его, а вовсе не та жестокость, которую «Всеобщая газета» изобразила, конечно, слишком яркими красками. Теперь всякое ничтожество лягает больше льва ослиным копытом. Чудовище, быть может, вовсе не такое уж страшное, как с досадой утверждают люди, которых он не подкупал или не хотел подкупать. Очевидцы его великодушных деяний уверяют, что лично Мехмет-Али милостив и добр, любит цивилизацию и лишь крайняя необходимость, военное положение его страны, вынуждает его к той системе гнета, которой он мучит своих феллахов. Эти несчастные поселяне берегов Нила будто бы и в самом деле стадо страдальцев, которых гонят на работу ударами палки и из которых высасывают кровь. Но, говорят, это древнеегипетский метод, бывший в ходу при всех фараонах, и современный европейский масштаб здесь неприменим. На обвинения филантропов бедный паша мог бы ответить такими же словами, какими оправдывалась наша кухарка, варившая раков живыми в постепенно закипавшей воде. Она удивилась, что мы называем этот способ бесчеловечной жестокостью, и уверяла нас, что бедные животные искони привыкли к этому. Г-н Кремье, разговаривая с Мехметом-Али об ужасах, творившихся в дамасском суде, нашел, что паша склонен к самым благотворным реформам, и если бы не политические события, разразившиеся столь бурно, знаменитому адвокату наверное удалось бы уговорить его ввести в своих владениях европейское уголовное судопроизводство.

С падением Мехмета-Али гибнут и те гордые надежды, которыми мусульманская фантазия так страстно убаюкивала себя, особенно под шатрами пустыни. Здесь Али считался героем, которому суждено раз навсегда положить конец слабому турецкому правительству в Стамбуле, са-

мому облечься там властью калифа и взять под свою защиту знамя пророка. И, право же, в его сильной руке оно лучше держалось бы, чем в слабых руках нынешнего гонфалоньера веры магометанской, который рано или поздно будет побежден легионами и еще более страшными махинациями царя всея Руси. Политическому и религиозному фанатизму, которым может располагать русский император, являющийся вместе с тем и верховным главой греческой церкви, могло бы с такой же силою противостать возрожденное мусульманское государство под властью Мехмета-Али или какого-нибудь другого основателя новой династии, потому что столь же неистово фанатические элементы выступили бы на его защиту. Я говорю о гении арабов, который никогда не умирал и, заснув в тишине бедуинской жизни, часто как бы во сне хватался за меч, если извне доносился воинственный рев какого-либо великолепного льва. Может быть, эти арабы, набираясь новых сил во время сна, только ждут настоящего зова, чтобы вырваться из своего гнетущего одиночества. Но теперь нам больше нечего их бояться, как прежде, когда знамена полумесяца вселяли в нас трепет, и для нас, быть может, скорее было бы счастьем, если бы Константинополь стал сейчас ареной их религиозного рвения. Оно явилось бы лучшим оплотом против стремлений Московии, которая замышляет ни более, ни менее, как завоевать или хитростью добыть на берегах Босфора ключ ко всемирному господству. Какой властью обладает император России, которого, право же, надо признать скромным, если подумать, какую гордость проявили бы на его месте другие! Но гораздо опаснее, чем гордость господина, рабское высокомерие его народа, который живет только его волей и, полный слепого послушания, надеется прославить себя, прославив священное всемогущество своего повелителя. Воодушевление римско-католическими догматами уже поизносилось, идеи революции возбуждают только вялый энтузиазм, и нам, конечно, надо поискать новых, свежих источников фанатизма, которые мы могли бы противопоставить неограниченной славяно-греко-православной вере в императора!

Ах! Как ужасен этот восточный вопрос, который при всяком осложнении так насмешливо показывает зубы! Если мы теперь же попытаемся предотвратить опасность, грозящую нам с этой стороны, — начнется война. Если же,

напротив, мы терпеливо будем смотреть, как разрастается это зло, нам обеспечено рабство. Такова страшная дилемма. Как бы то ни было, бедной деве Европе, — будет ли она благоразумно бодрствовать при свете лампы или же, как весьма неразумная дева, заснет, когда погаснет лампада, — нечего ждать радостного дня.

XXXI

Париж, 13 февраля 1841 г.

Они не отступают ни перед одним вопросом и всякий вопрос терзают до тех пор, пока не разрешат его или, не найдя решения, не оставят его в покое. Таков характер французов, и поэтому вся их история развивается наподобие судебного процесса. Какую логичную, систематическую последовательность имеют все события французской революции! В этом сумасшествии действительно был метод, и те историографы, которые, следуя Минье и уделяя мало внимания случаю и человеческим страстям, рассматривают безумнейшие факты, совершавшиеся с 1789 года, как результат строжайшей необходимости — это так называемая фаталистическая школа — совершенно на своем месте во Франции, и книги их так же правдивы, как и понятия. Однако образ мыслей и манера изложения этих авторов применительно к Германии породили бы лишь весьма неверные и негодные исторические труды. Ибо немец, из страха перед всякими новшествами, старается насколько возможно обходить каждый значительный политический вопрос или же кое-как разрешить его окольным путем, а вопросы тем временем нагромождаются и запутываются в узел, который, подобно гордиеву узлу, в конце концов, быть может, удастся разрубить только мечом. Боже меня сохрани упрекать великий немецкий народ! Я же знаю, что этот недостаток — следствие добродетели, которой нет у французов. Чем народ невежественнее, тем легче он бросается в поток дел; чем богаче познаниями и чем благоразумнее народ, тем дольше он измеряет глубину потока, через который перебирается осматривательными шагами, если вообще не останавливается в нерешительности, из страха перед скрытыми глубинами или холодной

влагой, способной вызвать опасный национальный па-
сморг. В конце концов не столь уж важно, что мы таким
образом лишь медленно подвигаемся вперед или, стоя на
месте, теряем несколько столетий, ибо немецкому народу
принадлежит будущность, и притом весьма долгая, зна-
менательная будущность. Французы действуют так по-
спешно и распоряжаются настоящим с такой быстротой,
быть может, потому, что предвидят уже наступление су-
мерек: торопливо заканчивают они свой подневный труд.
Но все же роль, которую они играют, еще довольно хо-
роша, и прочие народы составляют пока только почти-
тельную публику, которая смотрит французскую госу-
дарственную и национальную комедию. Правда, этой пу-
блике порой приходит охота чересчур громко выразить
одобрение или порицание, а то и подняться на сцену и
принять участие в спектакле; но французы все же остаются
главными актерами в великой мировой драме, что бы им
ни падало на голову — лавровые венки или гнилые ябло-
ки. «Песенка Франции спета», — с этими словами здесь
носитя не один немецкий корреспондент, предсказывая
гибель нынешнего Иерусалима; но ведь сам он поддержи-
вает свое жалкое существование только статьями о том, что
делают, что творят каждый день эти столь глубоко опу-
стившиеся французы, и его патрону, редактору немецкой
газеты, без корреспонденций из Парижа нечем было бы
заполнить столбцы своего издания даже в течение каких-
нибудь трех недель. Нет, Франция еще не пришел конец,
но, как и все народы, как само человечество, она не вечна,
она, быть может, пережила уже период своего блеска, и
с ней теперь происходит перемена, которую нельзя отри-
цать: ее гладкий лоб покрывается всяческими морщинами,
на легкомысленной голове появляется седина, голова эта
озабоченно склоняется и занимается уже не только на-
стоящим днем — она помышляет и о завтрашнем.

Решение палаты об укреплении Парижа свидетельствует
об этом переходном периоде французского народного духа.
Французы очень многому научились за последнее время
и от этого потеряли всякую охоту слепо бросаться в опас-
ную чужую даль. Теперь они хотя бы защищать себя дома
от возможных нападений со стороны соседей. На могиле
императорского орла им явилась мысль, что буржуазно-
королевский петух не бессмертен. Франция уже больше

не живет в дерзком упоении своим неодолимым могуществом: ее отрезвило великопостное сознание своей победимости, а — увы! — тот, кто думает о смерти, уже наполовину мертвец! Укрепления Парижа — это, быть может, гигантский гроб, который сам гигант заказал себе, чуя недоброе. Однако может пройти еще и немало времени, пока пробьет его смертный час, и тем временем он, пожалуй, многим гигантам нанесет смертельнейшие удары. Когда-нибудь, во всяком случае, от грохочущей тяжести его падения сотрясется земля, и еще ужаснее, чем при жизни, он будет пугать своих врагов посмертными творениями, являясь по ночам, как блуждающий призрак. Я убежден, что если Париж будет разрушен, обитатели его, как некогда евреи, расселятся по всему миру и этим путем еще успешнее разнесут семена общественного переворота.

Укрепление Парижа — важнейшее событие нашего времени, и люди, голосовавшие в палате депутатов за или против него, оказали на будущее сильнейшее влияние. С этой *enceinte continue*,¹ с этими *forts détachés*² связывается отныне судьба французского народа. Спасут ли от грозы эти сооружения или же будут еще губительнее притягивать молнии? Свободе или рабству послужат они? Защитят ли они Париж от нападения или безжалостно бросят его на произвол разрушительных сил войны? Мне это неизвестно, ибо я не заседаю в совете богов и не имею там голоса. Но одно мне известно — что французы прекрасно будут сражаться, если им когда-нибудь придется защищать Париж от третьего нашествия. Первые два нашествия только помогли усилить ярость обороны. У меня есть полное основание сомневаться в том, что Париж мог бы устоять против двух прежних нашествий, если бы был укреплен (как утверждают в палате). Наполеон, ослабленный всевозможными победами и поражениями, не был в состоянии противопоставить натиску Европы колдовскую мощь той идеи, которая «из-под земли выводит войска»; ему уже не хватало силы разорвать цепи, в которые он сам заковал ту идею; свободу этой скованной идее вернули союзники, когда взяли Париж, Французские либералы и идеологи поступили совсем не так глупо, вовсе не по-дурацки, когда

¹ Сплошной оградой (*франц.*).

² Отдельными фортами (*франц.*).

отказали в поддержке гонимому императору, ибо для них он был гораздо опаснее всех этих чужеземных героев, которые ведь в конце концов должны были удалиться с добрыми и приятными речами, оставив только вялого наместника, а от него со временем тоже можно было избавиться, что действительно и случилось в июле 1830 года, после чего идеи революции опять водворились в Париже. И на борьбу с третьим нашествием выступила бы сила этих идей, которая сейчас, умудренная горьким опытом, не пренебрегает и материальными средствами защиты.

Здесь мы наталкиваемся на разногласие, господствующее сейчас среди деятелей радикальной партии по вопросу об укреплениях Парижа и вызывающее самые страстные прения. Как известно, республиканская фракция, представителем которой служит «National», всего деятельнее защищала проект укрепления Парижа. Другая фракция, которую я назвал бы левым крылом республиканцев, восстает против него с самым яростным гневом, а так как в прессе она располагает немногими органами, то «Revue de Paris»¹ — пока что единственная газета, где она может высказываться. Относящиеся к этому вопросу статьи вышли из-под пера Луи Блана и в высшей степени заслуживают внимания. Как я слышал, статьей о том же предмете занят также и Араго. Этих республиканцев возмущает мысль, что революция должна прибегать к материальным оплотам; в этом они видят слабость моральных средств обороны, упадок былой демонической энергии, и они предпочитают победу, чем принять меры предосторожности на случай поражения. В самом деле, эти люди верны традициям Комитета общественного спасения, тогда как у *messieurs*² из газеты «National» на уме скорее уж традиции Империи. Я сказал «*messieurs*», потому что это — насмешливое прозвище, которым те, другие, имеющие себя *citoyens*,³ величают своих антагонистов. В сущности обе фракции — террористы, с той лишь разницей, что *messieurs* из «National» предпочли бы действовать при помощи пушек, тогда как *citoyens* охотнее прибегли бы к гильотине. Вполне понятно, что первые должны питать большую симпатию

¹ «Парижское обозрение» (франц.).

² Господ (франц.).

³ Гражданами (франц.).

к закону, благодаря которому революция в случае необходимости явилась бы в чисто военном облачении, а пушки были бы в состоянии держать гильотину в узде! Этим, и ничем иным, я объясняю себе рвение, с которым «National» высказалась за укрепление Парижа.

Странно! На этот раз «National», король и Тьер оказались единодушны, с одинаковой горячностью желая успеха одному и тому же делу. И все же это единодушие весьма естественно. Не будем только клеветать ни на одного из них, приписывая им коварные задние мысли. Хотя личные побуждения замешаны здесь в сильной степени, все же все трое действовали прежде всего в интересах Франции — и Луи-Филипп, и Тьер, и господа из «National». Однако, как я уже сказал, личные побуждения играли роль. Луи-Филипп, этот отъявленный враг войны, враг разрушения, — столь же страстный друг всякого зодчества: он любит все, что дает работу молотку и лопате, и план укреплений Парижа тешит эту врожденную его страсть. Но Людовик является также и представителем революции, хочет он этого или не хочет, и если ей грозит опасность, то и его существование становится сомнительным. Он во что бы то ни стало должен держаться в Париже. Ведь если бы его столицей овладели чужеземные монархи, законность его власти не охранила бы его так нерушимо, как тех королей милостью божией, которые всюду, где бы они ни были, являются средоточием своего государства. Если бы даже, вследствие мятежа, Париж оказался в руках республиканцев, иноземные державы, быть может, и пришли бы со своими армиями, но вряд ли для того, чтобы предпринять реставрацию в пользу Луи-Филиппа, который в июле 1830 года стал королем французов не *parce que Bourbon*,¹ но *quoique Bourbon*!² Умный король чувствует это и укрепляется в своем Малапартусе. Он твердо верит, что укрепление Парижа спасительно и необходимо как для него самого, так и для Франции, и наряду с личной прихотью и инстинктом самосохранения им руководила здесь истинная и чистая любовь к отечеству. Ведь всякий король — естественный патриот и любит свою страну, в истории которой коренится его жизнь и с судьбами которой она спле-

¹ Потому, что он Бурбон (*франц.*).

² Песмотря на то, что он Бурбон (*франц.*).

лась. Луи-Филипп — патриот, и притом в буржуазном, семейственном, новофранцузском смысле слова, да и вообще в Орлеанском доме развился патриотизм совсем иного свойства, чем в Бурбонах старшей линии, которых скорее одушевляла историческая родовая гордость, средневековая аристократическая честь, а не настоящая любовь к Франции.

Так как эта любовь к родине считается во Франции высочайшей добродетелью, то враги смощенничали очень умело, с помощью подложных писем бросив тень на патриотические убеждения короля. Да, эти пресловутые письма частью подделаны, частью же совершенно подложны, и я не понимаю, как могли многие честные республиканцы хоть на одну минуту поверить в их подлинность. Но этих людей всегда надувают легитимисты, кующие оружие, с помощью которого республиканцы покушаются на жизнь или репутацию короля. Республиканец всегда, при всяком опасном поступке готов поставить на карту свою жизнь; но он всего лишь неуклюжее орудие чужой изобретательности, которая думает и рассчитывает за него: о республиканцах можно в буквальном смысле слова сказать, что не они изобрели порох, которым стреляют в короля.

Да, во Франции тот, кто обладает национальным чувством и кому оно понятно, оказывает непреодолимо волшебное влияние на толпу, может как угодно руководить и распорядиться ею, выжимать из нее деньги или кровь, наряжать ее во всевозможные мундиры — в рыцарское одеяние славы или в ливрею рабства. Этой тайной владел Наполеон, и его историк Тьер выпытал ее, выпытал сердцем, а не только рассудком, потому что чувство понятно только чувству. Тьер действительно весь горит французским национальным чувством, и тот, кто заметит это, поймет его силу и бессилие, его заблуждения и преимущества, его величие и ничтожество и его право на будущность. Этим национальным чувством объясняется все поведение его кабинета; тут мы видим перенесение императорского праха, этот славнейший праздник доблести, рядом с жалкой защитой того жалкого дамасского консула, который отстаивал ужасы средневекового суда, но был представителем Франции; тут мы видим легкомысленнейший пыл и удары в набатный колокол по поводу лондонской конвенции, оскорбившей Францию, и тут же — разумную дея-

тельность вооружения и этот грандиозный план укрепления Парижа. Да, это дело начал Тьер, и он же потом провел этот проект в палате и дал ему силу закона. Никогда не говорил он более красноречиво, стараясь одержать парламентскую победу, никогда не пускал он в ход более тонкую тактику. Это была битва, и в последнюю минуту исход ее был весьма сомнителен; но воепачальнический взгляд Тьера быстро открыл опасность, грозившую закону, и импровизированная поправка решила все. Это он — герой дня.

Не было недостатка в людях, которые лишь эгоистическими мотивами объясняют рвение, проявленное Тьером при обсуждении этого закона. Но здесь в самом деле выступил его патриотизм, и я повторяю: г-н Тьер весь проникнут этим чувством. Он вполне деятель нации, а не революции, сыном которой любит выставлять себя. Конечно, это родство не подлежит сомнению: революция — его мать, но из этого нельзя еще делать вывод о чрезмерных симпатиях к ней. Тьер прежде всего любит родину, и, думаю, в жертву этому чувству он принес бы все интересы матери. Наверное, сильно охладилось то воодушевление, которое вызывало в нем зрелище свободы и которое звучит теперь в его душе лишь как замирающее эхо. Ведь как историк он мысленно пережил все его фазы, как государственный деятель он ежедневно должен был бороться с продолжающимся движением, и, наверное, этому сыну революции мать его порой становилась в тягость и очень ему надоедала; ибо он прекрасно знает, что эта старая женщина была бы способна и ему самому отрубить голову. Ведь по природе она не мягкосердечна; берлинец сказал бы: у нее нет чувства. Если порой сыновья дурно обращаются с ней, не надо забывать, что и сама она, эта старуха, никогда не проявляла к своим детям длительной нежности и всегда умерщвляла лучших из них.

XXXII

Париж, 31 марта 1841 г.

Прения в палате депутатов об авторском праве весьма неутешительны. Но во всяком случае характерной чертой нашего времени является то, что нынешнее общество, основанное на праве собственности, хочет из чувства спра-

ведливости, а быть может, и в виде подкупа, уделить и умственной деятельности долю этой привилегии! Может ли мысль стать собственностью? Является ли свет собственностью пламени, а то и фитиля свечи? Я воздерживаюсь от всякого суждения по этому поводу и только радуюсь тому, что бедный фитиль, уничтожающий себя в горении, вы хотите немного компенсировать за его великий, общепользительный, озаряющий нас труд!

О судьбе Мехмета-Али здесь говорят меньше, чем можно было ожидать; но мне кажется, что в сердцах царит тем более глубокое сострадание к этому человеку, который слишком доверял звезде Франции. Авторитет французов на Востоке утрачен, и эта утрата имеет неблагоприятное влияние и на их отношения с Западом; звезды, в которые нельзя больше верить, угасают. Когда американские дела приняли столь сомнительный оборот, со стороны англичан начались усерднейшие попытки уладить вопрос о египетском наследстве. Тут Франции легко было действовать в пользу паши; однако правительство, по-видимому, ничего не сделало для спасения своего вернейшего союзника.

Но не одни только американские дела заставили англичан как можно скорее покончить с вопросом о египетском наследстве и таким образом снова дать возможность французской дипломатии принять участие в совещаниях и решениях европейских великих держав. *Вопрос о Дарданеллах* грозно стучится в дверь, требует быстрого разрешения, и вот англичане рассчитывают, что на конференции им окажет поддержку французский кабинет, интересы которого в этом случае согласуются с их собственными интересами, ввиду общего их противника—России.

Да, так называемый вопрос о Дарданеллах имеет огромное значение, и не только для упомянутых держав, но и для нас всех, — для самых малых, как и для самых великих, для Рейс-Шлейс-Грейца и Восточной Померании так же, как и для всемогущей Австрии, для ничтожнейшего башмачника так же, как и для богатейшего кожевенного фабриканта, ибо дело здесь идет о судьбе всего мира, и дело это так или иначе может решиться лишь у Дарданелл. Пока это не случится, Европа будет больна тайным недугом, который не даст ей покоя и вспышка которого будет тем ужаснее, чем позднее она произойдет. Вопрос о Дарданеллах — только симптом восточного вопроса,

вопроса о турецком наследстве — главного недуга, болезненного начала, от которого мы чахнем, которое таится в государственном теле Европы и которое — увь! — можно вырвать лишь насильственным путем, пожалуй только вырезать с помощью меча. Даже говоря о совершенно посторонних предметах, все властители зарятся только на Дардапеллы, на Высокую Порту, на древнюю Византию, на Стамбул, на Константинополь — у недуга много названий. Если бы в государственном праве Европы санкционирован был принцип народного суверенитета, крушение Османской империи не было бы так опасно для остального мира, потому что тогда отдельные народы распавшегося государства сами выбрали бы себе властителей, которые продолжали бы по мере сил править ими. Но в громадной части Европы господствует еще принцип абсолютизма, согласно которому и земля и люди — собственность монарха, и собственностью этой завладевают, пустив в ход право сильного, *ultima ratio regis*,¹ пушечное право. Что же удивительного в том, что ни один из высоких монархов не захочет уступить русским это большое наследство и каждый сам пожелает получить кусок восточного пирога; каждый из них почувствует особый аппетит при виде того, как благодушествуют северные варвары, и самый мелкий немецкий князек будет стремиться получить хотя бы чаевые. Таковы человеческие побуждения, и вот почему гибель Турции должна быть пагубна для мира. Всякому школьнику понятны те политические причины, по которым прежде всего Англия, Франция и Австрия не могут позволить, чтобы в Константинополе утвердилась Россия.

Война, заложенная в самой природе вещей, пока что откладывается. Близорукие полигики, прибегающие только к паллиативам, успокоились и надеются на годы безмятежного мира. В особенности же нашим финансистам все опять представляется в самом приятном свете надежды. Даже величайший из них, по-видимому, предается этой иллюзии, однако не всегда. Г-н фон Ротшильд одно время как будто немножко сдал, но теперь совершенно поправился и вид имеет здоровый и веселый. Биржевые прорицатели, так хорошо умеющие читать по лицу великого барона, уверяют нас, что в улыбке его гнездятся ласточки

¹ Последний довод царя (лат.).

мира, что с лица его исчез всякий страх перед войной, в глазах его незаметно электрической грозовой искорки и что, следовательно, страшная пушечная гроза, пугавшая весь мир, совершенно рассеялась. Он даже чихает миром. Правда, когда я в последний раз имел честь свидетельствовать мое почтение г-ну фон Ротшильду, он сиял самым отрадным довольством, и его розовое настроение почти что переходило в поэзию, ибо, как я уже рассказывал однажды, господин барон в такие веселые минуты изливает в рифмах потоки своего юмора. Я нашел, что на этот раз рифмы совершенно исключительно удавались ему; только на слово «Константинополь» он не мог найти рифмы и почесывал себе голову, как делают все поэты, когда им недостает рифмы. Так как я тоже немного поэт, то я позволил себе спросить господина барона, не подойдет ли к слову «Константинополь» русская рифма «соболь». Но эта рифма ему, по-видимому, очень не понравилась; он стал уверять, что Англия никогда не согласится на нее и что она может вызвать европейскую войну, которая будет стоить миру много слез и крови, а ему самому — бездну денег.

Г-н фон Ротшильд — действительно лучший политический термометр; я не назову его древесной лягушкой, потому что название это звучало бы недостаточно почтительно. А ведь надо же чувствовать почтение к этому человеку, хотя бы ради того почтения, которое он внушает большинству людей. Всего больше я люблю посещать его в его конторе, где в качестве философа могу наблюдать, как народ, и не только избранный народ божий, но и все прочие народы склоняются и сгибаются перед ним. Спинные хребты так изгибаются и извиваются, что, пожалуй, самый лучший акробат оказался бы здесь в затруднении. Я видел людей, которые, приближаясь к великому барону, судорожно вздрагивали, точно от прикосновения к вольтовому столбу. Уже перед дверью его кабинета многих охватывает благоговейный трепет, как было с Моисеем на горе Хорив, когда он заметил, что под ногами у него священная земля. Подобно тому как Моисей тотчас же разулся, так, наверно, не один спекулянт или agent de change,¹ осмеливающийся переступить порог личного

¹ Биржевой маклер (франц.).

кабинета г-на барона, снимал бы перед этим обувь, если бы не опасался, что ноги его тогда будут пахнуть еще хуже и что это зловоние обеспокоит господина барона. Этот личный кабинет — в самом деле замечательное место, которое возбуждает в нас возвышенные мысли и чувства; он напоминает океан или звездное небо: мы видим здесь, как мал человек и как велик бог! Ибо деньги — бог нашего времени, а Ротшильд — пророк его.

Несколько лет тому назад, придя как-то раз к г-ну фон Ротшильду, я увидел ливрейного лакея, пронесившего по коридору его почной сосуд, а биржевой спекулянт, оказавшийся здесь в эту минуту, почтительно снял шляпу перед могущественным горшком. Вот до чего доходит, с позволения сказать, почтительность некоторых людей. Я заметил себе имя этого богобоязненного человека и убежден, что со временем он станет миллионером. Когда я рассказывал г-ну ***, что обедал с бароном Ротшильдом *en famille*¹ в доме, где помещается его контора, мой собеседник в изумлении всплеснул руками и сказал, что мне оказана была честь, которая до сих пор выпадала на долю только кровным Ротшильдам да разве что нескольким владельческим особам и за которую он отдал бы половину своего носа! Замечу здесь, что нос г-на ***, даже если бы он лишился половины его, все-таки остался бы достаточно длинным.

Контора г-на фон Ротшильда очень обширна — лабиринт зал, казарма богатства; комнату, где барон работает с утра до вечера, — ведь ему ничего иного не остается делать, — недавно разукрасили. На камине теперь стоит мраморный бюст императора Франца Австрийского, с которым дом Ротшильда имел больше всего дел. Вообще г-н барон хочет из благодарности заказать для себя бюсты всех европейских монархов, делавших займы через его посредство, и эта коллекция мраморных бюстов составит Валгаллу гораздо более величественную, нежели Валгалла Регенсбургская. Станет ли г-н Ротшильд прославлять своих собратьев по Валгалле рифмованными стихами или нерифмованным королевско-баварским лапидарным стилем, это мне неизвестно.

¹ По-семейному (*франц.*).

Париж, 20 апреля 1841 г.

В этом году «Салон» показал всего лишь пестрое бессилие. Можно прямо подумать, что возрождению пластических искусств у нас приходит конец; то была не новая весна, но жалкое бабье лето. Вскоре после Июльской революции началось радостное оживление в живописи и скульптуре, даже в архитектуре; но крылья были восковые, и за искусственным полетом последовало плачевнейшее падение. Только музыка, младшее среди искусств, поднялась с исконной самобытной силой. Достигла ли она уже вершины своего блеска? Долго ли она удержится на этой высоте? Или снова быстро опустится? На эти вопросы сможет ответить лишь потомство. Кажется, во всяком случае, что в летописях искусства время наше будет отмечено главным образом как век музыки. Движение искусства не отстает от постепенного одухотворения, переживаемого человеческим родом. В самый ранний период по необходимости безраздельно господствовала архитектура, прославлявшая бессознательное грубое величие, — что мы видим, например, у египтян. Позднее, у греков, мы видим расцвет ваяния, который уже свидетельствовал о внешнем преодолении материала: дух высекал из камня полные предчувствий мысли. Но все же дух нашел, что камень — материал слишком твердый для его все возрастающей потребности в откровении, и он избрал краску, разноцветную тень, чтобы изобразить просветленный и мерцающий мир любви и скорби. Тогда начался великий период живописи, блистательно расцветшей в конце средневековья. По мере того как развивается жизнь создания, в человеке исчезает пластический дар, под конец угасает даже чувство краски, все же еще связанное с определенным рисунком, и высшая духовность, абстрактное мышление хватается за шумы и звуки, чтобы выразить лепечущее изобилие, которое, быть может, есть не что иное, как разложение всего материального мира; быть может, музыка — последнее слово искусства, как смерть — последнее слово жизни.

Я предпослал статье это короткое вступительное замечание, чтобы указать, отчего музыкальный сезон меня больше пугает, чем радует. Если мы здесь почти утонаем

в музыке, если в Париже вряд ли найдется хоть один дом, где, как в ковчеге, можно бы спастись от этого звенящего потопа, если благородное искусство музыки затопляет всю нашу жизнь, то я в этом вижу тревожный симптом и по временам мною овладевает мрачное уныние, которое заставляет меня брюзжать и быть несправедливым к нашим великим маэстро и виртуозам. При таких обстоятельствах пусть от меня не ждут слишком радостной хвалебной песни в честь человека, вокруг которого сейчас в бешеном, ликующем восторге толпится здешний изящный свет, в особенности же истерические дамы, и который в самом деле является одним из замечательнейших представителей музыкального движения. Я говорю о Франце Листе; это гениальный пианист. Да, гений этот снова здесь и дает концерты, очарование которых почти баснословно. Перед ним исчезают все пианисты, за исключением одного — Шопена, этого Рафаэля фортепьяно. Действительно, за исключением этого единственного, все прочие пианисты, которых мы слышали в этом году в бесчисленных концертах, — только пианисты; они блистают мастерским умением обращаться с поющим деревом; напротив, когда играет Лист, не думаешь больше о преодолеваемых трудностях, рояль исчезает, и нам раскрывается музыка. В этом отношении Лист, с тех пор как мы слышали его в последний раз, оделся поразительнейшие успехи. С этим качеством он соединяет спокойствие, которого раньше мы не замечали в нем. Когда, например, он прежде изображал на рояле грозу, мы видели молнии, сверкавшие на его лице, он весь дрожал, точно от порыва бури, и по длинным космам волос словно целыми струями стекали капли от только что сыгранного ливня. Теперь, даже когда он разыгрывает самую могучую грозу, сам он все же возвышается над нею, как путник, стоящий на вершине горы, в то время как в долине идет гроза: тучи собираются там, глубоко внизу, молнии, точно змеи, извиваются у его ног, а он с улыбкой вздымает чело в чистый эфир.

Несмотря на свою гениальность, Лист встретил здесь, в Париже, оппозицию, состоящую главным образом из серьезных музыкантов, которые венчают лаврами соперника Листа, императорского пианиста Гальберга. Лист уже дал два концерта, в которых, вопреки обыкновению, играл совершенно один, без участия других музыкантов.

Теперь он готовится к третьему концерту, сбор с которого пойдет на памятник Бетховену. Этот композитор действительно больше всего должен быть по вкусу Листу. Именно Бетховен приводит одухотворившееся искусство к той музыкальной агонии всех чувственных явлений, к тому уничтожению природы, которое повергает меня в нескрываемый ужас, хотя друзья мои в ответ на эти страхи лишь покачивают головой. Весьма знаменательным я считаю то обстоятельство, что к концу жизни Бетховен оглох и что даже незримый мир звуков больше не имел для него звучащей реальности. Звуки его были только воспоминаниями о звуке, призраками забытых мелодий, и последние его творения словно отмечены зловещей печатью смерти.

Менее жутким, чем бетховенская музыка, казался мне «друг Бетховена» — «l'ami de Beethoven», как он всюду рекомендовал себя здесь, даже, кажется, на визитных карточках. Черный шест с ужасающе белым галстуком и похоронной физиономией. В самом ли деле этот друг Бетховена был его Пиладом? Или он принадлежал к тем безразличным знакомым, общество которых иногда тем приятнее гениальному человеку, чем незначительнее они сами и чем прозаичнее их болтовня, которая является для него отдыхом после утомительных взлетов поэтического вдохновения? Во всяком случае мы здесь видели новый род эксплуатации гения, и мелкие газеты немало издевались над ami de Beethoven. «Как мог великий художник выпосить такого противного, бездарного друга!» — восклицали французы, теряя всякое терпение от однообразной болтовни этого скучного гостя. Они не подумали о том, что Бетховен был глух.

Концертантов в этом сезоне было много, имя им — легион, и не было недостатка в посредственных пианистах, из которых каждого газеты называли чудом. Большей частью это молодые люди, которые собственной скромной персоной хлопочут об этих газетных панегириках. Это самообожествление, так называемые рекламы, очень забавно читать. Одна из реклам, помещенных недавно в «Gazette musicale»,¹ сообщила, что знаменитый Делер и в Марселе очаровал все сердца, особенно благодаря

¹ «Музыкальной газете» (франц.).

интересной бледности, которая, будучи следствием перенесенной болезни, привлекла внимание всего изящного света. С тех пор знаменитый Делер вернулся в Париж и дал несколько концертов; он играет, в самом деле, изящно, его исполнение — премило, оно свидетельствует об удивительной беглости пальцев, но не говорит ни о силе, ни о вдохновении. Манерная слабость, изящное мление, интересная бледность.

К числу концертов этого сезона, еще звучащих в памяти любителей музыки, относятся музыкальные утра, которые издатели обеих музыкальных газет давали для своих подписчиков. «France musicale», редактируемая братьями Эскюдье, блеснула в устроенном ею концерте участием итальянских певцов и скрипача Вьетана, на которого смотрят как на одного из львов музыкального сезона. Что таится под косматой шкурой этого льва — царь ли животных или же только жалкий серый ослик, — это я не могу решить. Говоря по совести, у меня нет доверия к тем преувеличенным похвалам, которые выпадают на его долю. Мне кажется, что, взбираясь по лестнице искусства, он не достиг еще особенной высоты. Вьетан находится разве что посреди той лестницы, на вершине которой нам некогда явился Паганини, а на самой последней, самой низшей ступени стоит наш милейший Сина, знаменитый в Булони посетитель морских купаний и обладатель одного автографа Бетховена. И, быть может, г-н Вьетан гораздо ближе стоит к г-ну Сина, чем к Никколо Паганини.

Вьетан — сын Бельгии, как вообще все самые крупные скрипачи, являющиеся уроженцами Нидерландов. Ведь скрипка там — национальный инструмент, на котором играют и стар и млад, мужчины и женщины, играют искони, как мы видим на картинах фламандской школы. Превосходнейший скрипач из этого племени — бесспорно Берно, супруг Малибран; порой я не могу отделаться от мысли, что в скрипке его заключена душа его покойной жены. Только Эрнст, поэтический богемец, умеет извлекать из своего инструмента столь же нежные, сладостные, истекающие кровью звуки. Арто, соотечественник Берно, — тоже превосходный скрипач, но, слушая его игру, никогда не вспомнишь о душе; это разряженный, хорошо слаженный молодец, а игра его — гладкая и блестящая, как клеенка. Гауман, сын брюссельского издателя, известного

своими перепечатками, продолжает на скрипке ремесло отца: его игра — это приятная перепечатка игры лучших скрипачей, тексты кое-где приукрашены излишними авторскими примечаниями и дополнены блестящими опечатками. Братья Франко-Мендес, дававшие и в этом году концерты, которыми как скрипачи доказали свой талант, — истые уроженцы страны трешкоутов и квиспельдорхенов. То же можно сказать и о Батта, виолончелисте; он родом из Голландии, но уже в раннем возрасте прибыл в Париж, где его мальчишеский облик особенно пленял дамские сердца. Это было милое дитя, и плакал он на своей виолончели тоже как дитя. Хотя он тем временем превратился в большого детину, все же он не может оставить милую привычку хныкать; и когда недавно, по нездоровью, он не мог выступить перед публикой, все стали говорить, что постоянный детский плач на виолончели сделался для него причиной настоящей детской болезни — кажется, кори. Но теперь он, по-видимому, совсем выздоровел, и газеты сообщают, что знаменитый Батта собирается в ближайший четверг дать музыкальный утренник, который вознаградит публику за долгую разлуку с ее любимцем.

Последний концерт, который г-н Морис Шлезингер устроил для подписчиков своей «Gazette musicale» и который, как я уже отметил, относится к самым блестящим событиям сезона, представлял для нас, немцев, особенный интерес. И недаром тут собрались все наши соотечественники, стремясь послушать прекрасную песню Бетховена «Аделаида» на немецком языке, в исполнении мадемуазель Лева, знаменитой певицы. Итальянцы и г-н Вьетан, обещавшие свое участие, уже во время самого концерта отказались участвовать в нем, к величайшему смущению устроителя, который со свойственной ему важностью вышел и объявил публике, что г-н Вьетан не желает играть, так как, по его мнению, и зал и публика не стоят его игры! Наглость этого скрипача заслуживает строжайшего порицания. Концерт происходил в зале Мюзара на улице Вивьен, где только во время карнавала немножечко канканируют, а во все остальное время года исполняют самую пристойную музыку — Моцарта, Джакомо Мейербера и Бетховена. Итальянским певцам, какому-нибудь синьору Рубини или синьору Лаблашу, можно еще простить их капризы; если соловьи не желают петь иначе, как перед

публикой, состоящей из золотых фазанов и орлов, то эти претензии все же позволительны. Но мингеру фламандскому аисту не следовало бы проявлять такую разборчивость и пренебрегать обществом, которое состояло из самых порядочных птиц, где было столько пав и цесарок, а наряду с ними имелись отличнейшие немецкие индюки и удоды. Каков был успех дебюта мадемуазель Леве? Скажу всю правду в двух словах: она спела превосходно, понравилась всем немцам и потерпела фиаско у французов.

Что касается этой неудачи, то мне хотелось бы, к утешению высокочтимой певицы, уверить ее в том, что успеху ее у французов помешали как раз ее достоинства. Голос мадемуазель Леве проникнут немецкой кроткой душевностью, которая до сих пор открылась лишь немногим французам и лишь постепенно находит доступ во Франции. Если бы мадемуазель Леве явилась несколькими десятилетиями позже, она, быть может, встретила бы больше сочувствия. Но масса публики пока что все та же. У французов есть ум и страсть, и самое полное наслаждение этими свойствами дают им формы беспокойные, бурные, порывистые, возбуждающие. Всего этого они совершенно не нашли в немецкой певице, которая к тому же спела им бетховенскую «Аделаиду». Эти спокойные вздохи души, эти синсокие, томные звуки лесного уединения, этот гимн цветению липы с обязательным лунным светом, это замирание неземной тоски, — эта истинно немецкая песня не встретила отклика во французской груди и даже была осмеяна, как зарейнская сентиментальность.

Хотя мадемуазель Леве не имела здесь успеха, однако все возможное было сделано, чтобы выхлопотать ей ангажемент в Académie royale de musique. Имя Мейербера упоминалось по этому поводу настойчивее, чем, вероятно, хотелось бы почтенному маэстро. Правда ли, что Мейербер не соглашается на постановку своей оперы, если Леве не будет ангажирована? Неужели же исполнение желаний публики Мейербер в самом деле связывает с таким мелочным условием? Действительно ли он так чрезмерно скромный, что воображает, будто успех его нового произведения зависит от более или менее послушного горла примадонны?

Многочисленные поклонники и почитатели обожаемого маэстро с прискорбием наблюдают, каких несказанных трудов стоит великому человеку обеспечить успех каждому

повому созданию своего гения и как он тратит лучшие свои силы на самые ничтожные мелочи. Его нежный, слабый организм должен страдать от этого. Его нервы болезненно раздражены, и, страдая хроническим желудочным недомоганием, он часто подвергается приступам холерины, господствующей здесь. Духовный мед, истекающий из его музыкальных шедевров и улаждающий нас, стоит своему творцу жестоких физических страданий. Когда последний раз я имел честь его видеть, я испугался его плачевного вида. Он напоминал мне бога диарреи из татарского предания, которое с устрашающим комизмом повествует о том, как однажды на ярмарке в Казани этот какодемон с угрюмым чревом купил для собственного употребления шесть тысяч горшков, так что горшечник сразу стал богатым человеком. Да ниспошлет небо нашему высокочтимому маэстро более совершенное здоровье, и пусть сам он никогда не забывает, что жизнь его висит на очень дряблой нитке, а ножницы Парки тем острее. Пусть он никогда не забывает, какие высокие интересы связаны с его существованием. Что станет с его славой, если — боже сохрани! — сам он, прославленный мастер, внезапно будет унесен смертью с арены своих триумфов? Станет ли его семейство поддерживать эту славу, составляющую гордость всей Германии? В материальных средствах семья, конечно, недостатка не потерпит, но, паверно, ей не хватит средств интеллектуальных. Лишь сам великий Джакомо, который не только является генеральмузикдиректором всех королевско-прусских музыкальных учреждений, но также и капельмейстером Мейерберовой славы, — лишь он один в силах дирижировать огромным оркестром этой славы. Он кивнет головой, и все тромбоны больших газет зазвучат в унисон; он мигнет глазом, и все хвалебные скрипки запиликают наперебой; он лишь тихонько пошевелит левою ноздрей, и из всех фельетонных флажолетов польются сладостнейшие звуки лесты. Есть тут и неслыханные, допотопные духовые инструменты, иерихонские трубы и еще неоткрытые эоловы арфы, струнные инструменты будущего, применение которых свидетельствует об исключительнейших способностях к инструментовке. Да, в такой степени, как наш Мейербер, еще ни один композитор не владел инструментовкой, то есть искусством пользоваться всевозможными людьми, и самыми малыми и самыми

великими, превращая их в инструменты и из сочетания их магически извлекая единодушный клич всеобщего признания, почти баснословного. Этого еще никто не умел. Тогда как лучшие оперы Моцарта и Россини проваливались при первом представлении и много лет должно было пройти, пока их не оценивали по достоинству, шедевры нашего славного Мейербера уже при первом представлении пользуются неоспоримейшим успехом, и на другой же день во всех газетах появляются статьи, полные заслуженных похвал. Это происходит благодаря гармоническому сочетанию инструментов; в отношении мелодии Мейербер уступает двум вышеназванным мастерам, но в отношении инструментовки он превосходит их. Небу известно, что он часто пользуется презреннейшими инструментами; но, быть может, именно благодаря им он достигает величайших эффектов и поражает толпу, которая восхищается им, поклоняется ему и даже чтит и уважает его. Кто может доказать противное? Со всех сторон на него сыплются лавровые венки, на голове у него — целый лавровый лес, он едва справляется с лаврами и задыхается под этим зеленым бременем. Ему надо было бы завести ослика, который трусил бы за ним рысцой, таща на себе тяжелые венки. Но Гуэн ревнив и не потерпит, чтобы маэстро сопровождал кто-нибудь другой.

Не могу не привести здесь острое словцо, приписываемое музыканту Фердинанду Гиллеру. Когда его спросили, что он думает о Мейерберовых операх, Гиллер будто бы ответил уклончиво и с досадой: «Ах, не будем говорить о политике!»

XXXIV

Париж, 29 апреля 1841 г.

Столь же значительное, сколь и печальное событие — приговор присяжных, признавших редактора газеты «La France»¹ невиновным в намеренном оскорблении короля. Право, не знаю, кто здесь наиболее заслуживает сожаления! Король ли, честь которого запятнали подложные письма и который, однако, не может, как всякий другой,

¹ «Франция» (франц.).

реабилитироваться в общественном мнении? Что в подобном затруднительном случае дозволено всякому другому, в том ему с жестокостью отказывают. Всякий другой, оказавшись в подобном положении, мог бы довести дело прямо до суда и путем судебного процесса ясно доказать подложность этих писем, выставляющих его в глазах публики изменником родины. Но подобного способа реабилитации не существует для короля, которого конституция провозглашает неприкосновенным и которому она не разрешает лично являться перед судом. Еще менее дозволена ему дуэль — суд божий, который в делах чести все еще сохраняет известную оправдывающую силу. Луи-Филипп спокойно должен допускать, чтобы в него стреляли, но сам никак не смеет взяться за пистолет и потребовать удовлетворения у своих оскорбителей. Точно так же он не может отвечать своим клеветникам на столбцах местных газет обычным в таких случаях надменным тоном, ибо — увь! — короли, подобно великим поэтам, не имеют права защищаться этим путем и должны с молчаливым терпением сносить всякую ложь, распространяемую на их счет. Право же, я питаю самое болезненное сочувствие к царственному страдальцу, корона которого — только мишень для клеветы, а в скипетре, когда дело идет о самообороне, меньше проку, чем в обыкновенной палке. Или я должен еще больше пожалеть о вас, легитимистах, притворяющихся избранными паладинами роялизма и в то же время унижающих в лице Луи-Филиппа сущность королевской власти, авторитет короля? Во всяком случае я сочувствую вам, когда думаю о страшных последствиях, которые вы этим святотатством накликаете прежде всего на собственные безрассудные головы! С падением монархии вас снова ждет на родине топор, а на чужбине — посох нищего. Да, теперь судьба ваша была бы еще гораздо позорнее, чем в прежние времена; теперь вас, одураченных кумовьев ваших же палачей, уже стали бы убивать не с диким гневом, но с пренебрежительным смехом, а на чужбине милостыню вам стали бы подавать не с тем почтением, которое подобает незаслуженному несчастью, а с презрением.

Но что сказать мне об этих милых присяжных, которые, состояясь в ослеплении, сами принялись разрушать фундамент собственного дома? Краеугольный камень, на котором зиждется все их государственное заведение, —

королевский авторитет, они непоправимо расшатали этим оскорбительным и позорным приговором. Мало-помалу становится понятен весь пагубный смысл этого приговора, о нем не переставая говорят, и мы с ужасом видим, что злополучный исход процесса систематически используется для корыстных целей. Подложные письма нашли теперь законную поддержку, и вместе с безответственностью растет и дерзость врагов существующего строя. В настоящее время по всей Франции в бесчисленном множестве экземпляров распространяются литографированные копии мнимых писем, и коварство самодовольно потирает руки в восторге от удавшейся проделки. Легитимисты кричат «ура», как будто они выиграли сражение. Славное сражение, в котором *La contemporaine*,¹ пресловутая мадам де Сент-Эльм, несла знамя! Благородный барон Ларошжаклен прикрывал эту новую Жанну д'Арк своим щитом. Он ручается за ее правдивость — почему бы ему не поручиться и за ее девственную чистоту? Но этим триумфом прежде всего обязаны великому Берье, буржуазному вассалу легитимистического рыцарства, который всегда говорит умно, какое бы скверное дело ему ни приходилось защищать.

Однако здесь, во Франции, страпе партий, где из каждого события непосредственно вытекают все его последствия, дурное влияние всегда идет рука об руку с более или менее благоприятным противодействием. И это имело место также после плачевного решения присяжных. Опасные последствия его пока что в некоторой мере нейтрализуются ликованием и победными криками, которые подняли легитимисты: народ так ненавидит их, что забывает все свое негодование против Луи-Филиппа, когда эти исконные враги новой Франции слишком уж громко начинают ликовать, празднуя свою победу над ним. Самое тяжелое обвинение, которое в последнее время возводилось на короля, ведь именно и состояло в том, что будто бы он слишком усердно хлопочет о примирении с легитимистами и приносит им в жертву демократические интересы. Вот почему оскорбления, которым подвергся король именно со стороны этих фрондирующих дворян, вызвали известное злорадство прежде всего в среде буржуазии, патрав-

¹ Современница (*франц.*).

ливаемой газетами недовольного среднего сословия и залятой самыми гадкими измышлениями насчет реакционных намерений теперешнего министерства.

Но как обстоит дело с этими реакционными намерениями, которые приписываются главным образом Гизо? Я не верю в них. Гизо — человек стойкий, но не реакционный. И будьте уверены, что за сопротивление высшим ему давно дали бы отставку, если бы не нуждались в его сопротивлении низам. Настоящее его дело — фактическое сохранение того буржуазного правительства, которое со стороны запоздалых мародеров прошлого подвергается таким же злобным угрозам, как и со стороны жадного до грабежа авангарда будущего. Г-н Гизо поставил себе трудную задачу, и никто не благодарит его за это. Право, всего благодарнее оказались те добрые граждане, которых его сильная рука охраняет и защищает, но которым он никогда не протягивает доверчивую руку и с мелочными страстями которых он не имеет решительно ничего общего. Они его не любят, эти мещане, потому что он не смеется вместе с ними вольтеровским остромам, потому что сам он не промышленник и не пляшет вместе с ними вокруг майского дерева славы! Голову он держит очень высоко, и все черты его лица словно говорят с меланхолической гордостью: «Я, пожалуй, мог бы делать и что-нибудь лучшее, чем убивать свои силы в тяжелой каждодневной борьбе ради этой сволочи!» Действительно, этот человек не слишком страстно стремится к популярности и даже провозгласил принцип, что хороший министр должен быть непопулярен. Он никогда не желал нравиться толпе, даже во дни Реставрации, когда его, ученого народного трибуна, чествовали с таким великолепием. Когда он в Сорбонне читал свои замечательные лекции и молодежь слишком уж бурно выражала свое одобрение, он сам смирял этот шумный восторг строгими словами: «Господа, в энтузиазме тоже надо соблюдать порядок!» Любовь к порядку — вообще преобладающая черта характера Гизо, и уже поэтому влияние его на кабинет должно было быть очень благотворно среди путаницы наших дней. Из-за этой любви к порядку он нередко подвергался обвинениям в педантизме, и, признаюсь, серьезность его внешнего облика смягчается чем-то учительски навязчивым, напоминающим наше немецкое отечество, в особенности Геттинген! Он такой же

нереакционер, как и гофрат Герен, Тикзен или Эйхгорн, но он никогда не позволит колотить университетских педелей или затевать драки на Вендской улице и бить фонари.

XXXV

Париж, 19 мая 1841 г.

В прошлую субботу состоялось одно из замечательнейших заседаний того отделения Institut royal,¹ которое называется Académie des sciences morales et politiques.² Местом действия, как всегда, была та зала в Palais Mazarin,³ которая и своими высокими сводами и лицами, порой заседающими в ней, так часто напоминает Dôme des Invalides с его куполом. Действительно, прочие отделения Института, собирающиеся здесь на заседания, проявляют только старческое бессилие, но вышеупомянутая Académie des sciences morales et politiques составляет исключение и отличается свежестью и силой. В этом отделении господствуют величественные идеи, тогда как организация и общий дух Institut royal очень мелочны. Какой-то остряк весьма правильно заметил: «На сей раз часть больше целого». Собрание в прошлую субботу дышало особенной юношеской живостью: речь Кузена, председательствовавшего в нем, была исполнена того отважного огня, который порой не очень греет, но всегда светит; а речь Минье, которому выпало на долю почтить память покойного Мерлена де Дуэ, знаменитого юриста и члена конвента, была так же цветуще-прекрасна, как и его наружность. Дамы, которые всегда в большом числе присутствуют на заседаниях Section des sciences morales et politiques,⁴ когда должен говорить прекрасный secrétaire perpétuel,⁵ приходят туда, быть может, не столько для того, чтобы слушать, сколько для того, чтобы смотреть, а так как среди них много очень красивых, то вид их иногда отвлекает слушателей. Что же касается меня, то на этот раз предмет речи Минье совер-

¹ Королевского института (*франц.*). (См. комментарии.)

² Академия нравственных и политических наук (*франц.*).

³ Дворце Мазарини (*франц.*).

⁴ Отделения нравственных и политических наук (*франц.*).

⁵ Непременный секретарь (*франц.*).

пенно исключительно приковал к себе мое внимание, ибо знаменитый историк революции снова говорил об одном из крупнейших вождей великого движения, преобразовавшего гражданскую жизнь французов, и каждое слово было здесь плодом интересных исследований. Да, это был голос историка, действительного начальника архивов Клио, и, казалось, в руках у него — те вечные таблички, на которых строгая богиня начертала уже слова приговора. Только в выборе выражений и в смягчающем тоне речи сказывалась порой академическая традиция, обязывающая хвалить. К тому же ведь Минье — государственный деятель, а при обсуждении недавнего прошлого следовало соблюдать умную осторожность, не упуская из виду современных отношений. Опасная задача — описывать пережитую бурю, пока мы еще не достигли гавани. Быть может, для французского государственного корабля опасность вовсе еще не миновала, как думает добрый Минье. Недалеко от оратора, на скамье против меня сидел г-н Тьер, и для меня была многозначительна его улыбка в те моменты, когда Минье слишком уж благодушно рассуждал об окончательном упрочении нового порядка: так улыбается Эол, когда Дафнис, взирая на море с тихого берега, наигрывает на мирной флейте.

Речь Минье вы скоро увидите напечатанной целиком, и богатое содержание ее, конечно, порадует вас; но чтение никогда не заменит живую речь, которая, подобно глубокомысленной музыке, вызывает в слушателе вереницу мыслей. Так, у меня до сих пор еще все время звучит в памяти одно замечание, сделанное оратором в нескольких словах и, однако, содержащее важные мысли. Он отметил, как полезно то обстоятельство, что новый свод французских законов составляли люди, которые только что вышли из долгой смуты величайшего государственного переворота и, следовательно, основательнейшим образом изучили человеческие страсти и современные потребности. Да, если мы примем в расчет это обстоятельство, то поймем, что оно особенно благоприятствовало теперешнему французскому законодательству, что им определяется исключительная ценность Code Napoléon¹ и комментарий к нему, которые, в противоположность другим юридиче-

¹ Кодекса Наполеона (*франц.*),

ским сборникам, сочиняли не праздные и холодные казуисты, а пламенные спасители человечества, видевшие все страсти в их первобытной наготе и действительно посвященные в скорби всех новых вопросов жизни. О призвании нашего времени к законодательству философская школа в Германии судит столь же неверно, как и школа историческая; первая уже умерла, а вторая еще не родилась.

Речь, которой Виктор Кузен открыл в прошлую субботу заседание Академии, дышала чувством свободы, которое всегда радует нас в нем и вызывает наше уважение. Впрочем, один из наших коллег воздал ему столь щедрую хвалу на этих столбцах, что покамест с него хватит. Я хочу лишь отметить, что об этом человеке, которого мы и раньше недолюбливали и который за последнее время тоже не заслужил наших симпатий, мы теперь все же лучшего мнения. Бедный Кузен, прежде мы так плохо обращались с тобой — с тобой, который всегда был так мил и приветлив с нами, немцами. Странно! Как раз в то время, когда во Франции был министром верный ученик немецкой школы, друг Гегеля, наш Виктор Кузен, в Германии вспыхнуло против французов то слепое озлобление, которое теперь постепенно исчезает, а потом, быть может, покажется совершенно непостижимым. Помню, в то самое время, прошлой осенью, я встретил г-на Кузена на Итальянском бульваре, где он стоял перед магазином эстампов, восхищаясь выставленными там картинами Овербека. Мир в то время сорвался с петель, гром бейрутских пушек, как набатный колокол, пробуждал всеобщий воинственный дух на Западе и на Востоке, египетские пирамиды дрожали, по ту и по другую сторону Рейна оттачивались сабли, а Виктор Кузен, тогдашний французский министр, спокойно стоял перед магазином эстампов, восторгался безмятежными, набожными лицами святых Овербека и с восхищением говорил о превосходстве немецкого искусства и науки, о нашей душевности и нашем глубокомыслии, о нашей любви к справедливости и нашей гуманности. «Но, ради бога, — внезапно прервал он себя, словно пробуждаясь ото сна, — что значит шумное и крикливое бешенство, с которым вы в Германии вдруг ополчились теперь против нас?» Он не мог понять это состояние, и я тоже ничего не понимал в нем, и вот, идя по бульвару рука об руку,

мы изощрялись в предположениях о конечных причинах этой неприязни, пока не дошли до Passage des Panoramas,¹ где Кузен простился со мной и зашел к Марки — купить себе фунт шоколада.

Я с особенной радостью констатирую самые мелкие обстоятельства, свидетельствующие о симпатиях к Германии, которые замечаю во французских государственных деятелях. Что мы видим эти симпатии у Гизо, это вполне понятно, так как воззрения его весьма родственны нашим и он очень верно понимает потребности и законные права немецкого народа. Это понимание, может быть, примиряет его с нелепостями, которые порой случаются у нас: слова «tout comprendre c'est tout pardonner»² я прочел на этих днях на печатке одной красавицы. Пусть себе утверждают, что у Гизо характер пуританина; но ведь он понимает и тех, кто думает и чувствует иначе. Ум его не чужд поэзии, не узок и не сух: ведь этому пуританину французы обязаны переводом Шекспира, и когда несколько лет тому назад мне пришлось писать о британском короле поэтов, то, стараясь истолковать чары его фантастических комедий, я не нашел лучшего средства, как буквально привести комментарий этого пуританина, «круглоголового» Гизо.

Удивительно! Воинственное правительство 1 марта, вызывавшее такое негодование по ту сторону Рейна, большей частью состояло из людей, которые искренне почитали и любили Германию. Рядом с этим Виктором Кузеном, который понимал, что лучшую критику чистого разума можно найти у Иммануила Канта, а лучший шоколад — у Марки, в совете министров сидел тогда г-н Ремюза, тоже восхищавшийся немецким гением и трудившийся над изучением его. Еще в молодости он перевел несколько немецких драматических произведений, которые напечатал в «Théâtre étranger».³ Человек этот так же умен, как и честен, ему знакомы высоты и глубины немецкого народа, и я убежден, что величие его он понимает лучше, чем все авторы музыки Беккеровой песни, если даже не лучше, чем сам великий Никлас Беккер! В последнее время Ре-

¹ Пассажа Панорам (франц.).

² Все понять — это значит все простить (франц.).

³ «Иностранном театре» (франц.).

мюзанам особенно понравился тем, что открыто выступил на защиту одного из своих благородных соратников, честное имя которого стало жертвой клеветнических инсинуаций.

XXXVI

Париж, 22 мая 1841 г.

Англичане корчат здесь очень тревожные рожи. «Дело плохо, дело плохо», — таковы испуганные шипящие звуки, которые они шепчут друг другу, встречаясь у Галиньяни. Кажется, и в самом деле распаталось все великобританское государство и близко его падение; но это так только кажется. Государство это подобно пизанской башне: наклонное положение пугает нас, когда мы смотрим на нее, путешественник ускоряет шаг, опасаясь, как бы эта огромная башня не свалилась невзначай ему на голову. Когда я во дни Каннинга был в Лондоне и присутствовал на бурных митингах радикалов, мне казалось, что все государственное здание сейчас рухнет. Мои друзья, посетившие Англию во время волнений, вызванных биллем о реформе, испытали такое же чувство страха. Подобными же опасениями были охвачены те, которые были свидетелями махинаций О'Коннеля и шума от католической эмансипации. Теперь хлебные законы — причина бури, которая угрожает гибелью государству, — но не страшись, сын Альбиона:

Пускай трещит, — еще не рухнет,
А рухнет — уж после тебя.

Здесь, в Париже, в настоящее время царит глубокая тишина. В конце концов устаешь вечно говорить о подложных королевских письмах, и отрадное разнообразие внесло в наши разговоры похищение инфанты испанской Игнатием Гуровским, братом того пресловутого Адама Гуровского, которого вы, может быть, еще помните. Прошлым летом друг Игнатий был влюблен в мадемуазель Рашель; но так как отец ее, принадлежащий к очень хорошей еврейской семье, отказал ему в руке своей дочери, то он принялся ухаживать за принцессой Изабеллой-Фернандой Испанской. Все придворные дамы обеих Кастилий, да и всего мира, в ужасе всплеснули руками: теперь, наконец, они поняли, что старому миру почтительных традиций пришел конец!

Париж, 11 декабря 1841 г.

Теперь, с приближением Нового года, дня подарков, магазины стараются превзойти друг друга разнообразием витрин. Вид их может доставить праздному фланеру самое приятное развлечение; и если мозг его не совсем пуст, то в нем возникнут кой-какие мысли, пока он будет созерцать пестрое обилие предметов роскоши, изящных изделий, выставленных за блестящими зеркальными стеклами, и при этом бросать взгляды на публику, стоящую рядом с ним. Лица этих людей так отвратительно серьезны и измучены, так нетерпеливы и угрожающи, что составляют зловещий контраст с предметами, на которые они gazeют, и мы начинаем бояться, как бы вдруг эти люди не ударили кулаками в стекла и не разнесли бы в прах все пестрые, звенящие игрушки знатного света вместе с этим самым знатным светом! Не только какой-нибудь великий политик, но простой фланер, которого занимает не разница между Дюфором и Пасси, а выражение лиц встречающихся на улицах, и тот твердо убежден, что рано или поздно всей этой буржуазной комедии во Франции, вместе с ее парламентскими героями и статистами, придет страшный конец, она будет освистана, а за ней последует эпилог, который называется — коммунистический строй! Конечно, этот эпилог не может особенно затянуться, но он тем могущественнее потрясет и очистит сердца — это будет настоящая трагедия.

Последние политические процессы должны бы многим открыть глаза, но слепота слишком уж приятна. Никто и не хочет, чтоб ему напоминали об опасностях, которые могли бы отравить сладость настоящего. Поэтому все они сердятся на человека, чей строгий взор проникает в самые далекие глубины грозных грядущих ночей и чье суровое слово напоминает об общей опасности, — порой, быть может, и невпопад, как раз в то время, когда мы сидим за самой радостной трапезой. Все они сердиты на бедного школьного учителя — Гизо. Даже так называемые консерваторы по большей части недовольны им, и в своем ослеплении они полагают, что его можно заменить человеком, чье веселое лицо и чья ласковая речь будут меньше пугать и тревожить их. О консервативные глупцы, вы,

которые не в силах консервировать что бы то ни было, кроме вашей глупости! Именно этого Гизо вам надо было бы беречь как зеницу ока, отгонять от него комаров, как радикальных, так и легитимистических, чтобы поддерживать в нем хорошее расположение духа: иногда вам следовало бы посылать ему цветы в особняк на бульваре Капуцинов, веселые цветы — розы и фиалки, вместо того чтобы ежедневными придирками отравлять ему пребывание в этом жилище или даже интригами выгонять его оттуда. На вашем месте я бы все время боялся, что он вдруг сбесит от блистательных мучений своего министерского поста и снова укроется в мирную рабочую комнатку на улице Левек, где когда-то он жил так идиллически счастливо среди своих книг, переплетенных в овечью и телячью кожу.

Но в самом ли деле Гизо — тот человек, который был бы в силах предотвратить надвигающуюся гибель? Действительно, в нем соединяются обычно несовместимые свойства — глубочайшая пронизательность и твердая воля: он мог бы с античной непоколебимостью сопротивляться всякой буре и с самой современной осмотрительностью избегать опасных подводных скал; но неслышные зубы мышей слишком изгрызли дно французского государственного корабля, и против этого внутреннего бедствия, гораздо более серьезного, чем бедствия внешние, Гизо бессилён, — это он и сам понимает. Опасность именно в этом. Разрушительные доктрины во Франции слишком уж завладели низшими классами: речь идет уже не о равенстве в правах, но о равенстве в наслаждении благами земными, и в Париже есть около 400 000 грубых кулаков, которые ждут только лозунга, чтобы осуществить идею абсолютного равенства, гнездящуюся в грубых головах. Война, утверждают многие, была бы хорошим способом, чтобы отвлечь эти разрушительные силы. Но разве это было бы не то же самое, что изгонять Сатану с помощью Вельзевула? Война только ускорила бы катастрофу и по всей земле распространила бы недуг, подтачивающий сейчас одну лишь Францию; пропаганда коммунизма владеет языком, понятным всякому народу; элементы этого всеобщего языка так же просты, как голод, как зависть, как смерть. Научиться ему так легко!

Но оставим эту мрачную тему и вернемся снова к предметам более веселым, выставленным за зеркальными

стеклами на улице Вивьен или же на бульварах. Они блестят, смеются, манят! Задорная жизнь, нашедшая себе выражение в золоте, серебре, бронзе, драгоценных камнях, во всевозможных формах, особенно же в формах эпохи Ренессанса, которым подражает ныне господствующая мода! Откуда это пристрастие к эпохе Ренессанса, возрождения, или, вернее, воскресения, когда древний мир точно восстал из могилы, чтобы скрасить умирающему средневековью его последние часы? Или наша современная душа считает себя сродни той эпохе, которая, так же как и наша, искала в прошлом источник обновления и жаждала бодрящего напитка жизни? Не знаю, но годы Франциска I и современников его, разделявших его вкусы, полны для нас почти зловещего очарования, как память о пережитом во сне; и потом необыкновенная самобытная прелесть заключена в тех средствах, которыми это время умело переработать в себе вновь обретенную древность. Здесь мы не видим, как в школе Давида, академически сухого подражания греческой пластике, но видим плавное слияние ее с христианским спиритуализмом. В созданиях искусства и жизни, обязанных своим причудливым бытием сочетанию этих разнороднейших элементов, мы чувствуем такое сладостное, меланхолическое остроумие, такой иронически-примирительный поцелуй, цветущий задор, зловещее изящество, которому мы покоряемся со страхом, сами не зная почему.

Но подобно тому, как политику мы сегодня предоставляем политиканам по профессии, так патентованным историкам мы предоставим более точно исследовать вопрос, в какой степени наше время родственно эпохе Возрождения; и как истые фланеры, остановимся на Монмартрском бульваре перед гравюрой, которую выставили там г-да Гупиль и Ритнер и которая, став, так сказать, гвоздем гравюрного сезона, привлекает к себе все взоры. Действительно, она заслуживает этого всеобщего внимания: гравюра эта изображает «Рыбаков» Робера. Дни и годы ждали мы этой гравюры, и, конечно, она — чудесный рождественский подарок для широкой публики, которой оригинал остался неизвестен. Я воздерживаюсь от подробного описания этой картины, ибо в скором времени она станет столь же известной, как и «Жнецы» того же художника, умной и грациозной параллелью к которой она

является. Если та знаменитая картина изображает летний день в сельской местности, по которой римские поселяне, словно на триумфальной колеснице, проезжают с плодами своей жатвы, то на последней картине Робера, представляющей резкий контраст к его «Жнецам», мы видим зимний день в маленькой гавани Кюджа и бедных рыболовов, готовящихся, несмотря на ветер и дождь, выйти в Адриатическое море, чтобы заработать себе на скудный насущный хлеб. Жена, дети и старуха бабушка глядят им вслед с мучительным смирением — очень трогательные фигуры, при виде которых в нашем сердце громко дают о себе знать всякие противоположные мысли. Эти несчастные люди, рабы нищеты, обречены на вечный труд и погибают в жестокой нужде и скорби. Меланхолическое проклятие отобразилось здесь, и художник, как только закончил картину, перерезал себе горло. Бедный народ! Бедный Робер! Да, если «Жнецы» этого художника — творение радости, возникшее и сложившееся в любовном сиянии римского солнца, то в его «Рыбаках» отразились все те мысли о самоубийстве, все те осенние туманы, что ложились на его душу в то время, когда он жил в разоренной Венеции. Если та, первая картина умиротворяет и восхищает нас, то последняя наполняет возмущением и негодованием: там Робер изобразил счастье человечества, здесь — мучения народа.

Вовеки не забуду того дня, когда я впервые увидел оригинал «Рыбаков» Робера. Слово молния, сверкнувшая в безоблачном небе, поразила нас внезапная весть о его смерти, а так как эту картину, прибывшую сюда в то же самое время, нельзя было поместить на выставку, которая уже открылась, то у владельца ее, г-на Патюрль, явилась похвальная мысль — устроить особую выставку этой картины в пользу бедных. Мэр второго округа предоставил помещение для этой выставки, и сбор, если не ошибаюсь, составил свыше шестнадцати тысяч франков. (Если бы все творения друзей народа приносили после их смерти такую же практическую пользу!) Помню, что когда я подымался по лестнице мэрии к залу, где была выставлена картина, на одной из дверей я прочел надпись: «Bureau des décès».¹ В зале перед картиной собралось очень много народу,

¹ «Отдел регистрации смертей» (франц.).

все молчали, царила тревожная, глухая тишина, как будто за холстом лежал окровавленный труп художника. Что было причиной его самоубийства — поступка, противоречащего законам религии, морали и природы, священным законам, которым Робер всю свою жизнь оказывал такое детское послушание? Да, он был воспитан в духе швейцарски-строгого протестантизма, он хранил непоколебимую преданность вере отцов, и в нем не было и следа религиозного скептицизма или даже индифферентизма. И он всегда добросовестно исполнял свои гражданские обязанности, был хороший сын, хороший хозяин, плативший свои долги, соблюдавший все правила приличия, старательно чистивший свой сюртук и шляпу, а о безнравственности его даже не может быть и речи. К природе он льнул всей душою, как ребенок льнет к груди матери; она вскармливала его дарование и открывала ему все свое величие, и — заметим мимоходом — она была ему дороже традиции мастеров: следовательно, заманить этого превосходного человека в объятия смерти не могло ни сладостное безумие искусства, погружаясь в которое он всегда соблюдал меру, ни жуткое стремление к блаженствам грез, ни отречение от природы. И денежные дела его были в полном порядке, все почитали его, восхищались им, и он даже был здоров. Что же было причиной этого самоубийства? Здесь, в Париже, одно время ходил слух, будто причиной его была несчастная страсть к одной знатной римской даме. Я не могу этому поверить. Роберу тогда было тридцать восемь лет, и хотя в этом возрасте вспышки страсти бывают ужасны, все же дело не доходит до самоубийства, как в ранней молодости, в юный, вертеровский период.

Быть может, уйти из жизни Робера побудило то страшное ощущение, когда художник замечает несоответствие между своей жаждой творчества и средствами выражения: это сознание бессилия — уже полусмерть, и рука лишь помогает сократить агонию. Хотя произведения Робера и были так прекрасны, так благородны, все же это были, наверное, только бледные тени тех цветущих красок природы, которые являлись его духовному взору, и опытному глазу легко было заметить тягостную борьбу с материалом, который он побеждал лишь путем отчаяннейшего напряжения. Прекрасны и уверенны все эти картины

Робера, но в них по большей части нет свободы, не чувствуется веяния живого духа: они надуманны. Робер имел некоторое представление о том, что есть гениальное величие, но дух его все же был загнан в тесные рамки. Судя по характеру его произведений, следовало бы думать, что он был поклонником Рафаэля Санцио из Урбино, ангела совершенной красоты, — и, однако, как уверяют его близкие друзья, он поклонялся Микеланджело Буонаротти, боготворил грозного титана, яростного громовержца Страшного суда. Истинной причиной его смерти была горькая досада художника-жанриста, жадно стремившегося к грандиознейшим историческим полотнам, — он умер от недостатка творческих сил.

Гравюра «Рыбаки», выставленная теперь у Гупиля и Ритнера, превосходна в техническом отношении — истинный шедевр, стоящий гораздо выше, чем гравюра «Жнецы», выполненная, пожалуй, слишком поспешно. Но ей недостает той блаженной самобытности, которая так пленяет нас в «Жнецах», и, быть может, объясняется она тем, что в картине этой проявилось единство созерцания — все равно, внешнего ли или внутреннего, и что оно отображено в ней с большою точностью. «Рыбаки», напротив, слишком уж надуманны, фигуры лишь с трудом удалось найти и сгруппировать, они скорее стесняют друг друга, чем дополняют, и в оригинале только краска сглаживает различия и придает всей картине видимость единства. На гравюре, лишенной пестрого посредничества краски, части, только внешне связанные друг с другом, естественно снова распадаются, обнаруживается неловкость, несовершенство работы, и целое уже перестает быть целым. Величие Рафаэля, недавно говорил мне один коллега, сказывается в том, что картины его и в гравюре не утрачивают своей гармоничности. Даже в самых посредственных копиях, лишенные всякого колорита, а то и всяких теней, представленные в голых контурах, творения Рафаэля сохраняют ту гармоническую мощь, которая потрясает нашу душу. Причина здесь в том, что они — истинные откровения, откровения духа, который, так же как природа, кладет печать завершенности и на простые контуры.

Резюмирую мое мнение о «Рыбаках» Робера: им недостает единства, и только частности, особенно молодая

женщина с больным ребенком, заслуживают самой высокой похвалы. Чтобы подкрепить мое суждение, сошлюсь на эскиз, в котором Робер словно высказал свою первую мысль: здесь, в первоначальном наброске, господствует та гармония, которой недостает законченной картине, и когда сравнишь ее с эскизом, ясно видишь, как долго художник терзал и изнурял свой дух, прежде чем придал картине ее теперешний вид.

XXXVIII

Париж, 19 декабря 1841 г.

Удержится ли Гизо? Боже правый, в этой стране долго никто не продержится: все шатается, даже Луксорский обелиск! Это не гипербола, но буквальная истина — уже несколько месяцев здесь идут разговоры о том, что обелиск нетвердо стоит на своем пьедестале, что по временам он покачивается и в одно прекрасное утро свалится на голову людям, которые будут проходить мимо. Боязливые уже и теперь, если на их пути приходится площадь Людовика XV, стараются пройти подальше от разрушающегося величия. Более отважные не изменяют, конечно, своему обычному пути, не отступают ни на шаг, но все же, проходя мимо, не могут не взглянуть, в самом ли деле шатается огромный камень. Как бы то ни было, всегда плохо, если публика начинает сомневаться в прочности вещей; вместе с верой в их долговечность исчезает и лучшая опора их. Устоит ли он? Во всяком случае я думаю, что в течение всей ближайшей сессии палаты они оба еще продержатся — как обелиск, так и Гизо, представляющий с первым некоторое сходство: например, он также стоит не на своем месте. Да, оба они стоят не на своем месте — они вырваны из своей среды, насильственно пересажены и получили неподходящее соседство. Обелиск стоял некогда перед исполинской колоннадой, увенчанной лотосными капителями, у входа в Луксорский храм, подобный огромной гробнице, что заключает в себе вымершую мудрость прошлого, высохшие трупы царей, набальзамированную смерть. Рядом с ним стоял его брат-близнец — из такого же красного гранита и такой же пирамидальной формы, и чтобы приблизиться к ним обоим, надо было пройти мимо

двух рядов сфинксов, немых, загадочных тварей — зверей с человеческими ликами, египетских доктринеров. И правда: это соседство куда лучше шло к обелиску, чем то, которое выпало ему на долю на площади Людовика XV, самой современной площади мира, площади, где, собственно, началось новое время и где святотатственный топор насильственно отсек его от прошедшего. Быть может, великий обелиск в самом деле дрожит и шатается потому, что ему страшно стоять на столь безбожной земле, ему, который тысячелетиями стоял на страже, как каменный швейцар в иероглифической ливрее, у священных врат фараоновых гробниц и самодержавного царства мумий? Во всяком случае стоит он там очень одиноко, почти комически одиноко, окруженный со всех сторон театральными постройками нового времени, изваяниями во вкусе рококо, фонтанами с раззолоченными наядами, аллегорическими статуями французских рек, в пьедестале которых находится комната привратника, посредине между Arc de Triomphe,¹ Тюильри и палатой депутатов — примерно так же, как жречески глубокомысленный, египетски неподвижный и молчаливый Гизо — между империалистически грубым Сультом, меркантильно плоскоголовым Гюманом и пустым болтуном Вильменом, который выкрашен наполовину в вольтерианский, а наполовину в католический цвет и у которого во всяком случае одной полосой больше, чем надо.

Но оставим Гизо и будем говорить только об обелиске: это правда, что поговаривают о его скором падении. Говорят, что под тихими лучами палящего солнца Нила, в своем отечественном спокойствии и уединении, он мог бы простоять еще тысячелетия; но здесь, в Париже, на него влияют постоянные перемены погоды, лихорадочно-изнурительная, анархическая атмосфера, беспрестанно дующий холодный, сырой ветер, гораздо более вредный для здоровья, чем знойный самум пустыни; словом, парижский климат не годится для него. Настоящий соперник Луксорского обелиска — это все еще Вандомская колонна. Прочно ли она стоит? Не знаю, но она стоит на своем месте, гармонизируя со своей средой. У нее крепкие корни в национальной почве, и для тех, кто будет за нее держаться, она

¹ Триумфальной аркой (франц.).

явится прочной опорой. Вполне ли прочной? Нет, здесь, во Франции, ничто не стоит прочно. Однажды буря уже свергнула с вершины Вандомской колонны железного мужа, служившего ей капиталью, а в случае прихода коммунистов к власти то же самое может ведь и повториться, если только радикально-бешеное стремление к равенству вовсе не уничтожит колонну и этот памятник, символизирующий жажду славы, не исчезнет с лица земли: ни один человек и ни одно создание рук человека не должны подыматься над известным общим уровнем, и зодчеству, так же как и эпической поэзии, грозит гибель. «К чему еще памятники честолюбивым народоубийцам?» — такие возгласы я слышал недавно по случаю конкурса на проект мавзолея императора. «На это пойдут деньги нищенствующего народа, а ведь мы разобьем его, когда настанет тот день!» Да, мертвому герою лучше было бы остаться на Святой Елене, и я не поручусь за то, что гробница его не будет разгромлена когда-нибудь и труп его не будет выброшен в прекрасную реку, на берегах которой он должен был так трогательно покоиться, то есть в Сену! Тьер как министр оказал ему, может быть неважную услугу.

Право, как историк он оказывает лучшую услугу императору, и памятник, более прочный, чем Вандомская колонна и проектируемая гробница, Тьер воздвигает ему в той большой исторической книге, над которой он постоянно трудится, несмотря на все политические заботы, беспокоящие его. Только Тьер располагает данными, чтобы написать великую историю Наполеона Бонапарта, и он напишет ее лучше, чем те, которые считают себя исключительно призванными к этому делу на том основании, что они были верными спутниками императора и даже постоянно соприкасались с его особой. Личные знакомые великого героя, его соратники, камердинеры, камергеры, секретари, адъютанты — может быть, вообще его современники — менее всего годятся в историографы: порой они мне представляются маленькими насекомыми, которые ползали по голове человека, находились в самой настоящей, непосредственной близости к его мыслям, всюду его сопровождали и все-таки никогда и не догадывались о настоящей его жизни и значении его поступков.

Не могу по этому случаю не обратить внимания на гравюру, выставленную сейчас во всех художественных

магазинах и изображающую императора, — копию с картины Делароша, написанной им для леди Сандвич. Здесь (как и во всех своих произведениях) художник действовал эклектически и, работая над этой картиной, воспользовался рядом неизвестных портретов, находящихся во владении семьи Бонапартов, затем — маской покойного, далее — подробностями о характерных чертах лица императора, которые он узнал от знакомых дам, и, наконец, собственными воспоминаниями, так как в своей молодости он много раз видел Наполеона. Не могу поделиться здесь моим мнением об этой картине, а то мне пришлось бы подробно говорить о манере Делароша. Главное я уже отметил: эклектические приемы, которыми в известной мере достигается внешняя правда, но которые не дают высказаться основной, более глубокой мысли. Этот новый портрет императора появился у Гупиля и Ритнера, издавших гравюры почти со всех известных произведений Делароша. Недавно они выпустили в свет его Карла I, над которым в тюрьме издеваются солдаты и палачи, а в параллель к этой картине и в том же формате мы видим графа Стаффорда, который, направляясь к месту казни, проходит мимо тюрьмы, где заключен епископ Лоу, посылающий свое благословение графу, пока его ведут мимо; видны только две руки, протянутые сквозь решетку окна и похожие на палки, весьма прозаичные и безвкусные. В том же магазине появилось новое большое произведение Делароша: умирающий Ришелье, плывущий по Роне в лодке с двумя своими жертвами, готовыми к закланию, — рыцарями Сен-Маром и де Ту, приговоренными к смерти. Дети короля Эдуарда, которых убивают в Тауэре по приказанию Ричарда III, — самая изящная из вещей, написанных Деларошем и изданных в виде гравюры вышеупомянутым магазином. Сейчас готовится гравюра с картины Делароша, изображающей Марию-Антуанетту в тюрьме Тампль: несчастная королева одета крайне бедно, почти совсем как женщина из народа что, разумеется, вызовет в благородном предместье легитимнейшие слезы. Один из трогательнейших шедевров Делароша, изображающий королеву Джен Грей в ту минуту, когда она кладет на плаху свою белокурую головку, еще не выгравирован и тоже должен вскоре появиться. Его Мария Стюарт также еще не появилась в гравюре. Если не лучшее, то, конечно,

самое эффектное, что создал Деларош, — это его Кромвель, приоткрывающий гроб с обезглавленным трупом Карла I, — знаменитая картина, о которой я подробно говорил несколько лет тому назад. Гравюра — тоже верх технического совершенства. Удивительное пристрастие, даже идиосинкразия проявляется у Делароша в выборе сюжетов. Всегда у него — высокие особы, которых или казнят, или же, по меньшей мере, отдают в руки палача. Г-н Деларош — придворный живописец всех обезглавленных величеств. Он не может не служить этим высокопоставленным смертникам, и они занимают его ум даже тогда, когда он изображает монархов, преставившихся и без помощи палача. Например, на картине, где изображена умирающая Елизавета Английская, мы видим, как седая королева в отчаянии катается по полу, мучимая в этот предсмертный час воспоминанием о графе Эссексе и Марии Стюарт, окровавленные тени которых она, кажется, видит своими остановившимися глазами. Эта картина — украшение Люксембургской галереи, и она не так ужасно банальна или банально ужасна, как прочие упоминавшиеся здесь картины исторического жанра, любимые произведения буржуазии, честных, почтенных буржуа, которые высшей задачей искусства считают преодоление трудностей, смешивают ужасное с трагическим и рады поучаться, созерцая падшее величие, в сладостном сознании, что они, в скромной темноте, в глубине лавочки улицы Сен-Дени, гарантированы от подобных катастроф.

XXXIX

Париж, 28 декабря 1841 г.

От палаты депутатов, только что открывшейся, я мало жду отрадного. Здесь мы не увидим ничего, кроме мелочных ссор, личной вражды, бессилия, даже, может быть, окончательного застоя. Палата действительно должна состоять из сплоченных партийных масс, иначе вся парламентская машина не сможет работать. Если каждый депутат станет высказывать особое, отдельное, одинокое мнение, то никогда не будет принято решение, которое хоть отчасти можно было бы считать выражением всеоб-

щей воли, а между тем существеннейшее условие представительной системы заключается в том, чтобы эта всеобщая воля получала отчетливое выражение. В палате, как и во всем французском обществе, такой раскол, такая раздробленность, что не найдется и двух человек, вполне согласных друг с другом в своих мнениях. Рассматривая нынешних французов с этой политической точки зрения, я всегда вспоминаю слова нашего знакомого Адама Гуровского, который утверждал, что немецкие патриоты совершенно лишены возможности действовать, так как двенадцать немцев всегда разделяются на двадцать четыре партии: ибо при нашей многосторонности и добросовестности мышления каждый из нас впитывает одновременно два противоположных мнения, со всеми их доводами, и каждый человек поэтому распадается на две партии. То же самое происходит теперь и с французами. Куда ведет это раздробление, это уничтожение всех умственных уз, этот партикуляризм, это угасание всякого единодушия, являющееся нравственной смертью народа? Это положение вызвано культом материальных интересов, своекорыстия, денег. Долго ли еще это будет так? Или какое-нибудь властное событие, случайность или несчастье, снова вдруг соединит сердца французов? Бог не оставит немца, как не оставит он и француза, да и вообще не оставит он ни одного народа, и когда народ засыпает от усталости или от лени, он посылает к нему тех, что в будущем должны его пробудить и, таясь во мраке уединения, ждут своего часа — часа встряски. Где бодрствуют эти пробудители? Я иной раз старался это узнать, и мне таинственно указывали на армию! Говорят, здесь, в армии, еще живо мощное чувство национального самосознания; сюда, под трехцветное знамя, укрылись те высокие чувства, которые гонит и осмеивает господствующий дух промышленности; здесь цветет невзыскательная гражданская добродетель, бесстрашная любовь к подвигам и к чести, пламенная способность воодушевляться; в то время как всюду — раздоры и гниение, здесь царит еще вполне здоровая жизнь и вместе с тем привычное послушание авторитетам, во всяком случае — вооруженное единодушие. Отнюдь не исключено, что как-нибудь рано утром армия сбросит нынешнее буржуазное правительство, эту вторую Директорию, и совершит свое Восемнадцатое брюмера! Итак, песня кончится солдат-

чиной, и человеческое общество снова должно будет терпеть тяжесть постоя?

Палата пэров осудила г-на Дюпоти, движимая не только старческим страхом, но и той наследственной враждой к революции, которая тайно гнездится в сердцах многих благородных пэров. Ибо высокое собрание состоит не только из свежейиспеченных людей нового времени; стоит лишь бросить взгляд на список лиц, вынесших приговор, как мы с удивлением увидим, что рядом с именем выскочки времен Империи или из числа филиппистов всегда оказываются два или три имени времен старого режима. Носители этих имен, естественно, составляют большинство; и вот они сидят на обитых бархатом скамьях Люксембургского дворца, старые гильотинированные люди со вновь пришитыми головами, которые они боязливо ощупывают всякий раз, когда народ на улице начинает шуметь, — привидения, которые ненавидят всякого пегуха, а более всех — галльского, ибо они по опыту знают, как быстро его утренний крик мог бы положить конец всему наваждению; и нам представляется жуткое зрелище, когда эти несчастные мертвецы творят суд над живыми, над самыми младшими и самыми отчаянными детьми революции, над теми покинутыми и обездоленными детьми, бедствие которых столь же велико, как и их безумие, — над коммунистами!

XL

Париж, 12 января 1842 г.

Мы смеемся над бедными лапландцами, которые, если заболевают чахоткой, покидают свою родину и едут в Санкт-Петербург, чтобы наслаждаться там мягким, южным климатом. Алжирские бедуины, находящиеся здесь, имели бы такое же право смеяться над нашими соотечественниками, которые ради своего здоровья предпочитают проводить зиму в Париже, а не в Германии и воображают, что Франция — теплая страна. Уверю вас, что у нас в Люнербургской степи не может быть холоднее, чем здесь в настоящую минуту, когда я пишу вам оконченными пальцами. В провинции тоже, должно быть, стоят жестокие холода. Депутаты, которые сейчас толпами прибывают

сюда, рассказывают только о снеге, гололедице и опрокинутых дилижансах. Лица у них еще красные и распухшие, как от насморка, их мозг замерз, температура их мыслей — девять градусов ниже нуля. При составлении адреса они оттают. Все теперь имеют замороженный и печальный вид. В важнейших вопросах нигде не заметно единодушия, ветер постоянно меняется. Чего желали вчера, того уже не хотят сегодня, и бог знает, к чему будут стремиться завтра. Раздоры и недоверие, колебания и раздробленность — ничего другого. Король Филипп довел до крайней и самой вредной степени принцип своего македонского тезки: «Разделяй и властвуй». Слишком сильное разделение опять-таки мешает правительству, в особенности конституционному, и трудно придется Гизо с расколами и возней в палате. Гизо по-прежнему — защита и оплот существующего строя. Но так называемые друзья существующего строя, консерваторы, плохо помнят это и уже забыли, что еще в прошлую пятницу в одно и то же время раздавались крики: «À bas Guizot!»¹ и «Vive Lamennais!»² Для человека порядка, для великого успокоителя в самом деле косвенным триумфом явилось то обстоятельство, что его унизили ради прославления этого жуткого священника, который сочетает политический фанатизм с религиозным и совершит последнее помазание над мировым хаосом. Бедный Гизо, бедный школьный учитель, бедный *rector magnificus*³ Франции! Они поют тебе «Pereat»,⁴ эти студенты, которые поступили бы гораздо лучше, если бы взялись изучать твои книги, где столько поучений, столько глубокомыслия, столько сказано о путях к счастью человечества! «Берегись, — говорил однажды демагог великому патриоту, — когда народ обезумевает, он разорвет тебя». А тот отвечал: «Берегись, ибо тебя разорвет народ, когда он образумится». То же могли бы сказать друг другу в прошлую пятницу Ламенне и Гизо. Эта бурная сцена казалась более опасной, чем об этом пишут газеты. Газеты же, как правительственные, так и оппозиционные, были заинтересованы в том, чтобы несколько замаять это происшествие; газеты оппозиционные — ввиду того, что

¹ «Долой Гизо! (франц.).»

² «Да здравствует Ламенне! (франц.).»

³ «Славнейший правитель (лат.).» (См. комментарий.)

⁴ «Да погибнет» (лат.).»

эта манифестация не встретила в народе особенного отклика. Народ спокойно смотрел и мерз. В Париже при девяти градусах мороза можно не опасаться падения правительства. Зимой здесь никогда не бывало восстаний. Со времени штурма Бастилии до восстания Барбеса народ всегда откладывал свое негодование до более теплых летних месяцев, когда стоит хорошая погода и можно драться в свое удовольствие.

XLI

Париж, 24 января 1842 г.

На парламентской арене несколько дней тому назад снова произошел блистательный поединок между Гизо и Тьером, этими двумя людьми, имена которых у каждого на устах и постоянные толки о которых должны бы в конце концов наскучить. Я удивляюсь, что французы еще не потеряли терпения, слушая каждый день, из года в год, с утра до вечера, вечную болтовню об этих двух личностях. Но ведь в сущности речь здесь идет не о личностях, а о системах — системах, о которых будет говориться всюду, где бытию государства угрожает внешняя опасность, всюду — будь то в Китае или во Франции. Разница лишь в том, что здесь говорят о Тьере и Гизо, а в Китае — о Лине и Ци Шане. Первый — это китайский Тьер и является представителем воинственной системы, которая хотела отклонить надвигающуюся опасность силой оружия, а быть может, только устрашающим звоном оружия. Ци Шань, напротив, это — китайский Гизо; он представитель мирной системы, и, быть может, его умной уступчивости удалось бы при помощи комплиментов выпроводить из страны рыжеволосых варваров, если бы тьеровская партия не получила перевеса в Пекине. Бедный Ци Шань! Именно потому, что мы так далеко от места действия, мы могли вполне ясно постичь, насколько ты был прав, не доверяя военным силам Срединной империи, и как честно было твое поведение относительно твоего императора, не столь благоразумного, как Луи-Филипп! Я очень обрадовался, когда на днях «Всеобщая газета» сообщила, что превосходного Ци Шаня не распилили пополам, как писали раньше, а что он только лишился своего огромного

состояния. Это никогда не может случиться со здешним представителем мирной системы; в случае его падения богатства его не могут подвергнуться конфискации — Гизо беден, как церковная крыса. И наш Линь тоже беден, как я уже не раз упоминал; я убежден, что историю императора он пишет главным образом ради денег. Какая слава для Франции, что оба человека, управляющие всей ее силой, — два бедных мандарина, сокровища которых — только в их головах!

Вы читали последние речи этих двух людей и нашли в них, быть может, немало поучительного насчет той путаницы, которая является прямым следствием восточного вопроса. Что особенно замечательно в настоящую минуту, так это кротость русских в тех случаях, когда дело идет о неприкосновенности Турецкой империи. Но истинная причина в том, что фактически они уже владеют большей ее частью. Турция постепенно, без насильственной оккупации, станет русской. Русские следуют здесь методу, который я в ближайшем будущем постараюсь осветить. Для них все дело в реальной власти, а не в пустой видимости ее, не в византийских титулах. Константинополь от них не уйдет: они проглотят его, как только наступит подходящий момент. Но сейчас этот момент еще не наступил, и они говорят о Турции со слащавой, почти гернгутерской миролюбивостью. Они напоминают мне басню о волке, который, будучи голоден, схватил овцу. Он с жадной поспешностью сожрал ее передние ноги, а задние ноги пощадил и сказал: «Теперь я насыщен, и этой доброй овце, угостившей меня своими передними ножками, я в благодарность оставляю все ее остальные ноги и весь остаток ее туловища».

XLII

Париж, 7 февраля 1842 г.

«Мы танцуем здесь на вулкане», — но все-таки мы танцуем. Мы сегодня не станем исследовать, что бродит в вулкане, кипит и бурлит, и только будем созерцать, как танцуют на вулкане. Тут нам прежде всего придется говорить об Académie royale de musique, где все еще существует тот уважаемый кордебалет, который верно хранит

хореографические традиции и который следует рассматривать как собрание паров танца. Другие пары, что заседают в Люксембургском дворце, так же, как эти, насчитывают в своих рядах великое множество париков и мумий, о которых я не хочу высказываться из вполне понятного страха. Несчастье, постигшее г-на Перре, редактора газеты «*Siecle*», ¹ приговоренного недавно к шестимесячному заключению и к штрафу в 10 000 франков, послужило мне наукой. Буду говорить лишь о Карлотте Гризи, так очаровательно блистающей среди почтенной труппы на улице Лепелетье, точно апельсин среди картофеля. Если не считать удачного сюжета, заимствованного из сочинений одного немецкого автора, неслыханному успеху балета «Виллиса» более всех содействовала Карлотта Гризи. Но как она прелестно танцует! Когда смотришь на нее, забываешь, что Тальони — в России, что Эльслер — в Америке, забываешь о самой Америке и России, да и обо всем на свете, и возносишься вместе с нею в висячие волшебные сады того царства духов, где она — королева. Да, у нее именно характер тех духов стихий, которых мы представляем себе вечно пляшущими и о величественных плясках которых народ рассказывает такие чудеса. В сказании о виллисах та неистовая, таинственная, порой губительная для человека жажда плясок, что свойственна духам стихий, становится уделом умерших невест; к древнеязыческой своенравной прелести русалок и эльфов здесь присоединилась еще меланхолически-сладоострастная жуть, сладостно-темный ужас средневековой веры в привидения.

Соответствует ли музыка причудливому сюжету этого балета? Мог ли г-н Адан, написавший музыку, создать плясовые мелодии, от которых, как говорится в народном предании, деревья начинают прыгать, а водопад повисает в воздухе? Г-н Адан, насколько мне известно, был в Норвегии, но я сомневаюсь, чтобы какой-нибудь сведущий в рунных волшебник научил его той мелодии «стрёмкарля», десять вариаций которой только и можно сыграть; дело в том, что есть еще одиннадцатая, которая могла бы причинить страшную беду: когда играют ее, вся природа приходит в смятение — горы и скалы пускаются в пляс,

¹ «Век» (франц.).

и дома пляшут, а в домах пляшут столы и стулья, дед хватает бабушку, пес хватает кошку и начинает плясать, даже дитя выскакивает из колыбели и пляшет. Нет, столь властно-могучих мелодий г-н Адан не привез из своего северного путешествия; но то, что он написал, все же заслуживает внимания, и он занимает почетное место среди композиторов французской школы.

Не могу не отметить здесь, что христианская церковь, принявшая в свое лоно все искусства и сумевшая воспользоваться ими, все же не знала, что ей делать с искусством танца, и отвергла его и прокляла. Быть может, пляска слишком уж напоминала древнее богослужение язычников — как римских язычников, так и германских и кельтских, чьи боги только что превратились в те эльфоподобные существа, которым — я упомянул об этом выше — народная вера приписывала чудесную страсть к пляске. Вообще злого духа стали под конец считать истинным покровителем пляски, а ведьмы и колдуньи в его святотатственном сообществе вели свои ночные хороводы. Набожная бретонская народная песня гласит, что пляска проклята с тех пор, как дочь Иродиады плясала перед злым царем, умертвившим Иоанна в угоду ей. «Когда ты смотришь на пляску, — присовокупляет певец, — вспомни об окровавленной голове Крестителя на блюде, и бесовское вождение не в силах будет повредить твоей душе!» Танцы в Académie royale de musique, если поглубже в них вдуматься, представляются попыткой обратить в христианство это исконно языческое искусство, и французский балет отзывает почти галликанской церковью, если даже не янсенизмом, как и все эстетические явления великого века Людовика XIV. В этом отношении французский балет родственен по духу расиновским трагедиям и садам Ленотра. Здесь господствуют та же размеренность, те же формы этикета, та же придворная холодность, то же нарядное равнодушие, то же целомудрие. Действительно, форма и сущность французского балета целомудренны, но глаза танцовщиц составляют весьма порочный комментарий к самым нравственным па, и их распутная улыбка в вечном противоречии с их ногами. Мы видим противоположное в так называемых национальных танцах, которые мне поэтому в тысячу раз милее, чем балеты Большой оперы. Национальные танцы часто бывают слишком чувственны,

почти непристойны в своих формах, например танцы индийские, но священная серьезность на лицах пляшущих придает этой пляске нравственный характер и даже поднимает ее на уровень культа. Великий Вестрис вымолвил однажды словцо, которому уже немало смеялись. А именно, он патетическим тоном сказал одному из своих учеников: «Великий танцор должен быть добродетелем». Странно! Великий Вестрис уже сорок лет как лежит в могиле (он не мог пережить несчастье дома Бурбонов, с которым семья Вестрисов всегда была очень дружна), и только в декабре прошлого года, присутствуя на открытии палаты и мечтательно предавшись своим мыслям, я вспомнил покойного Вестриса и, словно по вдохновению, вдруг понял смысл и значение его глубокомысленных слов: «Великий танцор должен быть добродетелем».

О балах этого сезона я мало что могу сообщить, так как до сих пор почтил своим присутствием лишь немногие вечера. Это вечное однообразие начинает в конце концов внушать мне ennui,¹ и я не понимаю, как мужчина может это выносить. Что до женщин, то мне это вполне понятно: для них самое важное — наряды, в которых они показываются. Приготовления к балу, выбор платья, одевание, завивка, примерка улыбочек перед зеркалом, словом мишура и желание понравиться — главное для них и составляет развлекательнейшую усладу. Но для нас, мужчин, надевающих только демократические черные фраки и башмаки (ужасные башмаки!), для нас вечер — неисчерпаемый источник скуки, смешанной с несколькими стаканами оршада и малинового сока. О прелестной музыке не стану и говорить. То, от чего балы большого света становятся еще скучнее, чем они должны бы быть по законам божеским и человеческим, это господствующая на них мода — танцевать только для вида, положенные фигуры исполнять только шажком, двигать ногами совсем равнодушно, чуть ли не с досадой. Никто больше не хочет забавлять других, и этот эгоизм сказывается и в танцах нынешнего общества.

Низшие классы, как ни стараются они подражать большому свету, еще не выучились этой эгоистической видимости танца; танец их — еще реальность, но реальность,

¹ Скуку (франц.).

весьма достойная сожаления. Право не знаю, как выразить странную печаль, которая овладевает мной всякий раз, когда в местах общественных увеселений, особенно во время карнавала, мне приходится смотреть на танцующий народ. Визгливо-пронзительная, несдержанная музыка сопровождает здесь танец, так или иначе граничащий с канканом. Тут я слышу вопрос: что есть канкан? О небо! Для «Всеобщей газеты» я должен дать определение канкана! Так и быть: канкан есть танец, который никогда не танцуют в порядочном обществе, а только в простых танцевальных заведениях, где тот или та, кто его танцует, неизбежно попадает в руки полицейского и оказывается за дверь. Не знаю, достаточно ли вразумительно это определение, но ведь вовсе и не требуется, чтобы в Германии с полной точностью знали, что такое французский канкан. Из моего определения можно будет понять хотя бы то, что добродетель, восхваляемая покойным Вестрисом, здесь не является необходимой принадлежностью и что полиция беспокоит французский народ даже во время танцев. Да, это очень странное зло, и всякого мыслящего иностранца должно удивлять, что на публичных балах ни одна кадриль не обходится без нескольких полицейских или нескольких солдат муниципальной гвардии, которые с угрюмо-катоновским видом охраняют танцующую мораль. Почти непостижимо, как еще может народ под таким постыдным контролем сохранять свою смешливую веселость и страсть к танцам. Но это галльское легкомыслие тут-то и делает самые веселые прыжки, как раз когда на него надевают смирительный камзол; и хотя строгое полицейское око не допускает, чтобы канкан танцевали в его цинической определенности, все же танцоры умудряются разными ироническими антраша и жестами шаржированного приличия высказать свои запретные мысли, и покрывало оказывается еще непристойнее, чем нагота. По-моему, нравственность не много выигрывает от того, что правительство, так громко бряцая оружием, вмешивается в танцы народа: ведь запретный плод сладок, и утонченные, нередко остроумные попытки обойти цензуру имеют здесь влияние еще более вредное, чем дозволенный цинизм. Этот надзор за народными забавами характеризует, впрочем, здешнее положение и показывает, как далеко ушли французы в вопросах свободы.

Но не одни только отношения между мужчиной и женщиной являются темой нечестивых танцев в парижских кабачках. Порой эти танцы мне кажутся насмешкой над всем, что благородно и священно в жизни, но что так часто служит корыстным целям хитрецов, так часто опошляется простофилями и поэтому не возбуждает в народе прежней веры. Да, народ утратил веру в ту возвышенную мысль, о которой так много говорят наши политические и литературные тартюфы; а хвастливое бессилие так уж отбило у него охоту ко всему идеальному, что он видит в нем лишь пустую фразу, лишь так называемое *blague*,¹ и этот безотрадный взгляд на вещи, представленный в лице Робера Макера, проявляется ведь и в танцах народа, на которые следует смотреть как на своеобразную пантомиму робермакерства. Кто имеет о нем приблизительное понятие, поймет и эти невыразимые танцы, высмеивающие на языке пляски отношения не только между мужчиной и женщиной, но и отношения гражданские, а также все, что есть доброго и прекрасного, и даже всякого рода энтузиазм, любовь к отечеству, верность, веру, семейные чувства, героизм, божество. Повторяю, несказанная скорбь всегда овладевает мною, когда в местах общественных увеселений я смотрю на пляшущий парижский народ, особенно же во время карнавала, когда маскарадное безумие доводит демоническое веселье до невероятных пределов. Я чуть не ужаснулся во время одного из тех пестрых ночных празднеств, что происходят теперь в *Oréga comique*² и где, кстати сказать, пьянящее наваждение куда великолепнее, чем на балах Большой оперы. Огромным оркестром здесь управляет Вельзевул, и дерзкий адский блеск газового освещения ослепляет взор. Здесь — долина гибели, о которой рассказывают няньки; здесь пляшут чудовища, как у нас в Вальпургиеву ночь, и среди них есть немало весьма красивых, — таких, в которых, несмотря на всю их испорченность, нельзя не признать той грации, что врождена дьяволицам-француженкам. Когда же гремит общий галоп, тогда сатанинское веселье достигает бессмысленнейшего апогея и кажется, что вот-вот провалится потолок и вся братия понесется вверх, кто на метле, кто на

¹ Хвастовство (*франц.*).

² Комической опере (*франц.*).

ухвате, кто на кочерге — «ввысь, вечно ввысь, в никуда!» — мгновение, опасное для многих наших соотечественников, не волшебников — увы! — и не знающих слов той молитвы, которую надо произнести, чтобы не умчаться вслед за неистовым воинством.



ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XLIII

Париж, середина апреля 1842 г.

Когда в прошлом году в чудный летний день я прибыл в Сетт, глазам моим представилась процессия, тянувшаяся вдоль набережной, перед которой расстилается Средиземное море, и я никогда не забуду этого зрелища! Впереди шествовали братства, в красных, белых или черных одеяниях, кающиеся грешники, опустившие на лицо капюшоны с двумя дырами, откуда призрачно выглядывали глаза, в руках — горящие восковые свечи или хоругви. За ними шли монахи разных орденов. Также и множество мирян, женщин и мужчин, бледных, согбенных, пабожно двигавшихся вслед с трогательно скорбным пением. Такие процессии я часто встречал в моем детстве на Рейне и не могу не сознаться, что во мне эти звуки пробудили некую печаль, нечто вроде тоски по отчизне. Но чего я раньше никогда еще не встречал и что, по-видимому, было заимствовано по соседству, из Испании, была группа детей, изображавшая страсти Христовы. Маленький мальчик, наряженный так, как обычно рисуют Спасителя, с терновым венцом на голове, с прекрасными золотистыми кудрями, печально спадавшими на плечи, тяжело дышал, согнувшись под тяжестью громадного деревянного креста; на лбу — ярко намалеванные капли крови, и кровавые язвы на руках и босых ногах. Рядом с ним, вся в черном, шла маленькая девочка, которая изображала Скорбящую мать: на груди она держала несколько мечей с позолоченными рукоятками и обливалась слезами — образ глубочайшей печали. Другие мальчики, идя позади, изображали апостолов, в том числе и Иуду, рыжеволосого,

с кошельком в руке. Несколько мальчиков были одеты римскими воинами, в шлемах, и размахивали своими саблями. Другие дети были наряжены монахами и священниками: маленькие капуцины, маленькие иезуитики, маленькие епископы в митре и с жезлом, очаровательнейшие монашенки — лет шести, не больше. И странно, среди этих детей некоторые были одеты амурами — с шелковыми крылышками и золотыми колчанами, и совсем рядом с маленьким Спасителем шли, еле поспевая, два человечка, еще меньше ростом, не старше четырех лет, в древнефранкском пастушьем наряде, с лентами на шляпах и посохах, такие милые, что хотелось их расцеловать, — прямо марципаные куколки; должно быть, они изображали пастухов, стоявших у яслей младенца Иисуса. И, кто бы мог поверить, — шествие это возбуждало в душе зрителя самые строгие и благочестивые чувства, и то, что невинные маленькие дети разыгрывали здесь драму величайшего, исполинского мученичества, производило еще более трогательное впечатление. Это не было обезьянничеством в возвышенном историческом стиле, это не было ханжеской гримасой, это не было благочестивой берлинской ложью; это было наивнейшее выражение глубочайшей идеи, а содержание благодаря детской простоте формы не терзало нашу душу и не уничтожало само себя. Содержание это полно такой небывало мощной скорби и так величаво, что вырывается за пределы самой героической и грандиозной, патетически развернутой манеры изображения. Поэтому-то величайшие художники и в живописи и в музыке скрашивали беспредельные ужасы страстей Христовых таким множеством цветов и смягчали кровавую серьезность игривой нежностью: так поступил и Россини, сочиняя свою «Stabat mater». ¹

Это произведение, «Stabat» Россини, было самым замечательным событием минувшего сезона, о нем все еще говорят, и упреки, которые делаются великому мастеру с северо-немецкой точки зрения, как раз весьма отчетливо свидетельствуют об оригинальности и глубине его дара. Обработка сюжета — якобы слишком светская, слишком чувственная, слишком игривая для духовной темы; она

¹ Stabat mater (dolorosa) — мать (скорбящая) стояла (лат.). (См. комментарий.)

слишком легка, слишком приятна — так стонут, жалуясь, тяжеловесные, скучные критиканы, которые, хотя, может быть, и не притворяются крайними спиритуалистами, но во всяком случае имеют весьма ограниченные, весьма ошибочные, вымученные представления о духовной музыке. Как среди живописцев, так и среди музыкантов господствует совершенно ложный взгляд на обработку христианских сюжетов. Они думают, что истинно христианское должно быть изображаемо тонкими, тощими контурами и должно быть как можно более обеднено и обесцвечено; в этом отношении рисунки Овербека — их идеал. Чтобы фактически опровергнуть это заблуждение, обращаю лишь ваше внимание на изображения святых у живописцев испанской школы; здесь господствует полнота контуров и красок, а все же никто не станет отрицать, что эти испанские изображения святых дышат самым неослабным христианством, а творцы их, конечно, не меньше были опьянены верой, чем те знаменитые мастера, которые принимали христианство в Риме и писали с непосредственным религиозным рвением. Признак истинно христианского в искусстве — не внешняя сухость и бледность, а, напротив, некая внутренняя полнота, которая ни в музыке, ни в живописи не дается ни крещением, ни изучением, и поэтому «Stabat» Россини я считаю действительно более христианским, чем «Павла», ораторию Феликса Мендельсона-Бартольди, которую восхваляют противники Россини, видящие в ней образец христианства.

Небо да сохранит меня от порицания мастера столь заслуженного, как автор «Павла», и пишущему эти строки менее всего придет в голову критиковать христианство в названной оратории по той лишь причине, что Феликс Мендельсон-Бартольди по происхождению еврей. Но я не могу не указать на то, что в том возрасте, когда г-н Мендельсон начал в Берлине свой христианский путь (а был он окрещен тринадцати лет), Россини уже оставил его и всецело устремился в светский мир оперной музыки. Теперь, когда он покидает ее и мысли его возвращаются к католическим воспоминаниям юности, к тем временам, когда в соборе Пезаро он пел в хоре или в качестве аколита участвовал в богослужении, — теперь, когда старые звуки органа снова зашелестели в его памяти и он схватился за перо, чтобы написать «Stabat», — тут, право же, ему

не было надобности сперва научным путем воссоздавать дух христианства, а тем менее — рабски копировать Генделя или Себастиана Баха; ему стоило лишь вызвать в своем сердце звуки давнего детства, и — странное дело! — хотя эти звуки так строги, так скорбно глубоки, хотя в этих столах и каплях крови так мощно сказывается величайшая мощь, все же сохранилось в них и что-то детское, и они напомнили мне виденное мной в Сетте — страсти Христовы, разыгранные детьми. Да, невольно мне вспомнился этот маленький благочестивый маскарад, когда я в первый раз слушал «Stabat» Россини: здесь представлено было беспредельно высокое мученичество, но в самых наивных юношеских звуках, раздавались страшные сетования *mater dolorosa*, но словно из невинного детского горлышка, среди флера самой черной скорби шелестели крылья грациознейших амуров, ужас смерти на кресте словно смягчен был паловливой пасторалью, и ощущение бесконечности обвело и обнимало все целое, как то синее небо, что светило на процессию в Сетте, как то синее море, по берегу которого она тянулась с звенящим пением! Вот в чем вечная прелесть Россини, его неоскудевающая мягкость, которую не могли ни рассердить вконец, ни даже омрачить какие бы то ни было импрессарио, какие бы то ни было *marchands de musique*.¹ Какие бы постыдные, лукавые шутки ни разыгрывала с ним жизнь, все же в его музыкальных произведениях мы не находим и следа желчи. Как источник Аретузы сохранял свою извечную сладость, хотя через него и протекали горькие воды моря, так и сердце Россини сберегло свою мелодическую прелесть и сладость, хотя ему вдоволь пришлось напиться из всех чаш, полных житейской полыни.

Как я сказал, «Stabat» великого маэстро было в этом году главным музыкальным событием. О первом исполнении, задавшем весь тон, мне говорить нечего; достаточно сказать, что пели итальянцы. Зал Итальянской оперы казался преддверием неба; там рыдали священные соловьи и лились фешенебельнейшие слезы. Также и «France musicale» дала в своих концертах большую часть «Stabat», и, само собой разумеется, с громадным успехом. В этих

¹ Музыкальные издатели; буквально: «торговцы музыкой» (франц.).

концертах мы слышали и «Павла» г-на Мендельсона-Бартольди, который благодаря этому соседству обратил на себя наше внимание и сам вызывал на сравнение с Россини. В глазах широкой публики сравнение служило отнюдь не на пользу нашему молодому соотечественнику; впрочем, это ведь то же самое, что сравнивать Апеннины Италии с Темпловским холмом близ Берлина. Но Темпловский холм не теряет от этого своих достоинств, и почтение народа он заслуживает уже тем, что на вершине его находится крест. «Сим победиши». Конечно, не во Франции, стране безверия, где г-н Мендельсон всегда терпел фиаско. Он был в нынешнем сезоне агнцем заклания, тогда как Россини явился музыкальным львом, чей сладостный рев все еще слышится нам. Здесь ходят слухи, что г-н Феликс Мендельсон на днях сам придет в Париж. Во всяком случае известно, что вследствие высоких ходатайств и дипломатических стараний г-н Леон Пилье был вынужден заказать г-ну Скрибу либретто, на которое г-н Мендельсон сочинит музыку для Большой оперы. Удастся ли это начинание нашему молодому соотечественнику? Не знаю. Его художественное дарование значительно; но внушают сомнения границы этого дарования и пробелы, имеющиеся в нем. Что же касается таланта, то я нахожу большое сходство между г-ном Феликсом Мендельсоном и мадемуазель Рашель Феликс, трагической артисткой. Обоим свойственна большая, строгая серьезность, решительное, почти назойливое тяготение к классическим образцам, тончайший, остроумнейший расчет, острота понимания и, наконец, полное отсутствие наивности. Но бывает ли в искусстве гениальная самобытность без наивности? До сих пор такого случая не бывало.

XLIV

Париж, 2 июня 1842 г.

Académie des sciences morales et politiques не пожелала осрамиться и в заседании 28 мая отсрочила до 1844 года присуждение премии за лучшее «Examen critique de la philosophie allemande».¹ На сочинение именно под таким заглавием она объявила конкурс, которым ставится

¹ «Критическое исследование немецкой философии» (франц.).

задача написать критический очерк немецкой философии от Канта до наших дней, причем особое внимание должно быть обращено на этого философа, на великого Иммануила Канта, о котором французы слышали так много, что, наконец, преисполнились любопытства. Некогда сам Наполеон пожелал ознакомиться с философией Канта и поручил какому-то французскому ученому составить резюме ее, которое, однако, должно было уместиться на нескольких страницах в четвертую долю листа. Монарху стоит только приказать. Резюме было представлено немедленно, и в предписанной форме. Что тут получилось — ведомо лишь богу, я же знаю только, что император, внимательно прочитав эти несколько страниц, сказал следующее: «Все это не имеет практической ценности, и миру мало пользы принесут такие люди, как Кант, Калиостро, Сведенборг и Филадельфия». Широкая публика во Франции все еще считает Канта туманным, а то даже и совсем расплывшимся в тумане фантазером, и я еще недавно в одном французском романе прочел слова: «le vague mystique de Kant». ¹ Один из величайших философов Франции бесспорно — Пьер Леру, и он-то, как он сам сознался мне шесть лет тому назад, только из «L'Allemagne» ² Генриха Гейне узнал, что немецкая философия вовсе не так мистична и религиозна, как до сих пор внушали французской публике, а, напротив, очень холодна, почти леденяще абстрактна и скептически, вплоть до отрицания всевышнего.

В вышеупомянутом заседании Академии Минье, secrétaire perpétuel, прочел notice historique ³ о жизни и деятельности покойного Дестют де Траси. Как во всех своих произведениях, Минье и здесь проявил свой прекрасный, большой стилистический талант, свой удивительный дар понимания всех характерных признаков времени и жизненных отношений, свою светлую, ясную рассудительность. Речь его о Дестют де Траси уже появилась в печати, и здесь, таким образом, не требуется ее подробного изложения. Я сделаю лишь ряд беглых замечаний, невольно приходивших мне в голову в то время, когда Минье рассказывал о прекрасной жизни этого дворянина, который вышел из среды самой гордой феодальной знати, в юности своей

¹ Смутная мистика Канта (франц.).

² «Германия» (франц.).

³ Историческую справку (франц.).

был храбрым солдатом и все же с великодушнейшим самоотречением и самопожертвованием примкнул к партии прогресса и остался ей верен до последнего вздоха. Тот самый человек, который в восьмидесятых годах, так же как и Лафайет, ставил на карту добро свое и жизнь, 29 июля 1830 года на парижских баррикадах снова встретился со своим старым другом, верный прежнему образу мыслей; лишь взор его потускнел, сердце же осталось светлым и юным. Много, поразительно много подобных явлений видим мы во французском дворянстве, и народ это тоже знает, и этих дворян, показавших такую преданность его интересам, он называет *les bons nobles*.¹ Недоверие к дворянству вообще может оказаться и полезным в революционные времена, но оно всегда будет несправедливостью. В этом отношении великий урок являет нам жизнь Траси, Ларошфуко, д'Аржансона, Лафайета и других подобных им рыцарей народных прав.

Когда впоследствии Дестют де Траси ударился в ту материалистическую философию, которая благодаря Кондильяку достигла господства во Франции, ум его оказался таким же прямым, непреклонным, резким, каким был некогда его меч. Кондильяк не решался высказать конечные выводы этой философии и, подобно большинству сторонников его школы, все еще отводил духу укромный уголок во всемирном царстве материи. Но Дестют де Траси отказал духу и в этом последнем убежище, и — странное дело! — в то самое время, когда у нас в Германии идеализм доводили до крайности, а материю отрицали, во Франции материалистический принцип достиг предельной высоты, отрицали же здесь дух. Дестют де Траси был, так сказать, Фихте материализма.

Удивительно, что философский кружок, к которому принадлежали Траси, Кабанис и их единомышленники, возбуждал в Наполеоне весьма боязливую неприязнь, и порой он обращался с ними очень сурово. Он называл их идеологами и чувствовал смутный, почти суеверный страх перед той идеологией, которая была ведь не что иное, как пенистая накипь материалистической философии; она, правда, содействовала величайшему перевороту и обнажила самую страшную силу разрушения, но миссия ее

¹ Хорошими дворянами (*франц.*).

была окончена, а следовательно, прекратилось и ее влияние. Грознее и опаснее была та противоположная ей доктрина, которая в Германии незаметно всплывала на поверхность, а потом так сильно способствовала низвержению французского деспотизма. Удивительно, что Наполеон и в этом случае понимал только прошедшее, а к будущему был глух и слеп. Он чуял гибельного врага в царстве мысли, но этого врага он искал среди старых париков, пропыленных еще пудрой восемнадцатого века; он искал его среди французских старцев, вместо того чтобы искать его среди белокурой молодежи немецких университетов. В этом смысле наш тетрарх Ирод оказался куда хитрее, преследуя опасное отродье в колыбели и повелев совершить избиение младенцев. Но и ему немного пользы принесла эта большая сметливость, посрамленная волей провидения: палачи его пришли слишком поздно, страшный младенец был уже не в Вифлееме, верный ослик уносил его, спасая, в Египет. Да, проницательностью Наполеон обладал лишь тогда, когда надо было уразуметь настоящее или оценить по заслугам прошлое, но он был совершенно слеп ко всякому явлению, в котором давало о себе знать будущее. Он стоял на балконе своего дворца в Сен-Клу, когда мимо по Сене проходил первый пароход, и для него остался совершенно скрытым смысл этого феномена, преобразующего мир!

XLV

Париж, 20 июня 1842 г.

В стране, где у тщеславия так много усердных служителей, время выборов в палату всегда должно быть очень тревожным. Но так как звание депутата не только щекочет самолюбие, а также ведет к доходнейшим должностям и самым прибыльнейшим влияниям; так как, следовательно, здесь замешано не только честолюбие, но также и корыстолюбие; так как дело здесь идет о тех материальных интересах, которым наш век поклоняется столь ревностно, то выборы в палату — настоящие скачки, конские состязания — зрелище скорее любопытное, чем утешительное для постороннего наблюдателя. Дело в том, что на таких скачках обращают на себя внимание не лучшие и не красивейшие лошади, в расчет принимаются здесь не врожденные

достоинства — сила, чистокровность, выносливость, а только легконогое проворство. Не один благородный конь, из поздрей которого лышет самая огненная ратная отвага и в глазах сверкает ум, должен уступить здесь тощей лошаденке, которая, однако, на особый лад выдрессирована для триумфов на этой арене. Надменно-гордые, упрямые кони здесь сразу же, с разбегу становятся на дыбы или заскакивают слишком далеко вперед. Лишь дрессированная посредственность достигает цели. Само собой понятно, что на парламентские скачки Пегаса почти не допускают и что он должен подвергаться тысяче неприятностей, ибо у несчастного есть крылья и на этих крыльях он мог бы подняться выше, чем позволяет потолок Бурбонского дворца. Замечательно, что среди скакунов почти целая дюжина принадлежит к арабской, или, говоря еще яснее, — к семитической породе. Но что нам до этого? Нас не интересует этот шум и эта брань, этот топот и ржание корыстолюбия, эта суета самых мерзких целей, расцвеченных ярчайшими красками, крики конюхов и навозная пыль, — у нас одна забота: узнать, благоприятны или неблагоприятны для правительства будут выборы. На этот счет еще нельзя сказать ничего определенного. А ведь судьба Франции и, быть может, всего мира зависит от вопроса — сохранит ли за собой Гизо большинство в новой палате или не сохранит. Этим я отнюдь не хочу дать место предположению, что среди новых депутатов могут оказаться отчаянные скакуны и что они ускорят движение до крайней степени. Нет, эти пришельцы заявят о себе лишь звонкими словами, а перед делом отступят так же скромно, как и их предшественники; самый решительный новатор в палате не хочет насильственно ниспровергать существующий порядок, а стремится только извлечь для себя выгоду из опасений высших сил и упований низших. Но смятение, путаница и внезапные затруднения, во власти которых правительство может оказаться в результате этой деятельности, подают притаившимся темным силам сигнал к взрыву, и революция, как всегда, ожидает инициативы парламента. Тогда ужасное колесо снова может прийти в движение, и на этот раз мы бы увидели антагониста более страшного, чем все те, что до сих пор вступали в борьбу с существующим строем. Этот антагонист сохраняет еще свое злоещее инкогнито и пребывает, как нищий претендент,

в подвальном этаже официального общества, в тех катакомбах, где среди смерти и тления пускает ростки и расцветает новая жизнь. Коммунизм — тайное имя страшного антагониста, который современному буржуазному государству противопоставляет господство пролетариата со всеми его последствиями. Это будет ужасный поединок. Чем он кончится? То ведают боги и богини, которым известно будущее. Нам же известно одно: несмотря на то, что о коммунизме теперь мало говорят и что он, скрываясь по чердакам, валяется на жалком соломенном ложе, — все же он тот мрачный герой, которому в современной трагедии суждена великая, хотя бы и преходящая роль и который только ожидает реплики, чтобы выступить на сцену. Вот почему мы ни на миг не должны терять из виду этого актера и будем порою рассказывать о тайных репетициях, которыми он готовится к своему дебюту. Может быть, такие указания важнее, чем все известия о происках на выборах, раздорах партий и интригах кабинетов.

XLVI

Париж, 12 июля 1842 г.

О результатах выборов вы узнаете из газет. Здесь, в Париже, за этими сведениями не стоит сперва обращаться к газетам, — это написано на всех лицах. Вчера здесь было очень душно, и умы были охвачены волнением, какое я замечал лишь в дни великих кризисов. Старые, давно знакомые буреветники снова незримо рассекали воздух, и самые сонливые головы внезапно пробудились после двухлетнего спокойствия. Сознаюсь, что и сам я, когда до меня донеслось биение страшных крыл, почувствовал сильный трепет. Я в первый миг всегда пугаюсь, когда завижу демонов переворота, вырвавшихся на волю; потом я уже вполне владею собой, и самые дикие явления не могут меня ни удивить, ни обеспокоить именно потому, что я их предвидел. Чем может кончиться это движение, сигнал к которому, как всегда, подал Париж? Оно может кончиться войной, ужаснейшей опустошительной войной, которая, к сожалению, выведет на поле битвы, гибельной для них обоих, два самых благородных народа, какие знает цивилизация. Я говорю о Германии и Франции. Англию,

эту большую водяную змею, которая всегда может уползти в свое огромное водяное гнездо, и Россию, которой ее необъятные дебри, степи и ледяные просторы служат надежнейшей защитой, в обычной политической войне не могут уничтожить до основания даже самые решительные поражения; Германии же в этом случае грозит гораздо большая опасность, и даже Франция могла бы самым жалким образом поплатиться своим политическим бытием. Это было бы, однако, лишь первым действием великой драмы, так сказать прологом. Второй акт — европейская, мировая революция, великий поединок неимущих с аристократией собственности, и тут уже не будет речи ни о национальности, ни о религии: тогда будет лишь одна отчизна — земля, и одна только вера — счастье на земле. Подымутся ли во всех странах для отчаянного сопротивления религиозные доктрины прошлого, и уж не явится ли эта попытка третьим актом? А, может быть, даже еще раз выступит на сцену традиция неограниченной власти, но в новом костюме и с новыми репликами и паролями? Чем кончится эта драма? Не знаю, но думаю, что огромной водяной змее в конце концов разможат голову, а с северного медведя сдерут шкуру. Тогда, пожалуй, будет один пастырь и едино стадо, свободный пастырь с жезлом железным и одинаково остриженное, одинаково блеющее человеческое стадо! Близятся дикие, мрачные времена, и пророку, который захотел бы написать новый «Апокалипсис», пришлось бы изобрести совсем новых зверей, притом столь страшных, что старые звериные символы Иоанна показались бы, в сравнении с ними, кроткими голубками и амурчиками. Боги закрывают лицо свое из сострадания к людям, своим давним питомцам, и вместе с тем, пожалуй, от страха за собственную участь. Будущее пахнет юфтью, кровью, безбожием и великим множеством палок. Советую нашим внукам рождаться на свет с очень толстой кожей на спине.

XLVII

Париж, 15 июля 1842 г.

Мое мрачное предчувствие, увы, не обмануло меня; унылое расположение духа, которое в течение нескольких дней угнетало меня и туманило глаза, было предвестником несчастья. Ликующий задор, царивший здесь третьего

дня, сменился вчера испугом, неописуемым смятением, и непредвиденная смерть показала парижанам, как ненадежно их положение и как опасна всякая встряска. А ведь они хотели всего только немножко потрясти государственное здание, отнюдь не собираясь поколебать его слишком сильными ударами. Если бы герцог Орлеанский умер несколькими днями раньше, Париж не избрал бы двенадцати оппозиционных депутатов против двух консерваторов и этим неслыханным поступком не дал бы движению нового движения. Эта смерть ставит под вопрос весь существующий порядок, и будет счастьем, если палаты как можно скорее и без помех обсудят установление регентства на случай смерти теперешнего короля и примут решение. Я говорю: «палаты», ибо королевский домашний закон здесь недостаточен, как в других странах. Поэтому прения о регентстве прежде всего займут внимание палат и заставят заговорить страсти. И даже если все сойдет спокойно, все же нам предстоит временное междуцарствие, которое всегда бывает бедствием, и бедствием особенно тяжелым для страны, состояние которой еще столь зыбко и более всего нуждается в устойчивости. Король, говорят, проявил в этом несчастье величайшую силу характера и благородие, хотя уже несколько недель находился в очень подавленном состоянии. В последнее время дух его омрачали страшные предчувствия. Говорят, недавно, перед отъездом Тьера, он написал ему письмо, в котором очень много говорил о смерти; но при этом, наверно, он думал только о своей собственной смерти. Покойный герцог Орлеанский всеми был любим, на него молились. Весть о его смерти поразила как гром среди ясного неба, и скорбь царит во всех классах народа. Вчера в два часа пополудни туманный слух о несчастье разнесся на бирже, где фонды сразу же упали на три франка. Но никто еще не верил этому. Принц же умер только в четыре, и до этого часа многие опровергали весть о его смерти. Еще в пять часов многие выражали сомнение. Но когда в шесть часов театральные афиши были заклеены белой бумажкой, в которой объявлялось об отмене спектакля, каждый убедился в ужасной истине. Когда веселой, танцующей походкой они, эти разряженные француженки, пришли к театрам и вместо желанного спектакля нашли только закрытые двери и услышали о несчастье, случившемся

около Нейи, на дороге, которая называется *Le chemin de la révolte*,¹ — тогда из многих прекрасных глаз полились слезы и слышались только рыдания и сетования о прекрасном принце, который погиб, такой красивый и молодой, о милом, рыцарственном человеке, французе в самом очаровательном смысле этого слова, во всех отношениях достойном народной скорби. Да, он погиб в расцвете лет, светлый, мужественный юноша, и кровью изошел он, такой чистый, незапятнанный, радостный, словно на ложе из цветов, как некогда Адонис! Если бы только сразу же после его смерти его не стали прославлять скверными стихами и еще более скверной, лакейской прозой! Но таков удел прекрасного на земле. Быть может, в то время как французский народ исполнен самой истинной и самой гордой скорби и не только прекрасные женские слезы льются над могилой погибшего, но и свободные мужские слезы чтят его память, официальная печаль уже трет себе луком глаза, притворно хныкая, и даже глупость обвивает черным крепом погремушки на своем колпаке, и скоро мы услышим трагикомическое бречанье. Слезливая болтовня, тепловатые помои сентиментальности особенно дадут о себе знать по этому поводу. Уже сейчас, быть может, Лафитт, пыхтя, несется в Нейи и обнимает короля с самым что ни на есть немецким умилением. Быть может, уже сейчас Шатобриан садится на своего меланхолического крылатого коня, на своего пернатого Росинанта, и пишет пустозвонное соболезнующее послание к королеве. Омерзительные нежности и гримасы! И как невелико пространство, отделяющее здесь великое от смешного! Как я сказал, в истинности печального события публика убедилась вчера на бульварах, перед театрами и вокруг ораторов, рассказывавших подробности с большими или меньшими прикрасами и добавлениями; повсюду образовывались группы. Не один старый болтун, у которого в другое время не найдется слушателей, воспользовался этим случаем, чтобы собрать вокруг себя внимательную публику и в интересах своей риторики завладеть общественным любопытством. Перед театром «Variété» стояла какая-то личность и декламировала с особым пафосом, как Терамен в «Федре»: «Il était sur son

¹ Дорогой восстания (франц.).

шаг»¹ и т. д. Все рассказывали, что, когда принц падал из экипажа, шпага его сломалась и верхний ее конец вонзился ему в грудь. Очевидец уверял, что принц произнес еще несколько слов, но по-немецки. Впрочем, вчера везде царил скорбная тишина, и сегодня в Париже не заметно и тени беспорядка.

XLVIII

Париж, 19 июля 1842 г.

Покойный герцог Орлеанский — по-прежнему тема всех разговоров. Никогда еще смерть человека не возбуждала такой всеобщей скорби. Замечательно, что во Франции, где революция еще не перебродила, любовь к принцу могла пустить такие глубокие корни и принять такие грандиозные размеры. Не только буржуазия, возлагавшая все свои надежды на молодого принца, но также и низшие слои народа оплакивают его утрату. Когда отменили Июльское празднество и разломали на площади Согласия высокие подмости, которые должны были служить для иллюминации, больно было видеть, как народ садился на сброшенные бревна и доски и сокрушался о смерти дорогого принца. Суровая печаль омрачила все лица, и всего красноречивее была скорбь тех, кто не говорил ни слова. Здесь лились самые честные слезы, и среди плачущих, наверно, был не один из числа тех, кто хвастает в кофейне своим республиканизмом.

Но для Франции смерть молодого принца — действительное несчастье, и если бы у него было и меньше добродетелей, чем ему приписывается после смерти, все же при мысли о будущем французы имели достаточный повод, чтобы плакать. Вопрос о регентстве занимает все головы, и, к сожалению, не только умные. На свет появилось уже много глупостей. Хитрости тоже удастся вызвать путаницу в мыслях, из которой она надеется извлечь выгоду для своих партийных целей и которая, во всяком случае, может иметь весьма серьезные последствия. В самом ли деле герцог Немурский в такой страшной немилости у

¹ Он стоял на своей колеснице (франц.).

самодержавного народа, как утверждают сейчас с преувеличенным рвением? Не хочу об этом судить. Еще менее я собираюсь исследовать причины подобной немилости. Вероятно, главным поводом для обвинения является внешность принца, его аристократичность, тонкость, неприступность, черты патриция. Наружность герцога Орлеанского была благородна, наружность герцога Немурского породиста. Но даже если бы внешний облик соответствовал внутреннему, это не помешало бы принцу в качестве гонимого демократии в течение некоторого времени оказывать ей величайшие услуги, так как эта роль силой обстоятельств вынуждала бы его к полнейшему отказу от личных чувств: дело ведь шло бы здесь о его ненавистной голове. Я даже убежден, что для интересов демократии регент, которому мало доверяют и которого постоянно контролируют, гораздо менее опасен, чем один из тех любимцев народа, которым доверяются со слепой любовью и которые ведь в конце концов только люди, непостоянные существа, подверженные действию законов изменчивости, времени и собственной природы. Сколько любимых наследных принцев кончало свой путь, став нелюбимыми! Какую жуткую переменчивость проявлял народ по отношению к своим бывшим любимцам! Французская история особенно богата грустными примерами. Каким восторженным ликованием народ окружал молодого Людовика XIV — равнодушно, сухими глазами смотрел он, как хоронили старика. Людовика XV справедливо называли *le bienaimé*,¹ и вначале французы поклонялись ему с безрассудной любовью; когда же он умер, раздавался смех, слышались насмешливые песни: смерти его радовались. Его преемнику, Людовику XVI, пришлось еще хуже: он, на которого народ молился, пока он был наследным принцем, он, считавшийся вначале образцом всех совершенств, претерпел от народа личные оскорбления, и жизни его, как известно, самым непочтительным образом был положен предел на эшафоте площади Согласия. Последний из этой линии, Карл X, вовсе не был непопулярен, когда вступил на престол, и народ приветствовал его тогда с неопишуемым воодушевлением; не столько лет спустя его вышпроводили вон, и он умер

¹ Возлюбленным (*франц.*).

жестокой смертью изгнанника. Изречение Солона, что до смерти никого нельзя назвать счастливым, в особенности применимо к королям Франции. Будем же оплакивать смерть герцога Орлеанского, но не потому, что народ так любил его и так много ждал от него в будущем, а потому, что он как человек заслужил наши слезы. Не будем также слишком уж сокрушаться о так называемой бесславной смерти, о случайности его кончины. Ведь голова его разбилась о невинный камень, и хуже было бы, если бы его сразила пуля француза или немца. У прищца было предчувствие ранней смерти, но он думал, что погибнет на войне или во время мятежа. При его рыцарственной храбрости, пренебрегавшей всякой опасностью, это казалось весьма вероятным. Царственный страдалец Луи-Филипп держится с таким самообладанием, которое всякому внушает глубокое уважение. В несчастье он проявляет истинное величие. Сердце его в несказанной скорби обливаётся кровью, но дух его непоколебим, и он трудится день и ночь. Никогда еще ценность его существования не чувствовали так глубоко, как именно сейчас, когда от жизни его зависит спокойствие мира. Смело борись, раненый герой мира!

XLIX

Париж, 26 июля 1842 г.

Тронная речь — короткая и простая. С величайшим достоинством в ней сказано самое важное. Король сам написал ее. Скорбь его выражается в пуританской, я сказал бы даже — в республиканской простоте. Он, обычно такой многоречивый, стал теперь очень скуп на слова. Молчаливый прием, несколько дней тому назад имевший место в Тюильри, был как-то необыкновенно печален, почти призрачен; несколько тысяч человек, не говоря ни слова, прошли мимо короля, смотревшего на них с безмолвным страданием. Говорят, что реквием в Соборе богородицы не состоится, — король не желает музыки на похоронах своего сына, музыка слишком напоминает игры и празднества. Его желание, чтобы регентство досталось его сыну, а не невестке, выражено в тронной речи достаточно отчетливо. Желание это не встретит особых возражений, и герцог

Немурский станет регентом, хотя это звание и подобает прекрасной и умной герцогине, воплощению женского совершенства, столь достойной своего покойного супруга. Вчера говорили, что король приведет с собой в палату депутатов своего внука, графа Парижского. Многие хотели этого, и сцена была бы, конечно, очень трогательная. Но король, как я сказал, избегает сейчас всего, что напоминает пафос феодальной монархии. В публике распространились сведения о том, что Луи-Филипп — против женских регентств. Он будто бы сказал, что глупейший мужчина все же окажется лучшим регентом, чем умнейшая женщина. Не потому ли герцогу Немурскому он отдал предпочтение перед умной Еленой?

L

Париж, 29 июля 1842 г.

Муниципальный совет Парижа решил не разрушать модель слона, стоящую на площади Бастилии, как предполагалось сначала, а воспользоваться ею для отливки фигуры из меди и поставить этот памятник перед *Bagièze du trône*.¹ Об этом решении муниципального совета народ в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо говорит почти так же много, как высшие классы о регентстве. Этот колоссальный гипсовый слон, сооруженный еще в эпоху Империи, должен был впоследствии служить моделью памятника, который на площади Бастилии собирались построить в честь Июльской революции. Потом решение изменили и для увековечения этого славного события воздвигли высокую Июльскую колонну. Но то обстоятельство, что слона собирались убрать, возбудило большую тревогу. В народе прошел зловещий слух, будто бы внутри слона завелось невероятное множество крыс и следует опасаться, что после того, как разломают большого гипсового зверя, появится целый легион маленьких, но весьма опасных чудовищ, которые распространятся в предместьях Сент-Антуан и Сен-Марсо. Все юбки затрепетали при мысли о подобной опасности, и даже мужчин охватил томительный

¹ Тронной оградой (*франц.*).

страх перед нашествием длиннохвостых гостей. К магистрату стали обращаться с всеподданнейшими просьбами, вследствие которых решено было покамест не сносить большого гипсового слона, и с тех пор он уже много лет спокойно стоит на площади Бастилии. Удивительная страна, где, несмотря на всеобщую жажду разрушения, многие вещи сохраняются оттого, что все боятся, как бы их не заменили вещи еще более вредные! Как рады были бы они снести Луи-Филиппа, этого большого, умного слона; но они боятся его величества самодержавного крысиного короля, тысячеглавого чудовища, которое тогда достигнет власти, и даже высокородные и церковные враги буржуазии, не пораженные, правда, слепотой, стараются по этой причине поддерживать Июльский трон; лишь совсем ограниченные люди, игроки и шулеры из числа аристократов и клерикалов, охвачены пессимизмом и спекулируют на республике, или, вернее, на хаосе, который должен наступить непосредственно вслед за республикой.

Сама буржуазия тоже одержима демоном разрушения, и если она и не боится республики, то все же у ней инстинктивный страх перед коммунизмом, перед этой угрюмой братией мастеровых, которые, точно крысы, ринутся кверху из-под обломков теперешнего правительства. Да, республика прежнего качества, даже с маленькой долей робеспьерства, не испугала бы французскую буржуазию, которая легко примирилась бы с этой формой правления и спокойно стояла бы на часах, охраняя Тюильри, — независимо от того, чья резиденция была бы здесь, — Луи-Филиппа или *Comité du salut public*,¹ потому что буржуазия прежде всего желает порядка и защиты существующего права собственности — стремление, которому республика может удовлетворить так же, как и монархия. Но, как я сказал, эти лавочники инстинктивно чувствуют, что республика теперь не могла бы уже отстаивать принципы девяностых годов, что она явилась бы только формой, в которую вылилось бы неслыханное господство пролетариата со всеми догматами материального равенства. Они — консерваторы в силу внешней необходимости, а не в силу внутреннего побуждения, и страх здесь служит опорой всему.

¹ Комитета общественного спасения (франц.).

Долго ли продержится эта боязнь? Не будут ли в одно прекрасное утро все головы охвачены национальным легкомыслием и не увлечет ли оно даже самых опасливых в водоворот революции? Не знаю, но это возможно, и результаты выборов в Париже показывают даже, что это вероятно. У французов память короткая, и они забывают свои самые основательные опасения. Поэтому они так часто выступают актерами — даже главными актерами — в страшной трагедии, которая по воле господ бога разыгрывается на земле. Другие народы переживают свой великий период движения, свою историю, только в молодости, когда, еще будучи неопытны, они устремляются к деятельности, ибо в дальнейшем, в возрасте более зрелом, размышление и взвешивание последствий удерживает эти народы, как и отдельные личности, от внезапных поступков и только крайняя необходимость, но не собственная воля толкает эти народы на арену мировой истории. Однако французы все еще сохраняют легкомыслие молодости, и сколько бы ни сделали и ни выстрадали они вчера, сегодня они уже не помнят об этом; прошлое угасает в их памяти, и каждый новый день зовет их к новым делам и новым страданиям. Они не желают стариться и думают, пожалуй, что им удастся сохранить молодость, если они не оставят юношеского бреда, юношеской беспечности и юношеского великодушия! Да, великодушие, почти детская доброта в прощении, составляет главную черту характера французов; но я не могу не заметить, что эта добродетель имеет тот же источник, что и их недостатки, — забывчивость. Понятие «прощение» действительно соответствует у этого народа слову «забвение» — забвению обиды. Если бы не это, в Париже, где на каждом шагу встречаются люди, виновные друг перед другом в тяжелых преступлениях, всякий день совершались бы убийства.

Это характерное добродушие французов сейчас особенно сказывается в отношении к Луи-Филиппу, и злейшие враги его в народе, за исключением карлистов, проявляют трогательное участие к его семейному горю. Я готов утверждать, что король снова популярен. Вчера, глядя на приготовления к похоронам и прислушиваясь к разговорам блузников, собравшихся перед Собором богоматери, я между прочим услышал наивное замечание: «Король теперь может спокойно гулять по улицам Парижа, и никто

не станет в него стрелять». (Какая популярность!) Смерть герцога Орлеанского, любимого всеми, вновь завоевала отцу самые строптивые сердца, и брачный союз короля с народом как бы снова освящен общим несчастьем. Но сколько времени продлится этот черный медовый месяц?

LI

Париж, 17 сентября 1842 г.

Я вернулся из путешествия, продолжавшегося четыре недели, и со вчерашнего дня снова нахожусь здесь, и, я сознаюсь, сердце взыграло в моей груди, когда почтовая карета покатила по милой мостовой бульваров, когда я проехал мимо первого магазина мод и показались улыбающиеся лица гризеток, когда я услышал крики продавцов лакричной воды, когда на меня вновь повеяло чудесным цивилизованным воздухом Парижа. Я был почти счастлив, и первого встретившегося мне национального гвардейца я готов был обнять; его кроткое, добродушное лицо глядело забавно-приветливо из-под грубой медвежьей шапки, и в штыве его было, право же, нечто интеллигентное, благодаря чему он так успокоительно отличается от штывков иных корпораций. Но отчего на этот раз моя радость по возвращении в Париж до того беспредельна, что мне почти показалось, будто я вступаю на сладостную почву отчизны, будто я слышу снова отечественные звуки? Почему Париж так очаровывает иностранца, прожившего в нем несколько лет? Многие среди моих достойных соотечественников, пребывающих здесь, утверждают, что только в Париже немец может чувствовать себя как дома и что Франция для нашего сердца в конце концов не что иное, как французская Германия.

Но на этот раз я вдвойне радуюсь своему возвращению: я вернулся из Англии. Да, из Англии, хоть я и не пересекал пролива. Я провел четыре недели в Булонь-сюр-Мер, а ведь это уже английский город. Там видишь только англичан и слышишь только английскую речь — с утра до вечера, увы! — даже и ночью, если, на твое несчастье, живущие в соседней комнате до поздней ночи рассуждают о политике, сидя за чаем и грогом! Четыре недели не слышал я ничего, кроме этих шипящих звуков эгоизма, про-

являющегося в каждом слого, в каждом ударении. Разумеется, страшно несправедливо произносить обвинительный приговор целому народу. Но когда речь идет об англичанах, негодование может довести меня и до этого, и при виде толпы я легко забываю о многих достойных и благородных мужах, прославившихся своими душевными качествами и любовью к свободе. Но люди эти, в частности— британские поэты, тем резче всегда отличались от остального народа; это были одинокие мученики своих национальных условий, и к тому же великие гении не принадлежат только той стране, в которой родились; они даже едва ли принадлежат и этой планете, лобному месту своих мучений. Но масса, истые англичане, — бог да простит мне мое прегрешение! — противны мне в высшей степени, и порой я смотрю на них не как на своих ближних, и представляются они мне отвратительными автоматами, машинами, внутреннюю пружину которых составляет эгоизм. Мне кажется, будто я слышу жужжание колесного механизма, с помощью которого они думают, чувствуют, считают, переваривают пищу, молятся; их молитвы, их англиканско-машинальное хождение в церковь с золочеными молитвенниками в руках, их глухие, скучные воскресные дни, их неуклюжее святошество для меня всего противнее; я твердо убежден, что ругающийся француз являет божеству зрелище более приятное, нежели молящийся англичанин! А порою эти истые англичане кажутся мне мрачным наваждением; бледные полуночные тени из царства призраков менее страшны для меня, чем эти дюжие, краснощечкие привидения, что расхаживают, потя, в ярких солнечных лучах. К тому же — полное отсутствие вежливости. Они толкают всех своими угловатыми конечностями, своими неповоротливыми локтями и не произносят ни одного вежливого слова в извинение. Эти рыжеволосые варвары, пожирающие мясо с кровью, — как, должно быть, ненавистны они китайцам, с их врожденной вежливостью, этой национальной добродетелью, в которой они, как известно, изощраются две трети дня, кланяясь и приседа.

Сознаюсь, я не вполне беспристрастен, когда говорю об англичанах, и мой враждебный отзыв, мое отвращение к ним коренится, быть может, в тревоге за собственное благополучие, за счастье и мирное спокойствие моего

пемецкого отечества. С тех пор как я глубоко осознал, что за мерзкий эгоизм направляет их политику, англичане внушают мне беспредельный, зловещий страх. Я питаю полное уважение к их материальному могуществу; в них так много той грубой энергии, которая помогла римлянам подчинить мир, но с римской волчьей жадностью они сочетают и змеиную хитрость Карфагена. Для защиты против первой у нас есть хорошее и даже испытанное оружие, но против предательских козней этих карфагенян Северного моря мы безоружны. А теперь Англия опаснее, чем когда бы то ни было, — теперь, когда ее меркантильные интересы терпят поражение: во всей вселенной нет существа более жестокосердного, чем лавочник, торговля которого остановилась, которому изменили покупатели и товары которого, сложенные на складе, не находят больше сбыта.

Как выйдет Англия из этого материального кризиса? Не знаю, чем может разрешиться вопрос о фабричных рабочих; но я знаю, что политика современного Карфагена не слишком щепетильна в выборе средств. Быть может, европейская война в конце концов покажется этому эгоизму самым подходящим способом, чтобы дать хоть отчасти выйти наружу внутреннему недугу. В этом случае английская олигархия будет прежде всего спекулировать на мощне среднего сословия, богатство которого в самом деле огромно и могло бы дать достаточные средства для вознаграждения и усмирения низших классов. Как ни велики расходы на индийскую и китайскую экспедиции, как ни велики финансовые затруднения, все же английское правительство еще повысит свои денежные траты, если они помогут достичь цели. Чем больше отечественный дефицит, тем щедрее английское золото будет разбрасываться за границей: Англия — купец, который переживает банкротство и от отчаяния становится мотом, или, вернее, не боится никакой денежной жертвы, лишь бы продержаться еще немного. А с деньгами на этой планете кое-что можно сделать, особенно с тех пор, как всякий стремится к блаженству земному. Нельзя себе представить, какие чудовищные суммы Англия тратит ежегодно на одно только жалованье своим иностранным агентам, которым даны все инструкции на случай европейской войны, и как, в свою очередь, эти агенты умеют привлекать на свою сторону различнейшие таланты, добродетели и пороки.

Если подумать об этом, если принять во внимание, что самая страшная угроза спокойствию Европы вызвана не воодушевлением идеей и таится не на берегах Сены, не на площади, где собирается народ, но на берегах Темзы, в молчаливых покоях Foreign office,¹ и является следствием резких голодных криков английских фабричных рабочих; если подумать об этом, то нельзя не обращать порой своих взоров к этой стране, следя и за личностью правителей и за увеличивающейся нищетой низших классов. Эта увеличивающаяся нищета — недуг, который невежественные фельдшера стараются лечить кровопусканием, но такое кровопролитие вызовет ухудшение. Не извне, не при помощи ланцета — нет, только изнутри, при помощи нравственных медикаментов можно исцелить больной государственный организм. Лишь социальные идеи могли бы здесь принести спасение от самого рокового бедствия, но, говоря словами Сен-Симона, ни на одной английской верфи не найти ни одной великой идеи, — там есть лишь паровые машины да голод. Правда, восстание теперь подавлено, но более частые вспышки могут ведь привести к тому, что рабочие английских фабрик, умеющие сейчас обрабатывать лишь хлопок да шерсть, немного поупражняются и на человеческом теле, приобретут необходимые навыки и в конце концов смогут столь же отважно править это кровавое ремесло, как их французские товарищи, рабочие Лиона и Парижа, и может, наконец, случиться, что победитель Наполеона, фельдмаршал милорд Веллингтон, снова вступивший теперь в должность верховного палача, найдет в самом Лондоне свое Ватерлоо. Легко может также случиться, что его мирмидоняне откажутся слушаться своего господина. Уже и сейчас в английской армии появляются весьма серьезные симптомы такого умонастроения, и в настоящую минуту в Лондоне в тюрьме Тауэр сидит пятьдесят солдат, отказавшихся стрелять в народ. Почти не верится, и все же это правда, что английские красные мундиры повиновались не приказу своих офицеров, а голосу человечности и забыли о той плети, которая называется кошкой-девятихвосткой (the cat of nine tails) и в гордой столице английской свободы непрестанно угрожает их геройским спинам — о кнуте Великобрита-

¹ Министерства иностранных дел (англ.).

нии! Сердце разрывается, когда читаешь, как женщины, плача, выходили навстречу солдатам и кричали им: «Нам не нужны пули, нам нужен хлеб!» Мужчины покорно скрещивали руки и говорили: «Вы должны застрелить голод, а не стрелять в нас и в наших детей». Общий крик был: «Не стреляйте, ведь все мы братья!»

Эта ссылка на братство напоминает мне подобные фразы, которые я слышал иногда от французских коммунистов. Фразы эти, как я заметил в Лионе, ничем не поражали, отнюдь не отличались яркостью, не были ни остры, ни оригинальны; напротив, коммунисты говорят самыми избитыми, самыми плоскими, общими местами. Но могущество их пропаганды состоит не столько в точно сформулированной программе определенных жалоб и определенных требований, сколько в проникновенном и вызывающем почти невольное сочувствие тоне, которым они говорят банальные вещи, например: «все мы братья» и т. д. Тон и неизбежное тайное пожатие руки составляют комментарий к этим словам и придают им всемирно-сокрушительный смысл. Вообще французские коммунисты стоят на такой же точке зрения, что и английские рабочие, с той лишь разницей, что француза больше побуждает к этому идея, англичанина же, напротив, — один лишь голод.

Восстание в Англии пока что подавлено, но только пока; оно лишь отсрочено, оно будет вспыхивать каждый раз с новой силой и тем опаснее, что оно всегда может выждать подходящий час. По многим признакам видно, что сопротивление фабричных рабочих теперь так же практически организовано, как некогда сопротивление ирландских католиков. Чартисты сумели привлечь на свою сторону и в некоторой мере дисциплинировать эту грозную силу, и их союз с недовольными фабричными рабочими, пожалуй, — самое важное явление настоящего времени. Этот союз возник весьма просто, он был естественен, хотя чартисты и любят делать вид, что они чисто политическая партия с определенной программой, а фабричные рабочие, как я уже указывал выше, — лишь бедные поденщики, которые от голода едва могут говорить и, равнодушные ко всякой правительственной реформе, требуют только хлеба насущного. Но слово редко выражает истинную заветную мысль партии, оно только внешний отличительный признак, это, так сказать, словесная

кокарда; чартист, который якобы ограничивается только политическими вопросами, в душе таит желания, глубоко согласные с самыми смутными чувствами этих голодных ремесленников, а они, в свою очередь, не отказываясь от своих целей, могут превратить программу чартистов в свой боевой клич. Чартисты требуют, чтобы парламент состоял только из одной палаты и обновлялся бы ежегодно путем новых выборов; затем, чтобы независимость избирателей была гарантирована негласной баллотировкой; наконец, чтобы каждый природный англичанин мог избирать и быть избираем. «Все это еще не съедобно для нас, — говорили несчастные рабочие, — ни сводами законов, ни поваренными книгами сыт не будешь, мы голодны». — «Погодите, — возражали чартисты, — до сих пор в парламенте сидели только богатые, и заботились они только об интересах своей собственности; благодаря новому избирательному закону, благодаря хартии в парламент попадут ремесленники или их представители, и тут-то уж окажется, что на труд, точно так же как и на всякое имущество, может существовать право собственности и что фабрикант так же не смеет уменьшать по собственному произволу поденную плату рабочим, как не смеет отнимать у соседа движимое и недвижимое имущество. Труд — собственность народа, и вытекающие из этого права собственности должны быть санкционированы и охраняемы обновленным парламентом». Еще шаг, и люди эти скажут, что труд — право народа; а так как это право повлекло бы за собою требование безусловного вознаграждения за труд, то чартизм ведет если и не к имущественному равенству, то, конечно, к потрясению существовавшей до сих пор идеи собственности, столпа современного общества, и в этих чартистских начинаниях, рассматриваемых с точки зрения их последствий, таится социальный переворот, в сравнении с которым французская революция должна показаться весьма кроткой и скромной.

Здесь опять-таки обнаруживается лицемерие и практичность англичан, в противоположность французам: чартисты законными формами прикрывают свой терроризм, тогда как коммунисты провозглашают его свободно и прямолинейно. Последние, правда, еще немного боятся назвать настоящим именем конечные цели своего учения, и если начать спорить с их вожаками, они станут защищаться

от обвинения, будто они хотят упразднить собственность, и станут утверждать, что, напротив, они хотят утвердить ее на более обширной основе, что они хотят придать ей широкую организацию. Боже мой! Я боюсь, как бы от рвения таких организаторов собственности не пришлось очень плохо и как бы в конце концов не осталось ничего, кроме «обширного основания». «Я скажу тебе правду, — недавно говорил мне приятель-коммунист: — собственность отнюдь не будет упразднена, но ей дано будет новое определение».

Вот это-то новое определение здесь, во Франции, внушает господствующей буржуазии сильный страх, и этому страху Луи-Филипп обязан своими преданнейшими сторонниками, вернейшей опорой своего престола. Чем сильнее дрожат опоры, тем менее колеблется трон, и королю нечего бояться именно потому, что страх служит для него гарантией. Гизо тоже держится благодаря страху перед новым определением, против которого он так мастерски сражается своей острой диалектикой, и я не думаю, чтобы он так скоро потерпел поражение, хотя господствующая партия буржуазии, для которой он столько сделал и столько делает, холодна к нему. Почему они его не любят? Я думаю, во-первых, потому, что они его не понимают, а во-вторых, потому, что тот, кто охраняет наше добро, всегда возбуждает гораздо меньше любви, чем тот, кто обещает нам добро чужое. Так было некогда в Афинах, то же теперь и во Франции, то же будет и во всякой демократии, где слово свободно, а люди легковерны!

LII

Париж, 4 декабря 1842 г.

Удержится ли Гизо? Французский кабинет — это совершенно то же, что любовь: о силе и длительности тут никогда нельзя судить с уверенностью. Порою думаешь, что правительство пустило несокрушимо прочные корни, и вдруг на следующий день оно валится от ничтожного дуновения ветерка. Еще чаще думаешь, что правительство идет, шатаясь, навстречу гибели, что оно лишь две-три недели сможет продержаться на ногах, но, к нашему удив-

лению, тут же оказывается, что оно еще крепче, чем было, и переживет всех тех, кто уже читал ему надгробные речи. Месяц тому назад, 29 октября, правительство Гизо праздновало в третий раз день своего рождения, теперь ему уже больше двух лет, и я не вижу причины, почему бы ему и дольше не жить на этой прекрасной земле, на бульваре Капуцинов, где зеленые деревья и прекрасный воздух. Правда, много правительств погибало там скорой смертью, но все они были сами виноваты в своей ранней кончине: они слишком много двигались. Да, то, что здорово нам, людям, вызывает у правительств смертельную болезнь, и, в частности, кабинет первого марта умер от нее. Они, эти человечки, не могут сидеть смиренно. Частая смена правительств во Франции — это не только последствие революции, но также и плод национального характера французов, для которых дело, деятельность, движение является такой же потребностью, как для нас, немцев, курение табака, тихое раздумье и душевное спокойствие; именно потому, что французские правители так подвижны и постоянно придумывают себе новое занятие, они оказываются в таком убийственно затруднительном положении. Это касается не одних только кабинетов, но также и династий, которые своей же деятельностью всегда ускоряют катастрофу. Да, та же роковая причина, неустанная деятельность, вызвала падение не только Тьера, но и более сильного Наполеона, который до конца дней своих остался бы на троне, если бы обладал искусством сидеть смиренно — искусством, которому у нас прежде всего учат маленьких детей! Но этим искусством г-н Гизо обладает в высокой степени, он держится с мраморным спокойствием, как Луксорский обелиск, и поэтому продержится дольше, чем думают. Он ничего не делает, и в этом тайна его долголетия. Почему же он ничего не делает? Думаю, прежде всего потому, что он действительно наделен каким-то германским душевным спокойствием и меньше страдает жаждой деятельности, чем его соотечественники. Быть может, он потому ничего не делает, что знает так много? Чем больше мы знаем, чем глубже и шире наши взгляды, тем труднее для нас деятельность, и тот, кто всегда мог бы предвидеть последствия каждого своего шага, конечно вскоре отказался бы от всякой деятельности и пользовался бы своими собственными руками только для того, чтобы

связывать собственные ноги. Самые обширные познания обрекают нас на самую узкую пассивность.

Между тем — какова бы ни была участь кабинета — будем возможно терпеливее доживать последние дни года, который, слава богу, близится к концу! Если бы только небо не послало нам под конец какое-нибудь новое несчастье! Это был дурной год, и, будь я тенденциозный поэт, я устроил бы ему кошачий концерт в самых крикливых и неблагозвучных стихах. За этот дурной, постыдный год человечество много выстрадало, и даже банкиры потерпели некоторые убытки. Каким страшным несчастьем был, например, пожар на Версальской железной дороге! Я говорю не о потерпевшей воскресной публике, которая при этом изжарилась или сварилась: скорее я имею в виду оставшуюся в живых суботнюю компанию, акции которой упали на столько процентов и которая теперь с трепетной тревогой ждет исхода процесса, вызванного этой катастрофой. Придется ли учредителям компании дать некоторую компенсацию осиротевшим или искалеченным жертвам их корыстолюбия? Это было бы ужасно! Эти достойные сожаления миллионеры уже так сильно поплатились, и прибыль от других предприятий в этом году едва покрывает дефицит. К тому же произошли и другие беды, от которых легко можно лишиться рассудка, и на бирже меня уверяли вчера, что полубанкир Лойзедорф собирается перейти в христианство. У других дела идут лучше, и если бы даже *give gauche* совсем замер, все же мы могли бы утешаться тем, что *give droite* радостно процветает. Южнофранцузские железные дороги, так же как и дороги, недавно получившие концессию, обделывают хорошие дела, и тот, кто вчера еще был бедным негодяйчиком, сегодня уже богатый негодяй. В частности, тощий и длинноносый г-н *** уверяет, что он доволен провидением, что у него есть на это «резоны». Да, пока вы, прочие, проводили время в философских спекуляциях, этот тощий дух проводил покупателей и спекулировал на акциях железных дорог, и недавно один из его благодетелей, крупный банкир, сказал мне: «Смотрите, вот этот человечек был ничто, а теперь у него есть деньги и будет еще больше, и никогда-то в жизни он не занимался философией!» Эти грибы везде и всюду одни и те же! С особым презрением они смотрят сверху вниз на писателей, занимающихся той бескорыстной наукой,

которую мы называем философией. Уже тысячу восьмисот лет тому назад, как повествует Петроний, некий римский проходимец велел начертать на своей могиле следующую эпитафию: «Здесь покоится Страберий; вначале он был ничто, однако оставил триста миллионов сестерций; никогда в жизни он не занимался философией; следуй его примеру, и благо тебе будет».

Здесь, во Франции, царит сейчас величайшее спокойствие. Вялый, сонливый, зевающий мир. Все тихо, как в снежную зимнюю ночь. Только тихое, однообразное падение капель. Это проценты непрестанно капают на капиталы, которые все время разбухают: прямо-таки слышишь, как растут эти богатства богачей. И тут же тихое рыданье нищеты. Порой что-то звенит, словно оттачиваемый нож. Шум в соседних странах нас мало тревожит, и даже громыхающий мятеж в Барселоне нас не смутил. Кровавая сцена, случившаяся в кабинете мадемуазель Гейнефеттер в Брюсселе, возбудила в нас гораздо больший интерес, и дамы особенно возмущены этой немецкой душой, которая, несмотря на многолетнее пребывание во Франции, все еще не научилась, как надо поступать, чтобы два одновременных поклонника не встретились на арене своего счастья. Известия с Востока также возбудили в народе недовольный ропот, и китайский император осрамился в такой же мере, как и мадемуазель Гейнефеттер. Беспольное кровопролитие — и цветок Срединной империи погиб. Англичане изумлены, что так легко разделились с Братом Солнца, и рассчитывают уже, нельзя ли обратить бесполезные теперь военные силы Индийского моря против Японии, чтобы и на эту страну наложить контрибуцию. Конечно, и здесь в законном предлоге к нападению недостатка не будет. Если это не будут бочки с опиумом, то это будут сочинения английских миссионеров, конфискованные японской комиссией безопасности. Может быть, в одном из дальнейших писем я поговорю о том, как Англия маскирует свои военные действия. Угроза, что британское великодушье не придет к нам на помощь, когда Германию, как некогда Польшу, станут делить, несколько не пугает меня. Во-первых, Германию нельзя делить. Пусть попробуют разделить княжество Лихтенштейн или Грейц-Шлейц! А во-вторых...

Париж, 31 декабря 1842 г.

Еще маленький шаг — и старый, дурной год скатится в бездну времен. Этот год был сатирой на Луи-Филиппа, на Гизо, на всех, кто так старался сохранить мир в Европе. Этот год — сатира и па самый мир, ибо в спокойном лоне его мы претерпели такие ужасы, ужаснее которых не могла бы породить и война, пугавшая нас. Страшный месяц май, когда почти в одно и то же время во Франции, Германии и на Гаити разыгрались самые жуткие трагедии! Какое стечение самых неслыханных несчастий! Какая злобная прония случая! Какие адские сюрпризы! Могу себе представить изумление, с которым обитатели царства теней взирали 6 мая на пришельцев, на расфранченные воскресные лица, на студентов, гризеток, молодых супругов, аптекарей, жаждущих развлечений, филистеров всех мастей, которые ездили в Версаль смотреть на фонтаны и вместо Парижа, где для них уже был накрыт обеденный стол, попали в подземный мир! И притом — искалеченные, сваренные, обгоревшие. «Это война привела вас в такой гнусный вид?» — «Ах, нет, у нас мир, и мы только что с прогулки». Изжаренные пожарные и надсмотрщики с товарных складов, прибывшие несколько дней спустя из Гамбурга, должны были вызвать не меньшее удивление в царстве Плутона. «Вы жертвы бога войны?» — таков, наверно, был вопрос, которым их встретили. «Нет, наша республика в мире с целым светом, храм Януса стоял закрытый, лишь капище Вакха оставалось открытым, и мы жили, мирно наслаждаясь нашими спартанскими супами из телячьей головки, как вдруг случился великий пожар, в котором мы и погибли». — «А ваши знаменитые пожарные команды?» — «Они-то целы, только слава их погибла». — «А старые парики?» — «Они, как напудренные фениксы, возродятся из пепла». На другой день, пока Гамбург еще пылал, произошло землетрясение на Гаити, и бедные черные люди тысячами были сброшены в царство теней. Когда они прибыли туда, все в крови, там, внизу, наверно, решили, что они только что покинули поле битвы, где сражались с белыми, и что белые изрубили их или же засекли насмерть, как взбунтовавшихся рабов. Нет, и тут ошиблись добряки — жители берегов Стикса. Не человек, а природа учинила

страшную, кровавую баню на этом острове, где рабство давно упразднено, где образ правления — республиканский, и хотя он не принес и зародышей обновления, но коренится в вечных законах разума; там царит свобода и равенство, даже черная свобода печати. Грейц-Шлейц не является такой республикой; почва там не такая горячая, как на Гаити, где произрастают сахарный тростник, кофе и черная свобода печати и где, следовательно, весьма легко могло случиться землетрясение; но, несмотря на мягкий картофельный климат, несмотря на цензуру, несмотря на терпеливые стихи, которые как раз в это время актеры декламировали или пели, потолок в театре упал на голову гражданам Грейц-Шлейца, которые с веселым любопытством смотрели представление, и часть уважаемой публики неожиданно оказалась сброшенной в Орк.

Да, среди благодушной тишины, среди мирного спокойствия нагромоздилось столько бедствий и горя, сколько не могли бы накликать и трубные зовы гнева Беллоны. И не только на суше, — на воде мы также испытали в этом году необыкновенные несчастья. Два больших кораблекрушения, у берегов Северной Африки и Ламанша, принадлежат к самым страшным главам в мученической истории человечества. У нас нет войны, но мир совершает над нами казни, и если мы не погибнем вдруг, по вине грубой случайности, то будем медленно умирать от некоего изнуряющего яда, от акватофаны, которую бог вест чья рука вливает в кубок нашей жизни!

Я пишу эти строки в последние часы уходящего злого года. Новый стоит уже у дверей. Да будет он менее суров, чем его предшественник! Шлю за Рейн меланхолические пожелания счастья к Новому году. Желаю глупым немного ума, умным же — немного поэзии. Женщинам желаю самых красивых платьев, мужчинам же — очень много терпения. Богатым — иметь сердце, а бедным — кусочек хлеба. Но больше всего я желаю, чтобы в этом новом году мы как можно меньше клеветали друг на друга.

Париж, 2 февраля 1843 г.

Что больше всего меня удивляет, это проворство, с которым французы так умело переходят или, вернее, перепрыгивают от одного занятия к другому, совсем противоположному. Это не только особенность их подвижного характера, но также и историческое приобретение: с течением времени они совершенно отделились от стеснительных предрассудков и педантизма. Поэтому-то эмигранты, перебежавшие к нам во время революции, так легко перенесли перемену обстановки, и некоторые из них, чтобы заработать себе на хлеб, сумели экспромтом придумать себе ремесло. Моя мать часто рассказывала мне про французского маркиза, который в нашем городе открыл свою сапожную мастерскую и шил лучшие дамские башмаки; он работал весело, насвистывал забавнейшие песенки и не вспоминал о былом великолепии. Немецкий дворянин при таких же обстоятельствах тоже прибегнул бы к сапожному ремеслу, но, конечно, он не так весело смирился бы перед своей сапожной судьбой, и занялся бы он, во всяком случае, мужскими сапогами, тяжелыми сапогами со шпорами, напоминающими о древнем рыцарстве. Когда французы перешли Рейн, маркизу пришлось оставить свою лавочку, и он бежал в другой город, кажется в Кассель, где сделался лучшим портным; да, минуя годы ученичества, он таким образом эмигрировал из одного ремесла в другое и сразу же достигал в нем мастерства, что немцу должно казаться непостижимым, и не только немцу-дворянину, но и обыкновеннейшему мещанину. После падения императора милейший маркиз с поседевшими волосами, но неизменно юным сердцем возвратился на родину, и на лице его изобразилась такая высокоаристократическая важность, и он так стал задирать нос, как будто никогда в жизни ему не приходилось иметь дело с шилом или иглой. Ошибаются те, кто утверждает, что эмигранты ничему не научились и ничего не забыли, — напротив, они все забыли, чему научились. Герои наполеоновских войн, когда их уволили в отставку или посадили на половинное жалованье, также с величайшим успехом принялись за мирные ремесла, и всякий раз, как мне случилось войти в магазин Деллуа, я просто диву давался, глядя на этого бывшего

полковника, сидящего теперь, в качестве книгопродавца, за конторкой и окруженного многими седыми усачами, которые во дни императора тоже были солдатами и храбро сражались, а теперь служат у своего старого товарища бухгалтерами или счетоводами, словом — приказчиками.

Из француза можно сделать все, и каждый считает себя способным на все. Плачевнейший драматург внезапно, словно по волшебству, становится министром, генералом, светочем церкви, даже господом богом. Замечательный пример в этом роде являют превращения нашего любезного Шарля Дювейрье, который был одним из просвещеннейших сановников сен-симонистской церкви, а когда ее упразднили, перешел со сцены духовной на светскую. Этот Шарль Дювейрье восседал в зале Тетбу на епископской скамье, рядом с самим отцом, то есть с Апфантенем; он отличался боговдохновенным, пророческим тоном, а в час испытания явился и мучеником за новую религию. Говорить мы теперь будем не о комедиях Дювейрье, а о его политических брошюрах, ибо он опять-таки оставил театральную карьеру и выступил на поприще политики, и это новое превращение, пожалуй, не менее замечательно. Его перу принадлежат брошюры, выпускаемые в свет каждую неделю под заглавием: «*Lettres politiques*».¹ Первая обращена к королю, вторая — к Гизо, третья — к герцогу Немурскому, четвертая — к Тьеру. Все они отмечены печатью большого ума. В них господствует благородный образ мыслей, похвальное отвращение к варварским военным намерениям, пламенное воодушевление делом мира. От промышленности Дювейрье ожидает наступления золотого века. Не на ослиати, а на паровой машине совершит Мессия свой благословенный въезд. Такими взглядами проникнута, в частности, брошюра, обращенная к Тьеру, или, вернее, направленная против него. О личности бывшего председателя совета автор говорит с достаточным уважением. Гизо ему нравится, но еще больше нравится Моле. Эта задняя мысль сквозит всюду.

Трудно решить, прав он или неправ, отдавая предпочтение одному из этих троих. Я, со своей стороны, не думаю, чтобы тот или другой был лучше, и держусь того мнения, что каждый из них, будучи министром, сделает то же самое.

¹ «*Политические письма*» (франц.).

что при таких же обстоятельствах сделал бы и другой. Настоящий министр, мысль которого всюду претворяется в дело, который и правит и царствует, — это король Луи-Филипп, а трое государственных деятелей, названных выше, отличаются друг от друга только тем, как они мнят-ся с господством королевской мысли.

Вначале г-н Тьер восстает весьма сурово, впадает в многоречивую оппозицию, трубит и барабанит — и все же в конце концов делает то, чего хотел король. Не только его революционные чувства, но и убеждения его как государственного деятеля находятся в постоянном противоречии с королевской системой: он знает и чувствует, что эта система когда-нибудь должна рухнуть, и я мог бы привести поразительнейшие суждения Тьера о непрочности теперешнего порядка. Он слишком хорошо знает своих французов и слишком хорошо знает историю французской революции, чтобы вполне предаться квиетизму победоносной партии буржуазии и уверовать в намордник, который он сам надел на тысячеголовое чудовище; его чуткое ухо слышит, как чудовище ворчит про себя, он даже боится, что, сорвавшись с цепи, оно когда-нибудь разорвет его, — и все же он делает то, чего хочет король.

Совсем иначе обстоит дело с г-ном Гизо. Для него победа буржуазии — совершившийся факт, *un fait accompli*, и он со всеми своими способностями вступил на службу этой новой власти, господство которой он умеет поддерживать всем искусством исторической и философской пронципальности, объявляя его разумным, а следовательно, и оправдывая его существование. В том ведь и заключается сущность доктринера, что для всего, что он хочет сделать, он подыскивает доктрину. Быть может, его сокровеннейшие убеждения и возвышаются над этой доктриной, а может быть, они и ниже ее — как знать? Он слишком умен и обладает слишком разносторонними познаниями, чтобы в глубине души не быть скептиком, и этот скепсис мирится со служением системе, на сторону которой он перешел. Теперь он верный слуга буржуазной власти, и он до последней минуты, с неумолимой последовательностью, с жестокостью герцога Альбы, будет защищать ее. У него не бывает колебаний и нерешительности, он знает, чего хочет, а что он хочет, то он и делает. Если он падет в борьбе, то и это падение не поколеблет его и он всего лишь пожмет пле-

чами. Ведь то, за что он сражался, было ему в сущности безразлично. Если вдруг когда-нибудь победит партия республиканская или партия коммунистов, советую этим добрым людям взять в министры Гизо, воспользоваться его умом и упорством, и это принесет им большую пользу, чем если бы они отдали власть в руки самых испытанных дураков гражданской добродетели. Такой же совет я дал бы и приверженцам Генриха V, на тот невозможный случай, если бы когда-нибудь, в силу национального бедствия, кары божией, они снова достигли официально признанной власти: возьмите в министры Гизо, и вы продержитесь тремя сутками дольше. Я не боюсь упрека, что сужу несправедливо о г-не Гизо, когда высказываю мнение, будто он может опуститься до того, чтобы своим красноречием и своими талантами защищать ваше неправое дело. Ведь вы для него так же неважны, как и эти мешане, ради которых он теперь не жалеет своих духовных сил, борясь словом и делом, как неважна ему и система короля, которой он служит со стоическим хладнокровием.

Г-н Моле отличается от них обоих тем, что, во-первых, самая личность его как государственного деятеля уже собственно обличает патриция, в котором талант правителя является врожденным или же воспитан семейными традициями. В нем нет и тени плебейской развязности выскочки, как в г-не Тьере, а тем менее — угловатости школьного учителя, как в г-не Гизо. И в глазах аристократии иностранных дворов такая внешняя представительность и дипломатическая легкость могут заменить гениальность, которую мы находим у господ Тьера и Гизо. У него нет иной системы, кроме системы короля, да ведь и он — слишком придворный человек, чтобы желать другой системы, и королю это известно, и министр этот совершенно по душе Луи-Филиппу. Вот увидите: каждый раз, как королю будет предоставлен выбор — назначить премьер-министром г-на Гизо или г-на Тьера, Луи-Филипп всегда будет отвечать с тоской: «Позвольте мне взять Моле». Моле — это он сам, а так как его желания все же исполняются, то не было бы несчастьем, если бы Моле снова стал министром.

Но и счастья не было бы в этом, ибо королевская система по-прежнему осталась бы в силе, и как ни высоко мы ценим благородные намерения короля, как мы ни уверены, что он действительно желает блага Франции,

все же мы должны признать, что средства для достижения цели — неправильные, что вся система не стоит и заряда пороха, если она вообще от одного такого заряда как-нибудь не взлетит на воздух. Луи-Филипп хочет управлять Францией через палату и думает, что он всего достиг, когда благодаря покровительству ее членам ему при проведении всякой правительственной меры удастся завоевать парламентское большинство. Но его заблуждение состоит в том, что палату он считает представительницей Франции. Однако это не так, и он совершенно не замечает интересов народа, которые весьма отличаются от интересов палаты и не особенно принимаются ею во внимание. Если он станет слишком непопулярным, палате вряд ли удастся его спасти, и еще вопрос, бросится ли с энтузиазмом к нему на помощь в опасный момент эта покровительствуемая им буржуазия, для которой он так много делает.

«Наше несчастье в том, — сказал мне недавно один из завсегдатаев Тюильри, — что наши противники, считая нас слабее, чем мы на самом деле, не боятся нас, а наши друзья, которые дуются порой, приписывают нам больше силы, чем у нас есть в действительности».

LV

Париж, 20 марта 1843 г.

Скуку, источаемую классической трагедией французов, никто не понимал лучше, чем та добрая мещанка времен Людовика XV, которая говорила своим детям: «Не завидуйте дворянам и прощайте им их надменность, — ведь они поражены карой небесной и каждый вечер до смерти должны скучать во Французском театре». Кончился старый режим, и скипетр попал в руки буржуазии; но этим новым властителям тоже, должно быть, приходится искупать очень обильные грехи, и гнев богов поражает их еще ужаснее, чем их предшественников у власти; мало того, что мадмуазель Рашель каждый вечер подносит им затхлые дрожжи древнего сонного напитка, — теперь им приходится глотать даже и отбросы нашей романтической кухни, кислокапустные стихи «Бургграфов» Виктора Гюго! Мне жаль и слово потратить на обсуждение достоинств этого несъедобного изделия, уснащенного всевозможными претензиями, в частности историческими, хотя все сведения

Виктора Гюго о времени и месте, где происходит действие его драмы, почерпнуты исключительно из французского перевода «Справочника для путешественников по Рейну» Шрейбера. Действительно ли этот человек, посмеявшийся в прошлом году на публичном заседании Академии сказать, что германскому гению пришел конец («la pensée allemande est rentrée dans l'ombre»¹), действительно ли этот величайший орел поэзии так мощно опередил современников? Право же, нет. Произведение его не свидетельствует ни о поэтическом богатстве, ни о гармонии, ни о вдохновении, ни о свободе духа; в нем нет даже искры гениальности — ничего, кроме надутый неестественности и пестрой декламации. Угловатые деревянные фигуры, разукрашенные безвкусной мишурой, приводимые в движение с помощью веревочки, как это видно и зрителю, жуткая кукольная комедия, безобразное, судорожное подражание действительности, насквозь фальшивые страсти. Для меня нет ничего противнее этой страстности Гюго, которая притворяется такой жгучей, великолепно огненной, а по существу так плачевно трезва и бездушна. Эта холодная страсть, которой потчуют нас в таких жутких выражениях, скорее напоминает мне жареное мороженое, столь искусно приготовляемое китайцами, которые заворачивают в тонкое тесто кусочки льда и держат несколько минут над огнем — антигезное лакомство, которое быстро надо проглатывать, причем обжигает губы и язык и простужает желудок.

Но господствующей буржуазии приходится за свои грехи не только терпеть старые классические трагедии и отнюдь не классические трилогии, — небесные силы еще послали ей в удел более ужасную художественную усладу, а именно — фортепьяно, от которого теперь уже никуда нельзя укрыться, звуки которого слышишь во всех домах, во всяком обществе, днем и ночью. Да, фортепьяно, — так называется орудие пытки, которым особенно истязуют нынешнее высшее общество в наказание за всю узурпацию. Если бы только при этом заодно не страдали и невинные! Эта вечная игра на фортепьяно прямо невыносима! (Ах! Мои соседки, юные дочери Альбиона, исполняют в эту минуту блестящий *могсеау*² для двух левых рук.) Эти

¹ Германская мысль скрылась в тени (*франц.*).

² Отрывок (*франц.*).

пронзительные, брэнчащие звуки без естественного отзвука, беспредельный шум, этот прозаический грохот и рокот, это фортепьяно убивает все наши мысли и чувства, и мы глушеем, тупеем, впадаем в идиотизм. Эта повсеместная игра на фортепьяно, а еще более — триумфальные шествия пианистов-виртуозов, характерны для нашего времени и особенно ясно свидетельствуют о победе машины над духом. Техническое совершенство, точность автомата, отождествление себя с поющим деревом, превращение человека в музыкальный инструмент ценится и восхваляется теперь, как нечто самое высшее. Как стая саранчи, в Париж каждую зиму прибывают пианисты-виртуозы, не столько ради денег, сколько для того, чтобы создать себе здесь имя, которое принесет им в других странах тем более богатую денежную жатву. Париж служит им чем-то вроде столба для наклейки афиш, где слава их напечатана огромными буквами. Я говорю: слава их напечатана, ибо о ней возвещает доверчивому миру парижская пресса и виртуозы эти с величайшей виртуозностью умеют эксплуатировать прессу и журналистов. Они умеют подступиться даже и к самому глухому, потому что человек всегда остается человеком, доступен лести, рад также играть роль покровителя, и рука руку моет; но редко самой нечистой оказывается здесь рука журналиста, и даже продажный льстец тут же превращается в обманутого дурака, которому наполовину платят ласками. Говорят о продажности прессы; это очень большое заблуждение. Наоборот, прессу обычно оставляют в дураках, и особенно в тех случаях, когда дело идет о знаменитых виртуозах. Собственно говоря, они все знамениты, судя по рекламам, которые они сами, собственной высочайшей особой или при помощи брата или мамани, проталкивают в печать. Почти не верится, до чего униженно они вымаливают в редакциях газет ничтожнейшую похвалу, как они изгибаются и извиваются. В то время, когда я еще пользовался большой благосклонностью редактора «Gazette musicale» (ах! я пренебрег ею по юношескому легкомыслию), — я мог собственными глазами наблюдать, как эти знаменитости верноподданнейше лежали у его ног, ползали перед ним и виляли хвостами, только бы их немножко похвалили в его газете; а о наших высокопрославленных виртуозах, которые во всех столицах Европы принимают дань покло-

нения, можно было бы сказать, в стиле Берамже, что на их лавровых венках еще заметна пыль от сапог Морица Шлезингера. Нельзя себе представить, как эти люди спекулируют на нашем легковерии, если не наблюдать лично их деятельности здесь, на месте. В редакции упомянутой музыкальной газеты я однажды встретил одетого в лохмотья старика, который отрекомендовался как отец знаменитого виртуоза и просил редакторов газеты напечатать рекламу, где к сведению публики сообщалось несколько благородных черт из артистической жизни его сына. Дело в том, что где-то на юге Франции этот знаменитый виртуоз дал концерт, имевший колоссальный успех, и выручкой от него поддержал грозившую падением старую готическую церковь; в другой раз он играл в пользу вдовы, потерпевшей от наводнения, или же в пользу семидесятилетнего школьного учителя, лишившегося своей единственной коровы, и т. д. Из более подробного разговора с отцом этого благодетеля человечества выяснилось, что сынок, как с полной наивностью признался старик, не делает для него того, что мог бы сделать, а подчас заставляет его и поголодать. Я посоветовал бы знаменитости дать как-нибудь концерт в пользу обветшалых штанов старика отца.

Когда насмотришься на все эти ничтожества, право, уж не станешь сердиться на шведских студентов, которые слишком резко высказались против безобразного обоготворения виртуозов и устроили известную овацию знаменитому Оле Буллиу при его прибытии в Упсалу. Прославленный муж думал уже, что из его экипажа выпрягут лошадей, ждал факельных шествий, венков, как вдруг получил порцию почетных палочных ударов, настоящий северный сюрприз.

Матадорами этого сезона были г-да Сивори и Дрейшок. Первый — скрипач, и я уже поэтому ставлю его выше второго, страшного фортепьянного колотильщика. Вообще виртуозность скрипачей не бывает в такой мере результатом механической беглости пальцев и голой техники, как виртуозность пианистов. Скрипка — инструмент, почти человечески капризный и находящийся, так сказать, в симпатическом соответствии с расположением духа скрипача: малейшее недомогание, самое легкое душевное потрясение, дуновение чувства находит здесь непосредственный отклик,

и это, верно, происходит оттого, что скрипка, так близко прижатая к нашей груди, слышит и биение нашего сердца. Но это относится только к тем художникам, у которых в груди есть бьющееся сердце, у которых вообще есть душа. Чем суше и бездушнее скрипач, тем однообразнее всегда его исполнение, и он может рассчитывать на послушание своей скрипки в любой час, в любом месте. Но ведь эта хваленая уверенность — только результат духовной ограниченности, и как раз игра величайших мастеров нередко зависела от внешних и внутренних влияний. Я никого не слышал, кто играл бы лучше, а подчас и хуже, чем Паганини, и то же самое я могу сказать в похвалу Эрнсту. Эрнст, величайший, может быть, скрипач наших дней, подобен Паганини как своими недостатками, так и своей гениальностью. Отсутствие Эрнста вызывало этой зимой большие сожаления. Сеньор Сивори был очень слабой заменой, и все же мы слушали его с большим удовольствием. Так как он родился в Генуе и, быть может, встречался с Паганини в узких улицах своего родного города, где трудно не столкнуться друг с другом, то его провозгласили здесь учеником Паганини. Нет, у Паганини не было ученика и не могло быть, ибо лучшему, что он умел, тому, что есть высшего в искусстве, нельзя ни научить, ни научиться.

Что есть высшее в искусстве? То же, что является высшим и во всех других проявлениях жизни: сознательная свобода духа. Не только на музыкальную пьесу, возникшую из полноты этого самосознания, но даже и на исполнение ее можно смотреть, как на высшее в искусстве, если мы чувствуем это чудное дуновение бесконечности; ибо оно явно свидетельствует о том, что исполнитель стоит на той же ступени высокой духовной свободы, как и композитор, что он тоже свободен. Да, это сознание свободы искусства особенно сказывается в обработке сюжета, в форме, отнюдь не в сюжете, и мы, напротив, можем утверждать, что художники, которые избирают сюжетом свободу и освобождение, — чаще всего люди с ограниченным, скованным духом, люди действительно несвободные. Это замечание находит сейчас особое подтверждение в немецкой поэзии, где самые необузданно-мятежные певцы свободы, если их рассмотреть при свете, предстанут перед нами, к нашему ужасу, большей частью лишь как ограниченные

патуры, филистеры, коса которых выглядывает из-под красного колпака, мухи-однодневки, о которых Гете сказал бы:

Мухи тощие, во рьяном,
Гордом мужестве своем,
Мошкариным дермеецом
Каплют на носы тиранам.¹

Истинно великие поэты, выражая великие интересы своего времени, никогда не пользовались такими средствами, как рифмованные газетные статьи, и их мало тревожило, что рабская толпа, грубость которой им противна, упрекала их в аристократизме.

LVI

Париж, 26 марта 1843 г.

Самыми замечательными явлениями этого сезона я назвал господ Сивори и Дрейшока. Последний стяжал величайший успех, и я сообщаю в согласии с истиной, что общественное мнение провозгласило его одним из величайших пианистов-виртуозов и поставило рядом с самыми знаменитыми. Он производил адский шум. Кажется, слышишь не одного пианиста Дрейшока, а целых три дюжины пианистов. Так как в день его концерта дул юго-западный ветер, то, пожалуй, в Аугсбурге вы могли слышать мощные звуки; на таком расстоянии действие их, наверно, приятно. Однако здесь, в департаменте Сены, легко может лошнуть барабанная перепонка, когда этот фортепьянный колотильщик загремит вовсю. Удавись, Франц Лист, ты заурадный божок в сравнении с этим богом грома, который связывает бури, точно ветви березы, и сечет ими море. Старые пианисты все больше скрываются в тени, и этим бедным, отжившим инвалидам славы теперь приходится жестоко страдать за то, что в молодости их переоценили. Лишь Калькбреннер держится еще кое-как. Этой зимой он снова выступил публично, в концерте одной из учениц; на губах его по-прежнему блестит та набальзамированная улыбка, которую мы недавно заметили также на лице египетского фараона, когда в здешнем музее развернули

¹ Перевод С. Петрова.

его мумию. После более чем двадцатипятилетнего отсутствия г-н Калькбреннер недавно снова посетил город, бывший свидетелем его первых удач, а именно Лондон, и имел там очень большой успех. Лучше всего то, что он вернулся оттуда цел и невредим, и мы теперь не смеем верить тайной легенде, будто г-н Калькбреннер так долго избегал Англию ввиду вредного законодательства этой страны, карающего петлей галантно-преступное двоеженство. Мы можем теперь считать эту легенду небылицей, ибо несомненен тот факт, что г-н Калькбреннер вернулся к своим здешним почитателям, к своим прекрасным ролям, которые он фабрикует в компании с г-ном Плейслем, к своим ученицам, из которых каждая становится его учительницей во французском смысле этого слова,¹ к своему собранию картин, которое, как он утверждает, не мог бы оплатить ни один монарх, к своему многообещающему сыну, который скромностью уже превосходит своего отца, и к почетной рыбной торговке, уступившей ему знаменитую turbot,² которая была до него заказана для своего господина главным поваром князя Беневентского, Талейрана де Перигора, бывшего епископа Отенского. Торговка долго не соглашалась уступить упомянутую рыбу знаменитому пианисту, пришедшему инкогнито на рыбный рынок, но когда он вынул свою визитную карточку, положил ее на turbot и бедная женщина прочла имя Калькбреннер, она сразу же велела отнести рыбу к нему на квартиру, и долго нельзя было убедить ее принять какую бы то ни было плату, ибо великая честь, по ее словам, уже послужила ей достаточным вознаграждением. Немецкая треска недовольна этой рыбной историей, ибо сама она не в силах так блистательно доказать свое самосознание и, кроме того, завидует элегантно осанке г-на Калькбреннера, его тонкому, изящному поведению, его лоску и слащавости, вообще его марципанному облику, который, впрочем, для спокойного наблюдателя, вследствие кой-каких невольных берлинизмов самого низшего сорта, имеет довольно мерзкий привкус, так что Корефф мог столь же остроумно, сколь

¹ Французское *maîtresse* имеет два значения: учительница и любовница.

² Камбалу (франц.).

и правильно сказать о нем: «Он имеет вид конфеты, упавшей в грязь».

Современником г-на Калькбреннера является г-н Пиксис, и хотя он ниже рангом, все же мы упомянем о нем как о курьезе. Но только жив ли еще г-н Пиксис? Сам он это утверждает и ссылается притом на свидетельство г-на Сина, знаменитого посетителя булонских морских купаний, которого нельзя смешивать с горою Синаем. Мы поверили этому храброму укротителю волн, хотя некоторые злые языки даже утверждают, будто г-н Пиксис никогда не существовал. Нет, он человек совершенно реальный; говорю: «человек», хотя зоолог дал бы ему более хвостатое название. Г-н Пиксис прибыл в Париж уже во время нашего отсутствия, в тот момент, когда Аполлон Бельведерский снова отдан был в руки римлян и должен был покинуть Париж. Приобретение г-на Пиксиса должно было явиться для французов некоторой компенсацией. Он играл на рояле, сочинял также очень миленькую музыку, и его пьески особенно ценились продавцами птиц, обучавшими канареек пению при помощи шарманки. Стоило только раз прорепетировать с этими желтыми созданиями сочинение г-на Пиксиса — и они уже сразу понимали и тут же чирикали его, так что сердце радовалось и все рукоплескало: «Пиксиссимо!» С тех пор как старшие Бурбоны сошли со сцены, больше никто уже не кричит «пиксиссимо», новые певчие птицы требуют новых мелодий. Наружность, физический облик г-на Пиксиса еще придает ему некоторую важность; дело в том, что у него самый большой нос в музыкальном мире, и г-н Пиксис, стараясь как можно резче подчеркнуть эту особенность, часто показывается в обществе сочинителя романсов, вовсе не имеющего носа и недавно получившего за это орден Почетного легиона, ибо, конечно, не за музыку г-ну Пансерону дали эту награду. Говорят, его должны назначить и директором Большой оперы, так как именно он — единственный человек, о котором нечего беспокоиться, что маэстро Джакомо Мейербер сможет водить его за нос.

Г-н Герц, подобно Калькбреннеру и Пиксису, принадлежит к числу мумий; он блистает еще только благодаря своему прекрасному концертному залу, он давно уже умер, а на днях еще и женился. К пианистам, которые поселились здесь и которым сейчас больше всего везет, принадлежат

Халле и Эдуард Вольф; но мы особенно отметим лишь последнего, ибо он проявил себя и как композитор. Эдуард Вольф плодовит и полон воодушевления. Стефан Хеллер более композитор, нежели виртуоз, хотя он и как пианист пользуется большим уважением. Его музыкальные произведения все отмечены печатью выдающегося таланта, и уже сейчас он принадлежит к большим мастерам. Он настоящий артист, чуждый аффектации, чуждый преувеличения, романтический дух в классической форме! Тальберг уже два месяца в Париже, но не хочет дать концерт; играть он будет на этой неделе только в концерте одного из своих друзей. От коллег по роялю этот артист выгодно отличается своим, как я сказал бы, музыкальным поведением. Как в жизни, так и в своем искусстве Тальберг проявляет врожденный такт; игра его такая джентльменская, она так богата, так благопристойна, так чужда всяких гримас, так чужда надутого гениальничанья, так чужда глупой хвастливости, которая плохо прикрывает внутреннюю робость. Здоровые женщины любят его. Женщины болезненные не менее благосклонны к нему, хотя он не вызывает их сострадания эпилептическими припадками на фортепьяно, хотя он не спекулирует на их слабых, возбужденных нервах, хотя он и не электризует и не гальванизирует их, — отрицательные, но прекрасные качества. Есть только один пианист, которому я отдал бы предпочтение, — это Шопен; он, однако, в большей мере является композитором, чем виртуозом. Слушая Шопена, я совсем забываю о мастерстве его игры и погружаюсь в сладостные бездны его музыки, томительную прелесть его произведений, таких же глубоких, как и нежных. Шопен — великий, гениальный композитор, которого в сущности надо было бы упоминать только рядом с Моцартом, или Бетховеном, или Россини.

На сценах так называемых лирических театров этой зимой не было недостатка в новинках. Буффы показали нам «Дон Пасквале», новую оперу синьора Донницетти. Этот итальянец тоже не может пожаловаться на неуспех, талант его велик, но еще больше его плодовитость, в которой он уступает только кроликам. В Комической опере мы видели «La part du diable»,¹ текст Скриба, музыка

¹ «Доля дьявола» (франц.).

Обера; поэт и композитор прекрасно подходят друг к другу и поразительно напоминают друг друга как своими достоинствами, так и недостатками. У обоих много остроумия, много грации, много изобретательности, даже страсти; одному из них недостает только поэзии, как другому недостает только музыки. Опера нашла своих слушателей и собирает всегда полный зал.

В Académie royale de musique, в Большой опере, на днях давали «Карла VI» — текст Казимира Делавиня, музыка Галеви. И здесь также мы замечаем родственное сходство между поэтом и композитором. Оба они сумели путем добросовестных, благородных усилий возвысить свое природное дарование и развились как художники скорее благодаря внешней выучке, чем благодаря внутренней оригинальности. Поэтому произведения их никогда не бывали совершенно плохи, как это иногда случается с самостоятельными дарованиями; они всегда создавали нечто приятное, нечто красивое, нечто достойное уважения, академическое, классическое. Оба притом — одинаково благородные натуры, достойные люди, и в такое время, когда золото скверно прячется, не следует пренебрежительно отзываться о серебре, которое находится в обращении. За это время потерпел печальное крушение «Летучий голландец» Дича; я не слышал этой оперы, мне только попало ее либретто, и я с отращением увидел, как испорчено во французском тексте прекрасное предание, которое известный немецкий писатель (Г. Гейне) совсем было приспособил для сцены.

В качестве добросовестного корреспондента я должен отметить, что среди немецких соотечественников, пребывающих здесь, находится и превосходный композитор Конрадин Крейцер. Конрадин Крейцер достиг здесь почетной известности благодаря «Ночлегу в Гренаде», который давала в своих спектаклях голодной памяти немецкая труппа. Этот уважаемый композитор был мне знаком уже в дни ранней юности, когда меня приводили в восхищение его песни; еще и сейчас они звучат в моем сердце, словно поющие леса, полные рыдающих соловьев и цветущей радости весны. Г-н Крейцер говорил мне, что будет для Комической оперы писать музыку на имеющееся уже либретто. Желаю ему не споткнуться на этой опасной дороге и чтобы

лукавые *roués*¹ мира парижских комедиантов не оставили его в дураках, как это случалось до него со столькими немцами, которые даже имели то преимущество, что у них было меньше таланта, нежели у г-на Крейцера, и которые во всяком случае с большим проворством двигались по парижскому паркету. Как печален был опыт Рихарда Вагнера, который, наконец, повинувшись внушениям рас-судка и желудка, благоразумно отказался от опасного проекта обосноваться на французской сцене и перелетел обратно, в немецкий картофельный край. Более благо-приятно в материальном и профессиональном отношении устроился старый Дессауэр, сочиняющий, как он утвер-ждает, оперу по поручению дирекции Компической оперы. Текст напишет г-н Скриб, которому один из здешних бан-кирских домов предварительно поручился, что в случае возможного провала старого Дессауэра ему, знаменитому фабриканту либретто, будет уплачена значительная сум-ма в виде отступного или неустойки. Он в самом деле прав, если принимает меры предосторожности, потому что ста-рый Дессауэр, как он сам хнычет об этом, страдает «мелан-коликкой». Но кто же такой старый Дессауэр? Это же не может быть тот старый Дессауэр, который в Семилетней войне стяжал столько лавров, марш которого стал так знаменит и статуя которого стояла в берлинском дворцо-вом саду, а потом обрушилась! Нет, дорогой читатель! Дессауэр, о котором мы говорим, никогда не стяжал лав-ров, не писал он и знаменитых маршей, и не ставили ему статуи, которая обрушилась. Он — не прусский старый Дессауэр, и это имя только *nom de guerre*, или, скорее, насмешливая кличка, которую он заслужил своим стар-чески согбенным, скрюченным, плачевным обликом. Он старый, плохо сохранившийся юноша. Он не из Дессау — напротив, он из Праги, где у него два больших опрятных дома в еврейском квартале; говорят, у него и в Вене есть дом и вообще большое состояние. Ему, таким образом, нет нужды сочинять, как сказала бы старуха Моссон, но из любви к искусству он пренебрег своими торговыми делами, занялся музыкой и уже в молодые годы сочинил оперу, которая из-за его благородного упорства попала на сцену и пережила полтора представления. В Вене, так же

¹ Плуты (*франц.*).

как и в Праге, старый Дессауэр старался проявить свои таланты, по клика, поклоняющаяся Моцарту, Бетховену и Шуберту, не дала ему ходу; его не поняли, что вполне естественно, хотя бы из-за его бесстолкового жаргона и какого-то гнусавого произношения немецких слов, напоминающего гнилые яйца. А может быть, его и поняли, и как раз поэтому-то не захотели слышать о нем. К тому же он страдал геморроем, нарушением мочеиспускания и заболел, как он выражается, «меланколикой». Чтобы развлечься, он отправился в Париж и заслужил здесь благосклонность Морица Шлезингера, который взялся издать его песенные композиции; в виде гонорара он получил от него золотые часы. Когда, спустя некоторое время, старый Дессауэр явился к своему благодетелю и сказал ему, что часы не идут, тот ответил: «Не идут? Разве я говорил, что они будут идти? Разве ваши сочинения идут? У меня с вашими сочинениями происходит то же, что у вас с моими часами: они не идут». Такие слова изрек властитель композиторов Мориц Шлезингер, дергая кверху свой галстук и теребя его, точно он стал ему вдруг слишком тесен, как он обычно делает, когда волнуется, ибо, подобно всем великим мужам, он очень легко приходит в возбуждение. Говорят, это злое подергивание и верчение галстука предшествует у него серьезнейшим вспышкам гнева, и бедный старый Дессауэр так смутился, что «меланколика» мучила его в тот день больше, чем когда бы то ни было. Благородный покровитель был к нему несправедлив. Не он виноват в том, что песни его не пошли; он делал все возможное, чтобы пустить их в ход. Ради этого он все время, с утра до вечера, находится в движении и бегаёт теперь за всяким, кто мог бы посредством газетной рекламы пустить его песни в ход. Словно репейник, цепляется он за сюртук всякого журналиста и постоянно хнычет о своей «меланколике» и о том, как крошечка похвалы могла бы обрадовать его большую душу. Фельетонистов менее состоятельных, работающих в маленьких газетах, он пытается приманить другими способами, например рассказывая, как на днях он в «Café de Paris»¹ угощал редактора одной газетки завтраком, который обошелся ему в сорок пять франков десять су, и действительно, в кармане брюк он постоянно

¹ «Парижском кафе» (франц.).

посит *carte payante*, счет этого завтрака, чтобы можно было предъявить его в виде доказательства. Да, гневный Шлезингер несправедлив к старому Дессауэру, полагая, будто он испробовал не все средства, чтобы пустить в ход свои сочинения. Ради этой цели бедняга пытался расшевелить не только мужские, но и женские гусиные перья. Он даже разыскал старую отечественную гусыню, которая из жалости написала для него на самом сентиментально-тошнотворном французском языке несколько хвалебных реклам и постаралась печатным, так сказать, бальзамом утолить его «меланколику». Мы тем более должны похвалить почтенную личность, что только чистое человеколюбие, филантропия были замешаны здесь, ибо старый Дессауэр вряд ли способен подкупить женщину красотой своего лица. Мнения об этом лице различны; одни говорят, что оно — рвотное, другие, что оно — слабительное. Достоверно одно, что при виде его я всегда бывал удручен этой роковой дилеммой и не знаю, какого мнения мне следует держаться. Старый Дессауэр захотел показать здешней публике, что, вопреки толкам, лицо его не самое ужасное на свете. С этой целью он нарочно выписал сюда из Праги младшего брата, и этот прекрасный юноша, подобный Адонису парши, теперь сопровождает его всюду в Париже.

Прости, дорогой читатель, что я занимаю тебя беседой о таких навозных мухах; но их назойливое жужжание может, наконец, даже и самого терпеливого довести до того, что он схватит хлопущку. А к тому же я хотел здесь показать, каких навозных жуков наши почтенные музыкальные издатели почитают немецкими соловьями, последователями, даже соперниками Шуберта. Популярность Шуберта очень велика в Париже, и его именем злоупотребляют самым бесстыдным образом. Жалчайший песенный хлам появляется здесь под вымышленным именем — Камилл Шуберт, и французы, которые, конечно, не знают, что имя настоящего композитора было Франц, впадают, таким образом, в заблуждение. Бедный Шуберт! А что за тексты подсовываются к этой музыке! Здесь самые любимые песни Шуберта — те, что написаны на слова Генриха Гейне, но тексты переведены так ужасно, что автор был искренне рад, узнав про бессовестность музыкальных издателей, которые умалчивают об истинном авторе и ставят на заглавном листе этих песен имя какого-нибудь бесцветного либ-

регистра. Может быть, это делалось даже из хитрости, чтобы не напоминать о *droits d'auteur*.¹ Здесь, во Франции, эти права предоставляют автору песни, положенной на музыку, половину гонорара. Если бы эта мода была введена в Германии, то некий поэт, чью «Книгу песен» уже двадцать лет эксплуатируют все немецкие музыкальные издатели, когда-нибудь услышал бы от этих людей по крайней мере хоть слово благодарности. Но из многих сотен его песен, которые появились в Германии в качестве вокальных произведений, ему не прислали ни одного бесплатного экземпляра! Пусть бы и для Германии наступил час, когда духовная собственность писателя будет признаваться так же серьезно, как хлопчатобумажная собственность фабриканта ночных колпаков. Но на поэтов у нас смотрят как на соловьев: они бесправны, они вне закона!

Хочу закончить эту статью добрым делом. Как я слышал, г-н Шиндлер в Кельне, где он состоит капельмейстером, весьма огорчен тем, что в одной из моих корреспонденций я очень презрительно говорил о его белом галстуке, а насчет его самого утверждал, будто на его визитных карточках к фамилии прибавлены слова: *ami de Beethoven*. Последнее он отрицает. Что до галстука, то все сказанное — сущая правда, и я никогда не видал такого страшно белого и накрахмаленного чудовища; но относительно визитной карточки я из человеколюбия должен сознаться, что сомневаюсь сам, действительно ли на ней были напечатаны эти слова. Я не выдумал эту историю, но слишком, может быть, поспешно поверил ей, ибо на свете правдоподобие всегда важнее, чем сама правда. Первое свидетельство о том, что мы считали человека способным на такую глупость, и дает нам мерило его истинных свойств, тогда как действительный факт сам по себе может быть лишь случайностью, лишней характеризующего значения. Я не видел упомянутой карточки; зато на днях я собственными телесными очами видел визитную карточку плохого итальянского певца, который под своим именем напечатал: «*neveu de Mr. Rubini*».²

¹ Авторских правах (*франц.*).

² Племянник г-на Рубини (*франц.*).

Париж, 5 мая 1843 г.

Настоящая политика живет сейчас уединенно в своем особняке на бульваре Капуцинов. Меж тем злободневными стали вопросы промышленности и искусства, и спорят сейчас о том, чему следует покровительствовать — сахарному тростнику или свекловице; что лучше — предоставить северную железную дорогу частной компании или построить ее целиком на государственные средства; оправится ли классическая поэзия после успеха «Лукреции»; имена, чаще всего повторяемые сейчас, — Ротшильд и Понсар.

Следствие о выборах является маленькой интермедией в палате. Объемистый доклад об этом прискорбном деле содержит весьма удивительные детали. Автор его — некий Ланье, с которым двенадцать лет тому назад я познакомился как с крайне нескусным врачом у его единственного пациента и который с тех пор, ко благу человечества, оставил посох Эскулапа. Как только следствие будет окончено, начнутся прения по сахарному вопросу, причем г-н де Ламартин будет защищать интересы колониальной торговли и французского флота против мелочного духа торгашества. Противники сахарного тростника — это либо корыстолюбивые промышленники, которые судят о благе Франции с точки зрения своей лавочки, либо старые, отжившие бонапартисты, которые с каким-то благоговением соблюдают верность свекловице, любимой идее императора. Старцы эти, умственно не двигавшиеся с 1814 года, составляют всегда печально-комическую параллель к нашим зарейнским старым германолобам, и подобно тому, как некогда последние бредили только германскими дубами да кофе из желудей, так первые бредят только gloire¹ и свекловичным сахаром. Но время с неудержимой быстротой, на дымящихся паровозах, несется вперед, и мы скоро потеряем из виду изношенных героев прошлого, старых калек, представителей национальной обособленности, инвалидов и неизлечимо больных.

Открытие двух новых железных дорог — Орлеанской и Руанской — вызывает здесь волнение, которое испытывает всякий, если только он не живет в социальном изо-

¹ Славой (франц.).

ляторё. В эту минуту все население Парижа как бы составляет одну цепь, где один сообщает другому электрический удар. Но в то время как толпа, смущенная и ошеломленная, смотрит на внешнее проявление великих движущих сил, мыслителем овладевает злоеущий ужас, испытываемый всегда, когда совершается самое невероятное, самое слышанное, а последствий нельзя ни предвидеть, ни рассчитывать. Мы замечаем только, что все наше бытие направлено мощным толчком по новым путям, что нас ожидают новые отношения, радости и нужды, и неведомое очаровывает нас своей жуткой прелестью, маня и вместе с тем пугая. Должно быть, такое чувство испытывали наши отцы, когда была открыта Америка, когда изобретение пороха заявило о себе первыми выстрелами, когда книгопечатание послало миру первые пробные листы божественного слова. Железные дороги — тоже такое провиденциальное событие, оно дает человечеству новое устройство, оно меняет окраску и формы жизни; начинается новый период всемирной истории, и наше поколение может похвалиться тем, что присутствовало при этом. Какие перемены должны теперь наступить в наших воззрениях и наших представлениях! Поколебались даже основные понятия о времени и пространстве. Железные дороги убивают пространство, и теперь нам остается еще только время. Если бы у нас было достаточно денег, чтобы пристойным образом убивать и время! В четыре с половиной часа доезжаешь теперь до Орлеана, за столько же часов — до Руана. А что будет, когда закончится постройка линий, ведущих в Бельгию и в Германию, и когда они будут соединены с тамошними дорогами! Мне чудится, будто горы и леса всех стран придвинулись к Парижу. Уже я слышу запах немецких лип, у моих дверей шумит Северное море.

Не только для постройки Северной железной дороги, но также и для сооружения многих других линий образовались большие компании, печатными циркулярами приглашающие публику к участию. Каждая выпускает проспект, и в заголовке его огромными цифрами щеголяет капитал, который должен покрыть издержки предприятия. Он обычно составляет пятьдесят, сто, даже несколько сот миллионов франков; по истечении срока, определенного для подписки, прием акционеров прекратится; говорится также, что в случае, если основной капитал составится ранее

этого срока, подписка будет полностью прекращена. Столь же колоссальными буквами напечатаны вверху этих проспектов имена лиц, образующих *comité de surveillance*¹ компании; это не только имена финансистов, банкиров, *releveurs généraux*,² промышленников и фабрикантов, но также имена высоких сановников, принцев, герцогов, маркизов, правда имена, неизвестные большей частью, но столь пышно звучащие благодаря официальным и феодальным титулам, что кажется, будто слышишь трубные звуки, которыми паяц, стоя на балконе балагана, приглашает почтенную публику войти внутрь. *On ne paie qu'en entrant.*³ Кто бы не поверил такому *comité de surveillance*, который, однако, отнюдь не обещает гарантии солидарности, как полагают многие, но фигурирует лишь в качестве карнатиды! Я высказал одному из моих друзей удивление по поводу того, что в числе членов комитета находятся также морские офицеры и что даже на многих циркулярных проспектах в качестве председателей компании названы адмиралы. Так, например, я видел имя адмирала Розамеля — имя, которым названа вся компания и даже ее акции. Мой друг, человек очень смешливый, решил, что это привлечение к участию морских офицеров — весьма умная мера предосторожности со стороны компании на тот случай, если бы она пришла в роковое столкновение с правосудием и суд присяжных приговорил ее к каторге; в этом случае члены компании всегда имели бы при себе какого-нибудь адмирала, что могло бы быть полезно для них в Тулоне или Бресте, где много приходится работать веслами. Мой друг заблуждается. Этим людям нечего бояться, что им придется взяться за весла в Тулоне или Бресте; не весла, а руль, и притом совсем другого рода, выпадет когда-нибудь, или отчасти уже и выпал, им на долю: это руль государственный, которым правящая денежная аристократия с каждым днем овладевает все в большей и в большей мере. Люди эти вскоре образуют не только *comité de surveillance* железнодорожной компании, но также и *comité de surveillance* всего нашего гражданского общества, и это они будут ссылать нас в Тулон или Брест.

¹ Комитет надзора (*франц.*).

² Главных сборщиков налогов (*франц.*).

³ Платят только при входе (*франц.*).

Дом Ротшильда, который испрашивает концессию на Северную железную дорогу и, по всей вероятности, ее получит, не есть собственно акционерная компания, и доля в предприятии, которую этот дом предоставляет отдельным лицам, является милостью и даже, выражаясь совершенно точно, денежным подарком, который г-н фон Ротшильд делает своим друзьям. Случайные акции, так называемые промессы дома Ротшильда, стоят уже на несколько сот франков выше паритета, и тот, кто ввиду этого стремится получить у барона Джеймса Ротшильда эти акции по паритету, просит милостыню в полном смысле слова. Но весь свет сейчас просит у него милостыню, просительные письма льются дождем, а так как достойный пример подают лица самые знатные, то просить милостыню уже не считается чем-то постыдным. Поэтому г-н фон Ротшильд — герой дня, и вообще в истории нашей теперешней нищеты он играет такую большую роль, что мне придется говорить о нем часто и с возможно большей серьезностью. Он в самом деле замечательная личность. Я не могу судить о его финансовом даровании, но, исходя из результатов, оно должно быть очень велико. Свообразной способностью в нем является дар наблюдения или инстинкт, которым он умест если не оценивать, то выискивать способности других людей в какой угодно сфере. Благодаря этому дару его сравнивали с Людовиком XIV; и действительно, в противоположность своим коллегам, которые любят окружать себя генеральным штабом посредственностей, г-н Джеймс фон Ротшильд всегда находится в самом близком общении с знаменитостями любой сферы; даже если сама специальность была ему совершенно незнакома, все же он всегда знал, кто в ней самый главный. Он, быть может, не знает ни одной музыкальной ноты, но в России был у него всегда другом дома; Ари Шеффер — его придворный живописец; Каррем был его поваром. Г-н фон Ротшильд, наверно, не знает ни одного слова по-гречески, но ученый, которого он больше всего ценит, — эллинист Летрон. Его лейб-медиком был гениальный Дюпонтрен, и обоих соединяла самая братская симпатия. Г-н фон Ротшильд давно уже понял достоинства Кремье, великого юриста, которому предстоит великая будущность, и нашел в нем верного защитника. Также с самого начала оценил он и политические способности Луп-Филиппа и всегда был на короткой ноге с этим

гроссмейстером политики. Эмиля Перейра, этого pontifex maximus¹ железных дорог, открыл именно г-н фон Ротшильд: он сразу же сделал его первым инженером и с его помощью основал Версальскую железную дорогу. Поэзия, как французская, так и немецкая, в лице своих весьма достойных представителей, тоже пользуется расположением г-на фон Ротшильда; все же мне кажется, что роль здесь играет только милая любезность и что нашими живыми поэтами господин барон восхищается не так пламенно, как великими покойниками, например Гомером, Софоклом, Данте, Сервантесом, Шекспиром, Гете, умершими поэтами, просветленными гениями, которые, очистившись от всякой земной скверны, избавлены от житейских бедствий и не требуют акций Северной железной дороги.

Звезда Ротшильда сейчас — в зените своего блеска. Не знаю, может быть я виновен в недостаточном благоговении, назвав г-на фон Ротшильда только звездой. Но он на меня не рассердится за это, как тот, другой, Людовик XIV, которого однажды разгневал бедный поэт, имевший дерзость сравнить его со звездой — его, который привык, чтоб его называли только солнцем, и который даже избрал это светило своей официальной эмблемой!

Все же, чтобы не промахнуться, я сегодня сравню г-на фон Ротшильда с солнцем; во-первых, это мне ничего не стоит, и, к тому же, я действительно имею на это полное право — теперь, когда всякий поклоняется ему, стремясь согреться его золотыми лучами. Между нами будь сказано, это figur² поклонения — великая мука для бедного солнца, и нет ему покоя от его поклонников, среди которых многие, право же, недостойны того, чтобы солнце на них светило; эти фарисей-псалмопевцы громче всех восхваляют и прославляют его, и бедный барон подвергается такой страшной нравственной пытке и таким преследованиям, что невольно пожалеешь его. Вообще я думаю, что деньги для него — скорее несчастье, чем счастье; будь он менее мягок по природе, ему приходилось бы терпеть меньше неприятностей, но, будучи добродушным, кротким человеком, он должен сильно страдать от натиска всей той нищеты, бедствия которой он обязан смягчить,

¹ Верховного жреца (лат.).

² Неистовство (лат.).

от притязаний, которые постоянно предъявляются к нему, и от неблагодарности, сопровождающей каждое его благодеяние. Быть может, избыток богатства переносить труднее, чем бедность. Всякому, кто терпит острую нужду в деньгах, я советую идти к г-пу фон Ротшильду не для того, чтобы брать у него займы (ибо я сомневаюсь, чтобы можно было много получить), но чтобы утешиться видом этого денежного страдания. Бедняк, имеющий слишком мало и не знающий, как помочь горю, убедится, что есть человек, который еще больше страдает от того, что у него слишком много денег, что все деньги мира стеклись в его космополитический гигантский карман и что он должен таскать с собой такое бремя, а тут еще огромная толпа голодных и воров со всех сторон простирает к нему руки. И какие ужасные и опасные руки! «Как поживаете?» — спросил однажды господина барона один немецкий поэт. «Я с ума схожу», — ответил барон. «Пока вы не станете бросать деньги за окно, я этому не поверю», — сказал поэт. Но барон, вздохнув, перебил его: «В том ведь и заключается мое сумасшествие, что иногда я не выбрасываю денег за окно».

Как несчастны богатые в здешней жизни, — а ведь после смерти они и на небо не могут попасть! «Скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем богач войдет в царствие небесное»; эти слова божественного коммуниста — страшная анафема: они свидетельствуют о его горькой ненависти к бирже и haute finance ¹ Иерусалима. Мир полон филантропов, есть общества защиты животных, и для бедных действительно делается очень много. Но для богачей, которые гораздо несчастнее, не делается ничего. Вместо того чтобы объявлять конкурсы на сочинения о шелководстве, корме для скота и Кантовой философии, наши ученые общества должны были бы назначить большую премию за разрешение вопроса: как продеть верблюда сквозь игольное ушко? Пока не будет разрешен этот великий верблюжий вопрос и у богатых не появится надежда на вход в царствие небесное, до тех пор и помощь бедным не будет иметь прочного основания. Богатые были бы менее жестокосердны, если бы они рассчитывали не только на земное счастье и не должны были завидовать бедным, которые

¹ Высшим финансовым кругам (франц.).

некогда будут наслаждаться там, *in floribus*,¹ жизнью вечной. Они говорят: «Зачем нам здесь, на земле, стараться ради этого нищего сброда, если некогда ему будет житься лучше, чем нам, и если мы во всяком случае не встретимся с ним после смерти?» Если бы богатые знали, что там, наверху, им снова придется жить с нами вместе, то, конечно, они здесь, на земле, немножко постеснялись бы и избегали бы слишком плохо обращаться с нами. Поэтому дайте нам прежде всего разрешить великий верблюжий вопрос.

Богатые жестокосердны, это правда. Жестокосердны они даже в отношении к своим прежним коллегам, пришедшим в унадок. Недавно я тут встретил бедного Августа Лео, и сердце мое облилось кровью при виде этого человека, который прежде находился в таких близких отношениях к главам биржи, с аристократней спекулянтов и даже сам был банкиром. Но скажите мне, вы, могущественные господа, что заставило вас с таким позором вытолкнуть из вашей общины бедного Лео? Я имею в виду общину не иудейскую, а финансовую. Да, с некоторых пор этот несчастный впал в такую немилость у своих сотоварищей, что его, как проклятого, отстраняют от всех порядочных предприятий — то есть всех предприятий, где можно порядочно заработать. От последнего займа ему тоже ничего не досталось, а от участия в новых железнодорожных предприятиях он должен был совершенно отказаться, с тех пор как на Версальской дороге *give gauche* он потерпел столь плачевное поражение и ввел своих компаньонов в такие страшные убытки. Никто теперь не хочет и знать о нем, все отталкивают его, и даже его единственный друг (который, замечу кстати, всегда терпеть его не мог), даже его Ионафан, маклер Лойзедорф, покинул его и неустанно бегаёт теперь за бароном Мекленбургом и чуть ли не залезает под полы его сюртука. Замечу также мимоходом, что упомянутый барон Мекленбург, один из наших ревностнейших спекулянтов и промышленников, отнюдь не еврей, как обычно полагают вследствие того, что смешивают его с Авраамом Мекленбургом, или оттого, что видят его в кругу сильных из рода Израилева, среди биржевого сброда, который собирается вокруг него, так как очень его любит. Эти люди,

¹ В расцвете (*лат.*).

как видим, вовсе не религиозные фанатики, и их раздражение против бедного Лео нельзя, следовательно, приписывать религиозной нетерпимости; они не сердятся на него за отступничество от прекрасной иудейской веры, и только с состраданием пожимают плечами, видя, как плохи религиозно-финансовые дела бедного Лео, который исправляет теперь должность старосты в протестантской церкви на Рю де Биллет, — должность, конечно, очень важную и почетную, но ведь такой человек, как Август Лео, и в синагоге достиг бы со временем больших почестей; быть может, при совершении обряда обрезания его руками доверяли бы дитя, которому срезают крайнюю плоть, или ножичек, которым пользуются для этого; или же при чтении торы стали бы осыпать его драгоценнейшими украшениями; или даже, ввиду его музыкальности и особой склонности к церковной музыке, ему, пожалуй, в еврейский Новый год выпадало бы на долю трубить в шофар — священный рог. Нет, он не жертва религиозного или нравственного возмущения упрямых фарисеев, не в сердечных недостатках обвиняют бедного Лео, но в арифметических ошибках, а утрату миллионов не прощает и христианин. Но жальтесь же, наконец, над бедным неудачником, над павшим величием, будьте снова милостивы к нему, позвольте ему снова участвовать в хорошем дельце, дайте ему снова маленький барыш, который усладил бы его разбитое сердце, date obolum Belisario — дайте обол Велизарию, который, правда, не был великим полководцем, а был слепцом и ни разу не дал обода нуждающемуся!

Есть и патристические причины, заставляющие желать сохранения бедного Лео. Оскорбленное самолюбие и крупные убытки, как я слышу, побуждают этого некогда столь состоятельного человека оставить дорогой Париж и удалиться в деревню, где он сможет, как Цинциннат, питаться капустой, взращенной им самим, или как некогда Навуходоносор, пастись на собственных лугах. А это было бы большой потерей для немецко-земляков. Потому что все немецкие путешественники второго и третьего ранга, прибывавшие к нам в Париж, находили в доме г-на Лео радушный прием, и те из них, которым становилось не по себе в морозном мире французов, могли укрыть в этом доме свое немецкое сердце и в общении с сединомышлен-

ными душами чувствовать себя, как на родине. В холодные зимние вечера они находили здесь чашку теплого чая, приготовленного несколько гомеопатическим способом, но не вовсе без сахара. Здесь они видели г-на фон Гумбольдта *in effigie*: он висел на стене в качестве приманки. Здесь они видели Назенштерна в натуре. Здесь можно было встретить и одну немецкую графиню. Сюда являлись и знатнейшие дипломаты из всяких медвежьих углов со своими медвежеватыми супругами. Порой здесь можно было слышать самых выдающихся пианистов и скрипачей, рекомендованных дому Лео продавцами человеческих душ и позволяющих эксплуатировать на этих вечерах свои музыкальные таланты. Немца приветствовали здесь сладостные звуки языка матерей, даже бабушек. Дialect гамбургского Дреквала отличался здесь наибольшей чистотой произношения, и у того, кто внимал этим классическим звукам, на душе становилось так, как будто он вновь вдыхает аромат переулочков Менкедамма. Если же еще пелась и «Аделаида» Бетховена, то лились сентиментальнейшие слезы! Да, этот дом был оазис, оазис-клоазис немецкой душевности в песчаной пустыне французского разума; он был скинией интимнейших сплетен, где судачили, как на берегах Майна, где стоял трезвон, как в стенах священного града Кельна, и где к отечественным сплетням давали иногда в придачу, ради освежения, стакан пива... Немецкое сердце, чего же тебе еще надо? Было бы страх как обидно, если б закрылась эта лавочка сплетен,

LVIII

Париж, 6 мая 1843 г.

Драгоценное время тратится легкомысленно. Говоря: «драгоценное время», я подразумеваю годы мира, которые гарантирует нам царствование Луи-Филиппа. Жизнь его — нить, на которой висит спокойствие Франции, а человек этот стар, и ножницы Парки неумолимы. Вместо того чтобы пользоваться этим временем и распутывать клубок внутренних и внешних недоразумений, здесь стараются еще усилить затруднения и путаницу. Всюду нарумяненная комедия и закулисные интриги. Из-за

этой мелочности Франция действительно может оказаться на краю бездны. Флюгера полагаются на свой знаменитый дар разностороннего движения; они не боятся самых злых бурь, так как всегда умели поворачиваться в ту сторону, куда дует ветер. Да, ветер не может вас сломить, потому что вы еще подвижнее ветра. Но вы забываете, что, несмотря на эту ветреную переменчивость, вы все же самым жалким образом свалитесь с вашей вышины, когда рухнет башня, на вершине которой вы стоите! Упасть вам придется вместе с Францией, башня эта уже подкопана, а на севере живут злобные творцы непогоды. Сейчас шаманы на берегах Невы не находятся в экстазе и не занимаются заклинанием бурь. Но тут все зависит от прихоти, от неограниченной прихоти самодержавного произвола. Со смертью Луи-Филиппа, как я сказал, исчезнет всякая гарантия мира; этот великий чародей скывает бури своей терпеливой рассудительностью. Кто хочет мирно спать, должен в молитве на сон грядущий поручать короля Франции всем ангелам-хранителям жизни.

Гизо продержится еще некоторое время, что, конечно, желательно, так как правительственный кризис связан всегда с непредвиденными бедами. Смена министра у непостоянных французов служит, быть может, суррогатом периодических перемен династии. Но эти перемены в личном составе высших государственных чинов тем не менее несчастье для страны, которая, больше чем всякая другая, нуждается в равновесии. Вследствие непрочности своего положения министры не могут пускаться в осуществление обширных планов, и все их силы поглощает только жажда самосохранения. Их величайшее несчастье — не столько зависимость от королевской воли, которая большей частью благоразумна и благотворна, сколько зависимость от так называемых консерваторов, этих конституционных янычар, которые по своей прихоти назначают и смещают министров. Если министр возбудил их немилость, они собираются в своих парламентских ортах и начинают колотить по своим кастрюлям. Впрочем, немилость этих людей, в самом деле, вызывается обычно супнокастриальными интересами: именно они и правят Францией, и ни один министр не смеет им ни в чем отказать — ни в должности, ни в льготе, ни в месте консула

для старшего сына зятя одного из этих господ, ни в привилегии на табачную торговлю для вдовы их швейцара. Неправильно рассуждает тот, кто говорит о господстве буржуазии вообще, — следовало бы говорить только о господстве консервативных депутатов; они-то и эксплуатируют нынешнюю Францию в своих частных интересах, как некогда эксплуатировало ее родовое дворянство. От консервативной партии оно отнюдь не ограничено резкой чертой, и не одно древнее имя встречается нам среди сегодняшних парламентских властителей. Но название «консерватор» тоже, собственно, не служит правильным обозначением, так как, разумеется, далеко не все те, которых мы называем этим именем, заботятся о сохранении существующего политического строя, и многие из них очень хотели бы немножко поколебать его, подобно тому, как среди оппозиции есть много лиц, ни за что на свете не желающих падения существующего строя и полных смертельного страха перед войной. Большинство этих деятелей оппозиции хочет только одного — добиться власти для своей партии, чтобы так же, как консерваторы, в личных интересах эксплуатировать власть. И с той и с другой стороны принципы являются только лозунгами без всякого значения; в сущности дело идет здесь лишь о том, которая из этих двух сторон приобретает материальные выгоды господства. В этом смысле мы видим здесь такую же борьбу, какая по ту сторону пролива тянется уже два века и называется борьбой вигов с ториями.

Английская конституционная форма правления являлась, как всем известно, великим образцом, послужившим для образования теперешнего парламентского строя во Франции; доктринеры, доходившие до педантизма, особенно старались подражать этому образцу. Не лишено правдоподобия предположение, что слишком большая уступчивость, позволяющая нынешнему правительству терпеть захваты, совершаемые консерваторами, и подвергаться эксплуатации с их стороны, в конечном итоге коренится в ученой основательности, которая точнейшим образом может быть засвидетельствована богатым запасом знаний, приобретенных большим трудом. Господин профессор от 29 октября, которого оппозиция именует этой датой, лучше всякого другого знаком с механизмом английской государственной машины. И если он полагает, что и по эту

сторону пролива подобная машина может действовать лишь с помощью тех безнравственных средств, в применении которых Валполь явился таким мастером, да и Роберт Пиль тоже был не дурак, то, конечно, этот взгляд весьма заслуживает сожаления, но мы не можем его опровергнуть с достаточной научностью и достаточным знанием истории. Мы должны сказать, что сама машина никуда не годится, но если на это утверждение у нас не хватает храбрости, то мы не можем подвергать слишком суровой критике управляющего ею механика. Да и к чему, в конце концов, была бы эта критика? Что пользы корить в Аугсбурге, когда грешат на Сене? Оппозиция иностранца в иностранных газетах была бы бахвальством, столь же неприличным, сколь и глупым, когда речь идет о несовершенствах внутреннего управления Франции. Не внутреннюю деятельность администрации, а только те политические факты, которые могут иметь влияние на наше собственное отечество, — вот что должен обсуждать корреспондент. Поэтому я не стану ни подвергать рассмотрению, ни оправдывать современную испорченность, систему подкупов, которая моим немецким коллегам служит поводом для заполнения стольких газетных столбцов. Какое нам дело, кто во Франции прокрадывается тайком к самым лучшим местам, к самым жирным синескурам, к самым пышным орденам или же силой завладевает ими? Что нам за дело, кто засовывает в свой карман золотые кишки бюджета, — мошенник левый или мошенник правый? Наше дело — забиться только о том, чтобы в собственном нашем отечестве, в тех случаях, когда надо будет защищать интересы немецкого народа и подавать голос, наши отечественные тори или виги не могли подкупить нас никакими должностями, никакими титулами, никакими ленточками. С какой стати нам так громко вопить теперь по поводу сучка, замеченного во французском глазу, когда мы вовсе не смеем или только втихомолку решаемся высказываться о бревнах в голубых глазах наших немецких властей? Да и кто может судить в Германии, достоин ли француз мест и почестей, предложенных ему французским правительством, или же недостойн? Охота за должностями не прекратится и в случае прихода к власти Тьера или Барро после падения Гизо. Даже если у власти станут республиканцы, испорченность не исчезнет — она будет являться

под покровом лицемерия, тогда как теперь она показывается без румян, почти с паивным цинизмом. Лучшие блюда партия всегда будет ставить перед своими сторонниками. Ужасающее, жуткое зрелище представится нам, конечно, в тот час, «когда сломится порок, а добродетель сядет за стол!» С какой волчьей жадностью бедные голодные страдалцы добродетели накинута после долгого поста на вкусные кушанья! Сколько Катонов расстроит себе тут желудок! Горе изменникам, которые ели досыта, которые даже ели рябчиков и трюфели и пили шампанское в наши развращенные годы, годы продажности, испорченности, годы Гизо!

Я не стану исследовать, каковы свойства этой так называемой испорченности кабинета Гизо и каким обвинениям она подвергается со стороны тех, чьи интересы задеты. Если великий пуританин в целях самосохранения действительно принужден был прибегнуть к английской системе подкупов, то, конечно, он весьма достоин сожаления; весталка, которой пришлось бы стать во главе *maison de tolérance*,¹ конечно, оказалась бы в положении не менее ложном. Быть может, его самого подкупает мысль, что от его сохранения зависит дальнейшее существование всего общественного строя Франции. Крушение этого строя представляется ему началом всевозможных ужасов. Гизо — человек размеренного прогресса, и ему кажется, что дорогим, кровно дорогим приобретениям революции сейчас, больше чем когда бы то ни было, угрожает мрачно надвигающийся мировой ураган. Он как бы хочет выиграть время, чтобы успеть унести под крышу сжатые снопы. Действительно, продление этого мирного периода, когда можно собирать созревшие плоды, — наша первая потребность. Семена либеральных принципов взойти только абстрактно, и им сперва надо будет спокойно вращаться в самую конкретно-узловатую действительность. Свобода, которая до сих пор лишь там и сям находила воплощение в человеке, должна перейти и в массы, в низшие слои общества, и стать народом. Это становление свободы, претворяющейся в народ, этот таинственный процесс, который, подобно всякому рождению, всякому плоду, требует как необходимого условия времени и спокойствия, не менее важен, конечно,

¹ Дома терпимости (франц.),

чем то провозглашение принципов, которым занимались наши предшественники. Слово становится плотью, а плоть истекает кровью. У нас меньше работы, но больше страданий, чем у наших предшественников, которые полагали, что всему наступит благополучный конец, когда священные законы свободы и равенства будут торжественно возвещены и освящены на полях сотен битв. Ах! И теперь еще во власти досадного заблуждения находится столько революционеров, воображающих, будто все дело в том, чтобы от пурпурной мантии правительственной власти оторвать больший или меньший кусок свободы: они довольны, когда указ, провозглашающий какой-нибудь демократический закон, появляется отпечатанным черным по белому в «Moniteur». Помнится мне, что однажды, двенадцать лет тому назад, когда я посетил старика Лафайета, он на прощание сунул мне в руку какую-то бумагу и при этом имел убежденный вид доктора-чудодея, подающего нам эликсир от всевозможных болезней. То была известная «Декларация прав человека», которую старик шестьдесят лет тому назад привез с собой из Америки и на которую он все еще смотрел, как на панацею, способную радикально исцелить весь мир. Нет, больному нельзя помочь одним лишь рецептом, хотя он и необходим: нужны еще манипуляции аптекаря, заботы сиделки, нужно спокойствие, нужно время.

РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ

(Август 1854 г.)

В то время, когда я, быть может с чрезмерно созерцательным равнодушием, но во всяком случае добросовестно, без всякого лицемерно-добродетельного брюзжания, писал в предшествующей статье о так называемой испорченности кабинета Гизо, мне, право, не приходило в голову, что через пять лет после того меня самого обвинят как соучастника этой коррупции. Время было выбрано очень удачно, и клевете предоставлялось свободное поле действий в тот февральский период бури и натиска, когда все политические страсти, внезапно сорвавшись с цепи, пустились в неистовую пляску святого Витта. Всюду царило такое ослепление, какое возможно было только

у ведьм на Блоксберге или у якобинцев в самые жестокие дни террора. Опять появилось бесчисленное множество клубов, в которых грязнейшие уста оплевывали безупречнейшие репутации, стены всех зданий были замазаны ругательствами, доносами, мятежными речами, угрозами, клеветой в стихах и прозе — грязной литературой убийц и поджигателей. Даже Бланки, этот воплощенный терроризм и вместе с тем самый славный человек на свете, и тот подвергся обвинениям в самом низком предательстве и сообщничестве с полицией. Честные люди уже не защищались. У кого был надежный плащ, тот закрывал им свое лицо. Во время первой революции именем Питта пятнали лучших патриотов как продажных изменников: на Дантона, Робеспьера, даже Марата доносили, что они подкуплены Питтом. Питта Февральской революции звали Гизо, и имя Гизо подавало повод к смехотворнейшим подозрениям. Стоило только возбудить зависть какого-нибудь из тех героев дня, которые умом были слабы, но долго просидели в Сент-Пелажи или в Мон-Сен-Мишель, и уже вы могли рассчитывать, что в его клубе вас обвинят как сообщника Гизо, как наемника, купленного его системой. Гильотины, с помощью которой отрубают головы, не было в то время, но была изобретена «гизотина», с помощью которой нам отсекали честь. Имя автора этих строк тоже не избегло клеветы того безумного времени, и один из корреспондентов «Всеобщей газеты» не постыдился в анонимной статье написать о недостойнейшей сделке, по которой я за большую сумму продал якобы мою литературную деятельность правительственным интересам кабинета Гизо.

Я воздерживаюсь от всякого освещения личности этого грозного обвинителя, чью угрюмую добродетель столь возмутила царящая испорченность; с этого мужественного рыцаря я не стану срывать забрало его анонимности и лишь мимоходом замечу, что он не немец, а итальянец, воспитанный в иезуитских школах, оставшийся верным своему воспитанию и занимающий теперь местечко при австрийском посольстве в Париже. Я человек терпимый и предоставляю каждому заниматься своим ремеслом: не все мы можем быть честными людьми; надо, чтоб на свете были люди всякого сорта, и если я позволяю себе здесь упрек, то он относится только к тому рафинированному коварству, с которым мой ультрамонтанский Брут со-

слался на авторитет французской газетки, служившей злободневным страстям, не чуждой всяких искажений и ложных толкований, но собственно в отношении ко мне не провинившейся ни одним словом, которое могло бы оправдать вышеупомянутый упрек. Как могло случиться, что вообще столь осторожная аугсбургская «Всеобщая газета» стала жертвой подобной мистификации, — это я объясню впоследствии. Здесь я удовольствуюсь тем, что отошлю к номеру аугсбургской «Всеобщей газеты» от 23 мая 1848 года (особое приложение), где я вполне откровенно высказался о милой инсинуации, не оставив места ни малейшей двусмысленности. Я подавил в себе всякое чувство стыдливого тщеславия и публично во «Всеобщей газете» сделал грустное признание, что и меня, наконец, постигла страшная болезнь изгнания — бедность и что я также должен был прибегнуть к великой милостыне, «раздаваемой французским народом стольким тысячам чужеземцев, которые более или менее доблестно скомпрометировали себя на родине рвением к делу революции и нашли пристанище у гостеприимного очага Франции».

Это были мои подлинные слова, сказанные в упомянутом объяснении; я назвал вещь ее прискорбнейшим именем. Хотя я мог, конечно, отметить, что пособие, назначенное мне в качестве *allocation annuelle d'une pension de secours*,¹ можно было также отнести за счет высокого уважения к моей литературной репутации, как мне и было указано с самой деликатной любезностью, все же я безусловно приписал эту пенсию национальному великодушию, политической братской любви, проявившейся здесь с трогательной красотой, которая присуща лишь евангельскому милосердию. Среди моих коллег по изгнанию были надменные личности, которые всякую поддержку называли только субсидией, — нищенски гордые рыцари, ненавидевшие всякое обязательство, называвшие это займом и говорившие, что впоследствии с лихвой вернут его французам, — я же смирился перед необходимостью и назвал вещь ее настоящим именем. В упомянутом заявлении я прибавил: «Я принял вспомоществование вскоре после того, как появились прискорбные декреты Союзного сейма, целью которых было — меня как предводителя некоей так называемой

¹ Ежегодной пенсии (франц.).

Молодой Германии, погубить и в финансовом отношении, ибо они налагали запрет не только на изданные уже книги, но и на все, что впоследствии должно было выйти из-под моего пера, и таким образом лишали меня моей собственности и источников дохода, без суда и права.

Да, «без суда и права». Думаю, что пмею все основания так определить этот поступок, неслыханный в летописях пелепого насилия, Декрет моего отечественного правительства подвергал запрету не только все сочинения, уже написанные, но и все будущие, мой мозг подвергался конфискации, и у моего бедного, пи в чем не повинного желудка этот запрет должен был отнять все средства к жизни, Вместе с тем хотели, чтобы мое имя было совершенно истреблено в памяти людей, и всем цензорам в моем отечестве дано было строгое предписание вычеркивать как в газетах, так и в брошюрах и книгах всякое место, где обо мне будет говориться — независимо от того, благосклонно или неодобрительно. Близорукие безумцы! Эти решения и предписания были бессильны по отношению к писателю, чьи духовные интересы выходили победителями из всех преследований, хотя его земные финансы и были разрушены весьма основательно. Но с голоду я не умер, хотя бледноликая забота достаточно мучила меня в то время. Жизнь в Париже так дорога, особенно для человека неженатого и бездетного! Дети, эти милые маленькие куклы, дают занятие мужу и в особенности жене, и поэтому вне дома им нечего искать развлечений, которые здесь так дороги. А ведь я никогда не учился искусству кормить голодных одними словами, и к тому же природа дала мне столь зажиточную наружность, что никто и не поверил бы в мою бедность. Бедняки, которым я до тех пор щедро помогал, смеялись, когда я говорил, что в будущем мне самому придется голодать. Разве я не был родственником всевозможных миллионеров? Разве генералиссимус всех миллионеров, разве этот миллионериссимус не называл меня своим другом? Своим другом! Мне никогда не удавалось растолковать моим клиентам, что великий миллионериссимус потому-то и называет меня своим другом, что мне от него не пужно денег; если бы я потребовал у него денег, дружбе, конечно, сразу пришел бы конец! Времена Давида и Ионафана, Ореста и Пилада миновали. Мои бедные, нуждающиеся в помощи дураки думали, что от богатого так легко

получить что бы то ни было. Они не видели, подобно мне, какими страшными замками и крюками защищены их большие денежные сундуки. Только у людей, которые сами имеют мало, можно всегда что-нибудь занять, потому, во-первых, что сундуки у них не железные, а во-вторых, им хочется казаться богаче, чем они есть на самом деле.

Да, к моим странным бедам присоединилось и то обстоятельство, что никто никогда не хотел верить в мои собственные денежные невзгоды. Правда, в Великой хартии, которую, как повествует Сервантес, бог Аполлон даровал поэтам, первый параграф гласит: «Если поэт уверяет, что у него нет денег, надо верить ему на слово и не требовать клятвы». Ах! Я тщетно ссылаясь на эту привилегию моего поэтического сословия. Клевете поэтому легко было действовать, когда причины, побудившие меня принять вышеупомянутую пенсию, она приписала не самым естественным потребностям и нуждам. Помню, как в то время многие из моих соотечественников, в том числе самый решительный и умный среди них, доктор Маркс, приходили ко мне, чтобы выразить свое негодование по поводу клеветнической статьи во «Всеобщей газете», советуя не отвечать на нее ни единым словом, ибо они уже сами заявили в немецких газетах, что я, конечно, принял пенсию только с той целью, чтобы иметь возможность деятельнее помогать моим более бедным товарищам по партии. Это говорили мне как бывший издатель «Новой Рейнской газеты», так и друзья, составлявшие его генеральный штаб; я, однако, поблагодарил за нежное участие и уверил этих друзей, что они ошиблись, что я и сам прекрасно могу воспользоваться этой пенсией и что на злостную анонимную статью «Всеобщей газеты» мне надо отвечать не через посредство моих друзей, но лично от себя, за собственной подписью.

Упомяну еще по этому поводу, что редакция французского журнала «Revue rétrospective»,¹ на которую сослался корреспондент «Всеобщей газеты», хотела в решительном опровержении высказать свое негодование по поводу этой ссылки; впрочем, это было совершенно излишне, так как, бросив самый беглый взгляд на этот французский журнал, можно было убедиться в том, что он

¹ «Ретроспективное обозрение» (франц.).

совершенно неповинен в каком бы то ни было поругании моего имени; но бытие этого журнала, выпускавшегося в неопределенные сроки, было очень эфемерно, и бешеный современный водоворот поглотил его, прежде чем он успел напечатать предполагавшееся опровержение. Главный редактор этого ретроспективного обозрения был книгопродавец Полен, дельный и честный человек, который в течение двадцати лет постоянно проявлял ко мне большое участие и был всегда очень услужлив; деловые отношения и то обстоятельство, что у нас были близкие общие друзья, научили нас ценить и уважать друг друга. Полен был компаньоном моего друга Дюбоше, он любит, как брата, моего достопочтенного друга Минье и боготворит Тьера, который, между нами будь сказано, втайне покровительствовал «*Revue rétrospective*»; во всяком случае ее основали и ею руководили лица из его партии, а лицами этим, конечно, не могло прийти в голову позорить человека, которого, как это им было известно, их покровитель удостаивал особенной любви.

Редакция «Всеобщей газеты» ни в каком случае не была знакома с этим французским журналом, пока не напечатала статью о подкупах. Действительно, даже самый беглый взгляд открыл бы ей коварные ухищрения ее корреспондента. Они состояли в том, что автор обвинил меня в солидарности с лицами, которых от меня отделяло такое же расстояние, как честерский сыр от луны, и которые столь же были похожи на меня. Дабы доказать, что правительство Гизо осуществляло свою систему подкупов не только путем раздачи должностей, но и посредством денежных вспомоществований, помянутое французское обозрение напечатало бюджет департамента, которым управлял Гизо, напечатало его приход и расход, и тут мы в самом деле увидели, что огромнейшие суммы ассигновывались каждый год на секретные расходы, и журнал, выступивший с обвинениями, угрожал назвать в дальнейших номерах имена лиц, в кошельки которых перешли эти сокровища. Вследствие внезапного прекращения выхода журнала эта угроза не была осуществлена, о чем мы очень сожалеем, ибо каждый мог бы тогда убедиться, что я никогда не имел доли в этих тайных щедротах, исходивших непосредственно от министра или его секретаря и являвшихся наградой за определенные услуги. От этих так называе-

мых *bons du ministre*,¹ действительного секретного фонда, весьма следует отличать пенсии, заранее предназначенные бюджетом министра в пользу известных лиц, которым соответствующие суммы определены в виде ежегодного пособия. Ретроспективный журнал поступил очень невежливо, скажу даже — очень не по-французски, ибо, указав без разбора все расходы по содержанию посольств, он также напечатал имена лиц, пользовавшихся пенсиями, а это тем более достойно порицания, что здесь оказались не только обедневшие аристократы, но и знатные дамы, скрывавшие под убогой мишурой свое падшее величие и теперь с болью увидевшие, как разоблачили их благородную нищету. Немец, руководимый более нежным тактом, не последует невежливому примеру французов, и мы замалчиваем здесь имена высокородных и сиятельных дам, отмеченные в списке пенсионного фонда департамента Гизо. В числе мужчин, названных в том же списке с обозначением ежегодной суммы вспомоществования, мы встретили изгнанников из всех стран мира, беглецов из Греции и Сан-Доминго, Армении и Болгарии, Испании и Польши, громкие имена баронов, графов, князей, генералов и экс-министров, даже священников, являющихся как бы аристократией бедности, меж тем как в пенсионных списках других департаментов красовались имена менее блистательных бедняков. Немецкому поэту можно было бы не стыдиться своих товарищей: он оказался в обществе знаменитостей таланта и несчастья, судьба которых потрясающа. Рядом с моим именем в этом пенсионном списке под той же рубрикой и в той же категории я увидел имя человека, правившего некогда царством более великим, чем монархия Агасфера, который был царем более ста двадцати семи стран, от Гауда до Куша, от Индии до мавров; то был Годой, *prince de la paix*,² неограниченный любимец Фердинанда VII и его супруги, влюбившейся в нос Годоя; никогда я не видел более обширного, более курфюрстского пурпурного носа, и набивать его нюхательным табаком обходилось, вероятно, бедному Годою дороже того, что он получал ежегодно от французского правительства. Другое имя, которое я увидел рядом с моим, было имя моего

¹ Записок министра на право получения денег (*франц.*).

² Князь мира (*франц.*).

друга и товарища по судьбе, столь же славного, сколь и несчастного, имя Огюстена Тьерри, величайшего историка нашего времени. Но вместо того чтобы назвать мое имя рядом с именами таких достойных людей, честный корреспондент «Всеобщей газеты» сумел из этих бюджетных списков, где, правда, значились также дипломатические агенты, получавшие пенсию, выкопать два имени, принадлежавшие двум соотечественникам-немцам, которые, конечно, лучше своей репутации, но, во всяком случае, будучи названы вместе со мною, должны были повредить моей. Один из них был немецкий ученый из Геттингена, советник посольства, который искони был козлом отпущения либеральной партии и, благодаря своей подчеркнутой дипломатической скрытности, обладал талантом казаться самым дурным человеком. Наделенный сокровищницей познаний и железным усердием, он был очень полезным работником во многих кабинетах и работал впоследствии также и в канцелярии Гизо, дававшего ему разные поручения, и этими услугами объясняется его пенсия, кстати весьма умеренная. Положение другого соотечественника, имя которого честный корреспондент, бичевавший подкупы, поставил рядом с моим, было так же непохоже на мое, как и положение первого: это был шваб, до тех пор живший в Штутгарте и слывший безупречным мещанином, но теперь явившийся в неприятно-двусмысленном свете, ибо оказалось, что в бюджете Гизо ему ассигнована была пенсия почти таких же размеров, как годовое содержание, которое получал из той же кассы полковник Густавсон, экс-король шведский; она даже в три или четыре раза превышала пенсию, выдававшуюся по тому же бюджету Гизо барону Экштейну и г-ну Капфигу, которые, кстати сказать, с незапамятных времен являются корреспондентами «Всеобщей газеты». Действительно, баснословно крупную пенсию шваба нельзя было объяснить особыми заслугами; жил он не в Париже, не на положении преследуемого, но, как сказано, в Штутгарте, в качестве тихого верноподданного короля Вюртембергского; он не был великим писателем, он не был ни светилом науки, ни знаменитым государственным деятелем, ни героем искусства, он вообще не был героем, а, напротив, был очень невоинствен, и когда ему однажды случилось оскорбить редакцию «Всеобщей газеты» и редакция эта с места в карьер прискакала из Аугсбурга

в Штутгарт, чтобы вызвать его на дуэль, этот добрый шваб не пожелал пролить братскую кровь (ибо редакция «Всеобщей газеты» родом из Швабии) и отклонил дуэль по совсем особой, гигиенической причине: он не переносит свищовых пуль, и желудок его привык только к печеным пулям шалета и швабским клецкам.

Корсиканцы, североамериканские индейцы и швабы не прощают ничего, и на эту-то швабскую вендетту и рассчитывал питомец иезуитов, посылая во «Всеобщую газету» свою продажную статью о продажности, а редакция газеты не преминула напечатать прямо с пыла парижскую корреспонденцию, по вине которой доброе имя незастреленного земляка-шваба давало повод к самым жутким и постыдным предположениям и догадкам. Редакция «Всеобщей газеты» могла опубликованием этой статьи тем блстательнее доказать свое беспристрастие, что в ней один из друзей-соотечественных ей корреспондентов поставлен был не в более благоприятное положение. Не знаю, думала ли редакция, что оказывает мне услугу, печатая постыдные, но совершенно необоснованные обвинения; ведь она тем самым предоставляла мне возможность выступить с решительной декларацией против недостойных пересудов, против всякой ползущей в тумане инсинуации; как бы то ни было, редакция «Всеобщей газеты» напечатала присланную статью о продажности, но снабдила ее примечанием, в котором по поводу моей пенсии сказала, что я «ни в каком случае не мог получать ее за то, что писал, а только за то, чего не писал».

Ах, это спасительное для чести примечание, благонамеренное, конечно, но оказавшееся очень неудачным вследствие своей слишком остроумной редакции, было настоящим *ravé*¹ — так французские журналисты называют на своем особом языке всякую неловкую защиту, на смерть убивающую подзащитного, подобно медведю в басне, который, пожелав согнать навозную муху со лба спящего приятеля, пустил в него камнем и раздробил череп своему протезе.

Аугсбургский *ravé* должен был ранить меня больнее, чем парижская корреспонденция жалкой навозной мухи, и в объяснении, которое я напечатал тогда во «Всеобщей

¹ Булыжником (франц.).

газете», по этому поводу сказано следующее: «Редакция «Всеобщей газеты» снабдила эту корреспонденцию примечанием, где она склоняется к мнению, что я, вероятно, получаю пенсию не за то, что писал, а за то, чего *не писал*. Редакция «Всеобщей газеты», которая, не столько на основании моих статей, печатавшихся ею в продолжении двадцати лет, сколько по тем местам в них, которых она *не напечатала*, имела полную возможность заметить, что я не принадлежу к тем раболепным писателям, которые берут плату за свое молчание, — эта редакция могла бы, конечно, избавить меня от своего *levis nota*». ¹

Время, место и обстоятельства не позволили мне тогда дать более подробные объяснения, но теперь, когда исчезли все препятствия, я могу доказать с еще большей фактической точностью, что не получал денег от правительства Гизо ни за то, что писал, ни за то, чего *не писал*. Для людей, покончивших счеты с жизнью, такие ретроспективные оправдания представляют странно печальную прелесть, и я отдаюсь ей с мечтательной негой. На душе у меня такое чувство, словно я давно умершему даю смиренное удовлетворение; во всяком случае, здесь вполне уместны будут следующие разъяснения по поводу французских дел времен правительства Гизо.

Правительство 29 ноября 1840 года следовало бы, собственно, называть не правительством Гизо, а скорее уж правительством Сульта, так как последний был председателем совета министров. Но Сульть был только его номинальным главою, примерно так, как каждый король Ганноверский всегда бывает облечен титулом ректора университета «Георгия Августа», меж тем как настоящая ректорская власть принадлежит его высокопревосходительству геттингенскому проректору. Несмотря на официальное полномочие Сульта, о нем никогда не было речи; лишь иногда либеральные газеты, если они бывали довольны им, называли его героем Тулузы; если же ему случалось возбудить их неудовольствие, они издевались над ним и упорно утверждали, что при Тулузе он не одержал победы. Говорилось только о Гизо, и долгое время его популярность стояла в зените с точки зрения буржуазии, на которую нагнала страху воинственность его предшест-

¹ Легкого пятна (*франц.*).

венника; само собою разумеется, что по ту сторону Рейна преемник Тьера возбудил еще бóльшие симпатии. Мы, немцы, не могли простить Тьеру того, что он барабанным боем прервал наш сон, наш сладкий, растительный сон, и мы протирали себе глаза и восклицали: «Да здравствует Гизо!» Ученые с особым усердием восхваляли Гизо в пиндарических гимнах, где с точностью была воспроизведена даже просодия, древняя мера стиха, и один немецкий профессор филологии, бывший здесь проездом, уверял меня, что Гизо столь же велик, как Тирш. Да, столь же велик, как мой милый, гуманный друг Тирш, автор лучшей греческой грамматики! Так же восторгалась Гизо немецкая пресса, и не только кроткие газеты, но и ярые; восторги эти были очень длительны. Помню, еще перед самым падением знаменитого любимца немцев в одной из радикальнейших немецких газет, в «Шпейерской газете», я напечатал апологию Гизо, принадлежавшую перу одного из тех тираноедов, томагавк и нож которых никогда не знали милосердия. Во «Всеобщей газете» восторженное отношение к Гизо представлено было двумя моими коллегами, из коих один был отмечен печатью Венеры, а эмблемой другого была стрела: первый воскурял фимиам с благоговением жреца, а второй даже в состоянии экстаза сохранял свою сладость и манерность; оба не изменили себе до катастрофы.

Что касается меня, то с тех пор как я начал серьезно заниматься французской литературой, я всегда понимал и высоко ценил огромные заслуги Гизо, и мои сочинения свидетельствуют о моем давнем уважении к этому всемирно знаменитому человеку. Я больше любил его соперника, Тьера, но любил только его личность, а не направление ума, до такой степени ограниченно национальное, что Тьера почти можно было бы назвать французским старогерманцем, тогда как космополитические взгляды Гизо были ближе моему собственному образу мыслей. В первом мне были дороги, быть может, многие недостатки, за которые корили и меня самого, меж тем как добродетели второго действовали на меня почти отталкивающе. Первого мне часто приходилось порицать, но делал я это с неохотой; если нельзя было не похвалить второго, я воздавал ему эту похвалу, конечно все строго обдумав. Право же, об этом человеке, составлявшем в то время средоточие

всех толков и разговоров, я судил всегда с независимой правдивостью и всегда верно передавал то, что слышал! Для меня было делом чести перепечатать в этой книге без всяких изменений статьи, в которых выразилось мое самое теплое сочувствие к характеру и правительственным идеям (не административным действиям) великого государственного человека — несмотря на то, что тем самым должны были возникнуть некоторые повторения. Благоклонный читатель заметит, что эти рассуждения не идут дальше конца 1843 года, когда я вообще бросил писать политические статьи для «Всеобщей газеты» и стал ограничиваться тем, что сообщал порой ее редактору, в нашей дружеской корреспонденции, частным образом, те или иные новости; с тех пор я только по временам помещал в этой газете статьи о науке и об изящных искусствах.

Вот это и есть то молчание, то *неписание*, о котором говорит «Всеобщая газета» и которое было истолковано как продажа свободы моего слова. Не правильнее ли было бы предположить, что я, чья вера в Гизо поколебалась в то время, вообще начал ложно его понимать? Да, так и было, но в марте 1848 года подобное признание было неуместно с моей стороны. Этого не позволяли в то время ни уважение, ни приличие. В вышеупомянутом объяснении я должен был ограничиться тем, что чисто фактическую сторону моих отношений к правительству Гизо противопоставил той гнусной инсинуации, которая приписала подкупу мое внезапное молчание. Повторю здесь эти факты. До 29 ноября 1840 года, когда г-н Гизо стал во главе правительства, я ни разу не имел чести видеть его. Лишь месяц спустя я сделал ему визит, желая поблагодарить его за то, что счетное отделение его департамента получило от него приказание выплачивать мне ежемесячно и при новом кабинете мою ежегодную пенсию. Этот визит был моим первым, но и последним в этой жизни визитом к великому человеку. В беседе, которой он удостоил меня, он с большим умом и теплотой высказал свое глубокое уважение к Германии, и эта похвала моему отечеству, а также лестные слова, сказанные им о моих собственных литературных произведениях, были единственными монетами, которыми он подкупил меня. Ему никогда не приходило в голову потребовать от меня какой бы то ни было услуги. И менее всего могло прийти в голову этому гордому человеку,

стремившемуся к непопулярности, требовать жалкой похвалы во французской печати или в аугсбургской «Всеобщей газете» от меня, который до тех пор был совершенно чужд ему, меж тем как другие, гораздо более важные, а следовательно, более надежные люди, например барон Экштейн или историограф Капфиг, тоже являвшиеся, как отмечено выше, сотрудниками «Всеобщей газеты», уже много лет находились в личных отношениях с г-ном Гизо и, наверно, заслужили его интимное доверие. После упомянутой беседы я больше никогда не видел ни г-на Гизо, ни его секретаря, ни кого бы то ни было из его канцелярии. Только случайно я узнал однажды, что зарейнские посольства обращались к г-ну Гизо с частыми и настойчивыми просьбами удалить меня из Парижа. Не могу без смеха подумать теперь о сердитых рожах, которые эти господа должны были скорчить, когда открылось, что министр, от которого требовали моей высылки, еще и поддерживал меня ежегодной пенсией. Я и без особенных намеков понял, что он отнюдь не желал разглашения этих благородных поступков, и скромные друзья, от которых я ничего не могу утаить, разделили мое злорадство.

За доставленное развлечение и за великодушие, которое г-н Гизо проявил в обращении со мною, я обязан ему величайшей благодарностью. Но когда поколебалась моя вера в его независимость от королевских внушений, когда я увидел, что он слишком подчиняется губительной воле Луи-Филиппа, когда я понял огромную, ужасающую ошибку этого самодержавного упрямства, этого пагубного эгоизма, тогда, конечно, не физический гнет благодарности мог бы сковать мое слово; я с почтительным прискорбнем восстал бы, конечно, против промахов, сделанных чрезмерно снисходительным правительством или, вернее, ослепленным королем, которые должны были погубить Францию и весь мир. Но перо мое связывали также грубые физические препятствия, и эту действительную причину моего молчания, моего *неписания* я только теперь могу огласить во всеуслышание.

Даже если бы у меня и явилось желание напечатать во «Всеобщей газете» хоть одно слово против злополучной правительственной системы Луи-Филиппа, это было бы невозможно для меня по очень простой причине: еще до 29 ноября умный король принял меры против столь

преступного корреспондентского умысла, против такого покушения, и высочайше соизволил пожаловать тогдашнему цензору аугсбургской «Всеобщей газеты» звание не только кавалера, но и офицера ордена Почетного легиона. Как ни велика была любовь моя к покойному королю, аугсбургский цензор все-таки находил, что я недостаточно его люблю, вычеркивал всякое неодобрительное слово, и весьма многие из моих статей о политике Луи-Филиппа остались вовсе ненапечатанными. Но вскоре после Февральской революции, когда мой бедный Луи-Филипп отправился в изгнание, ни уважение, ни приличие не позволили мне обнародовать такие факты, даже если бы аугсбургский цензор и дозволил их к печати.

Другое подобное же признание не позволила мне сделать в то время цензура сердца, гораздо более опасливая, чем цензура «Всеобщей газеты». Нет, сразу после падения Гизо я не смел гласно сознаться, что я и до того молчал из страха. В 1844 году я должен был понять, что если бы Гизо узнал про мои корреспонденции и ему не очень понравились бы содержащиеся в них критические замечания, то этот страстный человек, пожалуй, способен был бы подавить в себе чувство великодушия и положить весьма скорый конец проделкам неудобного критика. С высылкой корреспондента из Парижа неизбежно прекратились бы и его парижские корреспонденции. Действительно, его превосходительство держал в руках бразды правления, он мог в любое время изречь против меня *consilium abeundi*,¹ и мне тогда тотчас же пришлось бы укладывать чемоданы. Его педели в синих мундирах с лимонно-желтыми отворотами оторвали бы меня в один миг от моих парижских критических занятий и проводили бы до тех столбов, «что окрашены, как спина зебры», а тут меня приняли бы другие педели, в еще более страшных ливреях и с германскими, куда более неуклюжими, манерами, чтобы оказать мне отечественное гостеприимство.

Но разве, несчастный поэт, твое французское гражданство не достаточно защищало тебя от такого произвола министра?

Ах, ответ на этот вопрос исторгает у меня признание, которое, быть может, из благоразумия следовало бы за-

¹ Решение о высылке (буквально: «совет об уходе») (лат.).

таить. Но благоразумие и я — мы давно уже не едим из одной миски, и сегодня я откровенно признаюсь, что никогда не принимал французского подданства и что это подданство, считавшееся достоверным фактом, не что иное, как немецкая сказка. Не знаю, чья праздная или хитрая голова измыслила все это. Некоторые соотечественники, правда, уверяли, что они из достоверного источника пронюхали об этой перемене подданства; они сообщали о ней в немецких газетах, и я своим молчанием поддерживал это ложное мнение. Мои милые литературные и политические противники на родине и кое-какие весьма влиятельные интимные враги здесь, в Париже, были тем самым введены в заблуждение и думали, что права французского гражданства защищают меня от всяких неприятностей, которым так легко подвергнуть иностранца, судящегося здесь по совершенно особым законам. Это благотворное заблуждение не раз спасало меня от козней аферистов, которые делали попытки эксплуатировать меня и в деловых столкновениях со мной воспользовались бы своими преимуществами. В Париже положение иностранца, который не принимает подданства, становится в конце концов столь же противным, сколь и затруднительным в денежном отношении. Его надувают и сердят, и притом это делают как раз принявшие французское подданство иностранцы, которые особенно жадно злоупотребляют приобретенными правами. Побуждаемый досадой и заботами, я однажды проделал формальности, ни к чему не обязывающие, а между тем дающие возможность в случае необходимости без замедления приобрести права гражданства. Но окончательное принятие подданства всегда внушало мне зловещий страх. Вследствие этой нерешительности, вследствие этого глубоко укоренившегося отвращения к приятию французского подданства я поставил себя в ложное положение, которое должен считать причиной всех моих лишений, невзгод и промахов за время двадцатитрехлетнего пребывания в Париже. Доход от хорошей должности с избытком покрывал бы расходы на мое дорогостоящее хозяйство, удовлетворяя не столько прихотям, сколько потребностям человечески свободного образа жизни; но, не приняв подданства, я не мог поступить и на государственную службу. Много высоких званий и жирных синекур мне соблазнительно предлагали мои друзья,

и немало было примеров, когда иностранцы достигали во Франции блистательнейших ступеней власти. И мне — смело могу сказать — меньше, чем кому бы то ни было, пришлось бы бороться с туземной завистью, ибо ни один немец не пользовался в такой высокой степени, как я, симпатией французов, и не только в литературном мире, но и в высшем обществе, и знатнейшие лица сближались со мной — не как покровители, но как друзья. Рыцарственный принц, ближе всех стоявший к престолу и не только бывший прекрасным полководцем и государственным человеком, но и читавший в подлиннике мою «Книгу песен», очень рад был бы видеть меня на французской службе, а его влияние было достаточно велико, чтобы дать мне ход на этом поприще. Я не забываю о любезности, с которой великий историограф французской революции и Империи, в то время всемогущий председатель совета министров, однажды в саду дворца моей царственной приятельницы взял меня под руку и, гуляя со мною, долго и настойчиво просил сказать, чего желает мое сердце, и обещал сделать для меня все. Еще и сейчас в моих ушах раздается льстивый звук его голоса; до сих пор мое обоняние щекочет аромат высокой цветущей магнолии, мимо которой мы проходили и алебастрово-белые аристократические цветы которой высились на фоне голубого неба так пышно, так гордо, как вздымалось в то время, в пору его удачи, сердце немецкого поэта!

Да, все было именно так. Стать французом, хотя бы *pro forma*,¹ не позволяло мне дурацкое высокомерие немецкого поэта. То был каприз идеала, от которого я не в силах был отделаться. В отношении того, что мы обычно называем патриотизмом, я всегда сохранял свободу мысли, но все же я не мог побороть в себе чувство страха: ведь приходилось совершить поступок, который в какой-то степени мог бы показаться отречением от родины. Даже и в душе самого просвещенного человека всегда скрывается частица волшебного корня — древнего суеверия, которое нельзя изгнать; о нем не любишь говорить, но оно, неразумное, проказничает в затаеннейших углах нашей души. Мой брачный союз с нашей милой дамочкой Германией, белокурой ленивицей, никогда не был

¹ Формально (лат.).

счастливым союзом. Правда, я еще помню несколько чудных лунных ночей, когда она нежно прижимала меня к своей большой груди с добродетельными сосцами, но эти сентиментальные ночи — все наперечет, и к утру наступала всегда сердито зевающая холодность и начиналась бесконечная воркотня. В последнее время мы уже и ели и спали отдельно. Но дело не должно было дойти до настоящего развода. У меня никогда не хватало духу совсем сбросить с себя домашний крест. Я ненавижу всякое отступничество и не мог бы отречься ни от одной немецкой кошки, ни от одной немецкой собаки, как бы невыносимы ни были для меня ее блохи и ее верность. Самый маленький поросенок моей отчизны не может в этом отношении пожаловаться на меня. Живя среди знатных и остроумных свиней Перигора, которые изобрели трюфели и питаются ими, я не чуждался скромных хрюшек, которые в родимом Тевтобургском лесу кормятся лишь плодами отечественных дубов и едят из простого корыта, как их добродетельные предки в то давнее время, когда Арминий разбил Вара. Я не утратил ни одной щетинки моего германства, ни одного бубенчика с моего немецкого колпака и по-прежнему имею право прикрепить к нему черно-красно-золотую кокарду. Я по-прежнему имею право говорить Масману: «Мы, немецкие ослы!» Если бы я принял французское подданство, Масман мог бы мне ответить: «Это только я немецкий осел, а ты уже перестал быть им», — и тут же насмешливо перекувырнулся бы, а зрелище это разбило бы мне сердце. Нет, подобному позору я себя не подвергал. Переход во французское подданство, быть может, и годится для других людей; пьяный адвокат из Цвейбрюккена, олух с железным лбом и медным носом, конечно мог бы для получения должности школьного учителя отказаться от отечества, которое вовсе не знает его и никогда о нем не узнает, но это не подобает немецкому поэту, создавшему прекраснейшие немецкие песни. Я не мог бы отделаться от ужасной, от безумной мысли, если бы должен был говорить себе, что я немецкий поэт и вместе с тем французский подданный. Я казался бы себе одним из тех уродцев о двух головах, которых показывают на ярмарках в балаганах. В то время, когда я творю, меня нестерпимо стесняла бы мысль, что одна из этих голов вдруг начнет скандировать по-французски на индюшечий

патетический лад неестественные александрийские стихи, меж тем как другая голова станет изливать свои чувства в правдивых, врожденных мне размерах немецкой речи. А для меня — ах! — нестерпима ни метрика французов, ни их стихи, это раздушенное дрянцо, — я еле-еле выписил даже их лучших, ничем не пахнущих поэтов. Лишь тогда, когда я смотрю на так называемую *poésie lyrique*¹ французов, мне становится вполне ясно величие немецкой поэзии, и, право же, мне есть чем гордиться, если я могу утверждать, что стяжал себе лавры на этом поприсце. И мы из этих лавров не уступим ни одного листка, и каменщик, которому придется украшать надписью наше последнее ложе, может, не боясь никаких возражений, вырезать слова: «Здесь покоится немецкий поэт».

LIX

Париж, 7 мая 1843 г.

Выставка картин возбуждает в этом году необычайный интерес; но я не в состоянии высказать хоть сколько-нибудь благоразумное мнение о ее достопримечательностях, которые вызывают столько похвал. До сих пор, проходя по залам Лувра, я испытывал только небывалую досаду. Эти сумасшедшие краски, которые все в одно и то же время прозительно кричат на меня, это пестрое безумие, со всех сторон скалящее на меня зубы, эта анархия в золоченых рамах производит на меня неприятное и тяжелое впечатление. Напрасно я мучусь, пытаюсь упорядочить в моем уме этот хаос и уловить в нем мысль нашего времени или хотя бы характерный родственный признак, благодаря которому картина представилась бы нам продуктом современной эпохи, а ведь все произведения одного и того же периода бывают отмечены такой характерной чертой, живописным выражением духа своего времени. Так, на полотне Ватто, или Буше, или Ван-Лоо отражаются грациозная напудренная пастораль, игривая, нарумяненная пустота, слащавое, украшенное фижмами счастье царившего в то время помпадурства: всюду обви-

¹ Лирическую поэзию (франц.).

тые пестрыми лентами пастушеские посохи, нигде ни одного меча. Наоборот, картины Давида и его учеников представляют лишь красочное эхо периода республиканской добродетели, которая превращается потом в военную славу Империи, и мы видим тут преувеличенное воодушевление мраморной моделью, отвлеченное ледяное ушоение рассудком, рисунок правильный, стройный, резкий, краски хмурые, жесткие, неудобоваримые, спартанскую похлебку. Но когда потомки будут смотреть на картины нынешних живописцев, что покажется им знаком нашего времени? Какие общие для всех этих картин особенности будут сразу же, при первом взгляде на них, говорить, что это произведения нашего теперешнего периода? Или дух буржуазии, индустриализм, которым проникнута теперь вся социальная жизнь Франции, до такой степени овладел и пластическими искусствами, что все нынешние картины отмечены печатью этого нового господства? Подобные предположения вызывают во мне особенно картины религиозного содержания, которыми так богата выставка этого года. Вот в длинной зале висит картина «Бичевание», где центральная фигура своей страждущей физиономией напоминает директора обанкротившейся акционерной компании, стоящего перед своими акционерами и вынужденного дать им отчет; да, мы видим тут и этих акционеров, и притом в образе палачей и фарисеев, которые страшно злы на «Ессе homo»¹ и, по-видимому, потеряли на своих акциях очень много денег. Говорят, главную фигуру художник списал со своего дяди. Лица на собственно исторических картинах, изображающих события из времен язычества и средневековья, тоже напоминают мелочную лавочку, биржевые спекуляции, меркантилизм, мещанство. Вот мы видим Вильгельма Завоевателя; ему стоит только надеть медвежью шапку, и он обратится в национального гвардейца, который с образцовым усердием несет караульную службу, добросовестно платит по своим векселям, чтит свою супругу и, несомненно, заслуживает креста Почетного легиона. А портреты! У большей части такое денежное, корыстное, сердитое выражение, какое я объясняю себе только тем, что живой оригинал во время сеанса не переставая думал о деньгах, которых

¹ Вот человек (лат.). (См. комментарий.)

ему будет стоять портрет, тогда как художник не переставал жалеть о времени, потраченном на жалкую поденную работу.

В числе картин из священной истории, свидетельствующих о том, как французы стараются создать нечто действительно религиозное, я заметил «Самаритянку у колодца». Хотя Спаситель принадлежит к враждебному племени иудеев, все же самаритянка оказывает ему милосердие. Она подает жаждущему свой кувшин и, пока он пьет, искоса бросает на него странный, необыкновенно лукавый взгляд; он заставил меня вспомнить ловкий ответ, который умная дочь Швабии дала господину суперинтенданту, экзаменовавшему школьниц по священной истории. Он спросил, почему женщина из Самарии узнала, что Иисус — еврей? «По обрезанию», — смело ответила маленькая швабская школьница.

Самая замечательная среди религиозных картин выставки принадлежит Орасу Верне, единственному крупному художнику, выставившему в этом году свое произведение. Сюжет очень рискованный, и мы безусловно порицаем если не выбор сюжета, то, конечно, трактовку его. Этот сюжет, заимствованный из библии, — история Иуды и его невестки Фамари. По нашим современным понятиям и чувствам, оба эти лица являются нам в весьма безнравственном свете. Но по воззрениям древних, когда высшая задача женщины состояла в том, что она рожала детей, продолжая род своего мужа (особенно по древнееврейским взглядам, согласно которым ближайший родственник умершего должен был жениться на его вдове, если тот умирал бездетным, чтобы утвердить память о покойном, жизнь его в грядущих поколениях, его, так сказать, земное бессмертие), по древним воззрениям, поступок Фамари был делом высоконравственным, благочестивым, угодным богу, наивно прекрасным и почти таким же героическим, как подвиг Юдифи, который уже несколько ближе к патриотическим чувствам нашего времени. Что касается ее свекра Иуды, мы отнюдь не требуем для него лавровых венков, но утверждаем, что он ни в каком случае не совершил греха. Ибо, во-первых, сожительство с женщиной, встреченной на большой дороге, древний еврей считал столь же позволительным, как наслаждение плодом, который он сорвал бы с дерева на своем пути, чтобы

утолить жажду, а когда это случилось, в знойной Месопотамии стоял, должно быть, знойный день и бедный праотец Иуда жаждал освежиться. А во-вторых, его поступок явно отмечен печатью божественной воли providения: не будь этой сильной жажды, у Фамари не родился бы ребенок, а ребенок этот стал прародителем Давида, который был царем над Иудеей и Израилем, а следовательно, и основателем рода, из которого вышел царь еще более великий, царь в терновом венце, которому теперь поклоняется весь мир, — Иисус из Назарета.

Что касается трактовки этого сюжета, то я, не пускаясь в слишком гомилетические упреки, скажу о ней в нескольких словах. Фамарь, красавица, сидит у большой дороги, выставляя напоказ свои великолепные чары. Нога, колено и т. д. — совершенство, граничащее с поэзией. Грудь вырывается из узкого одеяния, цветущая, благоуханная, соблазнительная, как запрещенный плод в саду Эдема. Правой рукой, написанной с такой же прелестной правдивостью, красавица держит перед лицом кончик своей белой одежды, так что видны только лоб и глаза. Эти большие черные глаза обольстительны, как голос гладкочешуйчатой кумушки-сатаны. Эта женщина — вместе и яблоко и змея, и нам не следует осуждать бедного Иуду за то, что он весьма поспешно вручает ей требуемые залогов — посох, кольцо и пояс. Чтобы принять эти предметы, она протянула левую руку, правой же, как сказано, закрывает лицо. Это двойное движение рук полно такой правды, какой достигает искусство лишь в минуты величайшей удачи. Здесь — верность природе, производящая волшебное впечатление. Иуде художник дал похотливую физиономию, напоминающую скорее фавна, чем патриарха, и все его одеяние состоит из того белого шерстяного покрывала, которое со времени завоевания Алжира играет такую большую роль на стольких картинах. С тех пор как французы непосредственно познакомились с Востоком, их живописцы даже и героев библии наряжают в истинно восточный костюм. Прежний традиционно-идеальный костюм действительно поизносился, будучи триста лет в употреблении, и менее всего уместно было бы, по примеру венецианцев, наряжать древних евреев в современные одежды. С тех пор французы на своих исторических картинах с большей верностью изображают пейзажи

и животных Востока, и, глядя на верблюда, который имеется на картине Ораса Верне, ясно видишь, что живописец скопировал его непосредственно с натуры, а не почерпнул, подобно немецкому художнику, из глубины своего духа. Быть может, в строении головы верблюда немецкий художник оттенил бы разумность, допотопность, даже ветхозаветность. Но француз нарисовал только верблюда, каким его создал бог, поверхностного верблюда, на котором нет ни одного символического волоса и который, вытянув голову из-за плеча Иуды, с полнейшим равнодушием смотрит на предосудительную сделку. Это равнодушие, этот индифферентизм — основная черта картины, о которой идет речь, и в этом отношении она тоже отмечена печатью нашего периода. Живописец не макал своей кисти ни в разъедающую злобу Вольтеровой сатиры, ни в помойные ведра распутного Парни и компании; им не руководит ни полемика, ни безнравственность; библия имеет для него то же значение, что и всякая другая книга; он смотрит на нее с истинной терпимостью, у него больше нет предубеждений против этой книги, он находит ее даже прекрасной и занимательной и считает возможным заимствовать из нее свои сюжеты. Так рисовал он прежде Юдифь, Ревекку у колодца, Авраама и Агарь, и так же нарисовал теперь Фамарь и Иуду, создав превосходную картину, которая благодаря местному колориту в воззрениях художника явилась бы вполне подходящим запрестольным образом в новой парижской церкви Нотр-Дам-де-Лоретт, в квартале лореток.

Публика считает Ораса Верне величайшим художником Франции, и я не стану оспаривать это мнение. Во всяком случае он самый национальный среди французских художников и превосходит их всех плодотворными способностями, демоническим размахом, самообновлением творческой силы в ее вечном расцвете. Дар живописи присущ ему от природы, как шелковичному червю — прядедь, как птице — песня, и картины его кажутся результатом необходимости. Не стиль, а природа. Плодовитость, граничащая с композмом. На одной карикатуре Ораса Верне изобразили верхом на высоком коне, с кистью в руке; перед ним — растянутый в длину огромный холст, и он рисует, несясь галопом; как только он доскачет до конца холста, картина готова. Какое множество огромных

батальных картин он изготовил в самое последнее время для Версаля! Право же, за исключением Австрии и Пруссии, ни у одного немецкого государства не найдется столько солдат, сколько их уже нарисовал Орас Верне! Если правду говорит благочестивое сказанье, что в день воскресения из мертвых каждого человека к месту суда будут сопровождать его деяния, то, конечно, Орас Верне в день страшного суда прибудет в Иосафатову долину в сопровождении нескольких сот тысяч пехоты и кавалерии. Как бы ни были ужасны судьи, которые воссядут там, чиня суд над живыми и мертвыми, все же я не думаю, чтобы Ораса Верне осудили на вечное пламя за то неприличье, с которым он отнесся к Иуде и Фамари. Не думаю. Ибо, во-первых, картина написана так превосходно, что уже поэтому следовало бы оправдать обвиняемого. Во-вторых, Орас Верне — гений, а гению дозволены вещи, воспрещенные обыкновенным грешникам. И, наконец, тому, кто марширует во главе нескольких сот тысяч солдат, тоже отпущится многое, даже если он случайно не окажется гением.

LX

Париж, 1 июня 1843 г.

Борьба с университетом, которую все еще ведут клерикалы, равно как и решительное сопротивление, особенно выдвинувшее вперед Мишле и Кюне, все еще занимает широкую публику. Может быть, этот интерес вскоре будет вытеснен каким-нибудь новым злободневным вопросом; но самая вражда сгладится не так скоро, ибо она коренится в раздоре, который длится уже столетия и на который, может быть, следует смотреть как на конечную причину всех переворотов во французской государственной жизни. Дело здесь идет не об иезуитах и не о свободе образования; и то и другое — только лозунги, отнюдь не выражающие того, что думают и чего хотят воюющие партии. С обеих сторон высказывается нечто совсем иное, чем то, в чем они решаются сознаться, если даже не совершенно противоположное внутреннему убеждению. «Хочешь побить осла, а колотишь по мешку», — гласит старая немецкая пословица. Мы слишком хорошего мнения об уме

университетских профессоров, чтобы допустить, будто они вполне серьезно полемизируют с покойным рыцарем Игнатием Лойолой и его сотоварищами по могиле. Мы, напротив, слишком мало верим в либерализм противников, чтобы принять за чистую монету их радикальные принципы в вопросе о свободе образования, их ревностное восхваление этой свободы. Гласные призывы к войне здесь находятся в противоречии с тайными помыслами. Ученая хитрость — и благочестивая ложь. Истинный смысл этого раздора — не что иное, как стародавняя оппозиция, в которой философия находилась к религии, рационалистическое познание — к вере в откровение, оппозиция, руководимая учеными, брожение которой сказывалось постоянно как в дворянстве, так и в буржуазии и которая в девяностых годах одержала победу. От некоторых из актеров французской государственной трагедии, еще не умерших, от политиков, хранящих давние воспоминания, мне случалось нередко слышать, что в сущности вся французская революция произошла только от ненависти к церкви и что трон был разрушен только потому, что он защищал алтарь. Конституционная монархия, по мнению этих людей, могла бы утвердиться уже при Людовике XVI; но боялись, что благочестивый король из-за набожных требований совести не сможет остаться верен новой форме правления, боялись, что свои религиозные убеждения он поставит выше своих земных интересов, — и Людовик XVI пал жертвой этой боязни, этого подозрения. Il était suspect,¹ во времена террора это было преступление, которое каралось смертной казнью.

Хотя Наполеон и восстановил церковь во Франции и покровительствовал ей, все же гордость его железной воли была достаточным ручательством того, что при нем духовенство не только не достигнет власти, но даже и не сможет особенно возвыситься; это духовенство он держал в узде так же, как и всех нас, и его гренадеры, которые с саблями наголо сопровождали процессии, напоминали не почетный караул, а скорее конвойную стражу религии. Грозный император желал царствовать один, не желал даже с небом делиться своей властью, — это знали все. В начале Реставрации лица повытянулись, и люди науки

¹ Он был подозрителен (франц.).

снова почувствовали тайный страх. Но Людовик XVIII был человек без религиозных убеждений, был остряк, был очень толст, писал скверные латинские стихи и ел хорошие паштеты из печенки; это успокоило публику. Было известно, что он не станет ради спасения души рисковать короной и головой, и чем менее его уважали как человека, тем больше доверия он внушал как король Франции; его фривольность служила гарантией, она и его самого защищала от подозрения в покровительстве черному наследственному врагу, и если бы он остался в живых, французы не совершили бы новой революции. Революцию они совершили в царствование Карла X, короля, чья личность заслуживала величайшего уважения и относительно которого все заранее твердо знали, что, жертвуя спасению своей души всеми благами земными, он с рыцарским мужеством до последнего вздоха будет сражаться за церковь против сатаны и революционеро-язычников. Его свергли с престола именно потому, что считали благородным, добросовестным, честным человеком. Да, таким он и был, так же как и Людовик XVI, но в 1830 году одного подозрения уже было достаточно для того, чтобы Карла X обречь на гибель. Это подозрение также является истинной причиной, по которой внук Карла X не имеет будущности во Франции; известно, что его воспитывало духовенство, и народ называл его всегда *le petit jésuite*.¹

Для Июльской династии было истинным счастьем, что в силу случайности и благодаря условиям времени она избежала этого убийственного подозрения. Отец Луи-Филиппа по крайней мере не был ханжой, это признают даже злейшие его клеветники. Он дал своему сыну возможность свободного умственного развития, и этот сын с молоком кормилицы всосал философию XVIII века. Недаром припев всех легитимистских сетований — что теперешний король недостаточно богобоязнен, что он всегда был свободомыслящим либералом и что даже своих детей он воспитал в неверии. Действительно, его сыновья — в полной мере сыновья новой Франции, получившие образование в ее открытых учебных заведениях. Покойный герцог Орлеанский был гордостью молодого поколения, которое с ним вместе сидело на школьной скамье и в самом деле

¹ Маленький иезуит (франц.).

многому выучилось. То обстоятельство, что мать наследного принца Франции — протестантка, бесконечно важно. Подозрение в ханжестве, ставшее столь роковым для старшей династии, не коснется Орлеанского дома.

Тем не менее борьба с церковью сохраняет здесь свое великое политическое значение. Как ни усилилась за последнее время власть духовенства, как ни значительно его положение в обществе, как ни процветает оно, все же его противники всегда готовы к бою, и если, подвергнувшись ночному нападению, либерализм крикнет: «Ребята, сюда!», во всех окнах тотчас же появятся огни, и стар и млад сбегутся со всевозможными рапирами в руках, а то даже и с якобинскими пиками. Духовенство хочет, как и всегда хотело, достичь во Франции верховного господства; и мы настолько беспристрастны, что его тайные и явные намерения приписываем не мелочному честолюбию, а бескорыстнейшим заботам о спасении души народа. Воспитание юношества — средство, которое разумнее, чем всякое другое, помогает достичь богоугодной цели, и недаром в этой области произошли самые невероятные вещи, и духовенство неизбежно должно было прийти в столкновение с правами университета. Чтобы уничтожить верховный надзор за либеральным образованием, организованным государственной властью, постарались воспользоваться революционными антипатиями к привилегиям всякого рода, и люди, которые не допустили бы даже свободы мысли, если бы им привелось стать у власти, теперь в восторженных выражениях защищают свободу образования и жалуются на умственную монополию. Таким образом, борьба с университетом была отнюдь не случайной стычкой и рано или поздно должна была вспыхнуть; сопротивление тоже было делом необходимости, и университету, хотя бы против воли и желания, все же пришлось поднять перчатку вызова. Но вскоре даже и самым умеренным ударила в головы кипучая кровь страсти, и Мишле, мягкий, луно-кроткий Мишле, пришел вдруг в ярость и в аудитории Коллеж де Франс воскликнул: «Для того чтобы вас прогнать, мы свергли династию, и если надо будет, мы свергнем еще шесть династий, чтобы прогнать вас!» Что именно такие люди, как Мишле и его единомышленник и друг Эдгар Кине, выступили самыми страстными противниками духовенства, — явление уди-

вительное, даже не снившееся мне в то время, когда я впервые читал сочинения этих людей, сочинения, каждая страница которых свидетельствует о самой глубокой симпатии к христианству. Мне вспоминается трогательное место из «Истории Франции» Мишле, где автор говорит о нежной тоске, охватывающей его всякий раз, когда ему приходится говорить об упадке церкви; в эти минуты он чувствует то же, что чувствовал в то время, когда ухаживал за своей старой матерью, у которой во время болезни сделались пролежни, так что он лишь с величайшей осторожностью решался прикоснуться к ее израненному телу. Разумеется, то обстоятельство, что люди, подобные Мишле и Кине, вынуждены оказывать гневное сопротивление, отнюдь не свидетельствует о той хитрости, которую вообще принято называть иезуитством. Серьезность готова изменить нам, когда мы начинаем говорить об этом промахе, особенно в отношении Мишле. Мишле рожден спиритуалистом, ему более чем кому бы то ни было ненавистны просвещение восемнадцатого века, материализм, фривольность тех вольтерьянцев, имя которым все еще легион и с которыми он все же заключил теперь союз. Ему даже пришлось прибегнуть к логике! Жестокая участь для человека, которому по душе только сказочные леса романтики, который больше всего любит покачиваться на мистически голубых волнах чувства и неохотно отдается во власть мыслей, если они не замаскированы в символические одеяния. Насчет его страсти к символическому, его постоянных указаний на символичность я не раз в Латинском квартале слышал очень грациозные шутки, и Мишле там называют *monsieur Symbole*.¹ Но на студенческую молодежь сила фантазии и чувств производит чарующее впечатление, и я не раз тщетно пытался посетить лекцию *monsieur Symbole* в Коллеж де Франс; аудитория его всегда была набита студентами, которые восторженно теснились вокруг знаменитости. Его правдивость и строгая честность тоже, быть может, являются причиной этой любви и уважения к нему. Как писатель Мишле занимает одно из первых мест. Его язык так прекрасен, как только можно себе представить, и все алмазы поэзии сверкают в его речи. Если упрекать его в чем-либо, то прежде всего следует пожалеть

¹ Господин Символ (франц.).

об отсутствии диалектики и порядка; мы встречаем здесь причудливость, доходящую до гримасы, какое-то опьяненное изобилие, где возвышенное переходит в шутовское, умное — в дурацкое. Великий ли он историк? Заслуживает ли он того, чтобы быть поставленным в один ряд с Тьером, Минье, Гизо и Тьерри, этими вечными звездами? Да, заслуживает, хотя историю он пишет совсем иначе, чем они. Если задача историка состоит в том, чтобы в результате изысканий и размышлений наглядно изобразить нам наших предков и их жизнь, деяния эпохи, если волшебной силой слова он должен вызвать из могилы мертвое прошлое, чтобы оно ожило в нашей душе, — если такова задача историка, то мы можем заявить, что Мишле вполне разрешает ее. Мой великий учитель, покойный Гегель, сказал мне однажды: «Если бы записаны были все сны, которые видели люди в течение известного периода, то, прочтя это собрание снов, можно было бы составить себе вполне правильное представление о духе этого периода». «История Франции» Мишле является такой коллекцией снов, книгой сновидений; грезящее средневековье смотрит из нее глубокими страдальческими глазами, призрачно улыбаясь, и мы почти пугаемся резкой правды красок и образов. Действительно, для описания того лунатического времени нужен был именно такой лунатик-историк, как Мишле.

В отношении Кине, так же как и Мишле, и клерикальная партия и правительство ведут себя в высшей степени неумно. Если клерикалы, люди любви и мира, увлеченные своим благочестивым рвением, не проявляют ни благоразумия, ни кротости, это меня не удивляет. Но правительство, во главе которого стоит человек науки, могло бы действовать умнее и мягче. Неужели дух Гизо устал от ежедневной борьбы? Или, быть может, мы в нем ошибались, когда считали его бойцом, который всех упорнее будет защищать завоевания человеческого ума против лжи и духовенства? Когда после падения Тьера он стал у власти, все школьные учителя Германии восторгались им, и мы вторили просвещенному, ученому сословию. Эти дни осанны прошли, и теперь нас охватывают уныние, сомнение, недовольство, которое не в силах высказать то, что оно лишь смутно чувствует и подозревает, и оно переходит, наконец, в угрюмое молчание, так как мы действи-

тельно не знаем, что сказать, так как мы ошиблись в старом учителе, то лучше всего было бы начать болтать о других вещах, а не о современной политике скучающей, сонливой и зевающей Франции. Но образ действий по отношению к Эдгару Кине мы все же должны подвергнуть безусловному порицанию. Как Мишле, так и Эдгара Кине стыдно доводить до такой степени раздражения, что последний, совершенно вопреки глубочайшей сущности своего характера, решился вместе с водой выплеснуть и младенца — Христа и стать в ряды тех когорт, которые составляют крайнюю левую революционной армады. Спиритуалисты на все способны, если привести их в бешенство, и тогда они могут впасть даже в самый трезво-разумный рационализм. Как знать, не станут ли Мишле и Кине в конце концов самыми заядлыми якобинцами, безумнейшими поклонниками разума, фанатически-кощунственными последователями Робеспьера и Марата!

Мишле и Кине не только хорошие товарищи, верные соратники, но и родственные по духу единомышленники. Те же симпатии, те же антипатии. Разница лишь в том, что у первого сердце более мягкое, я сказал бы — более индийское, меж тем как в характере второго есть нечто жесткое, нечто готское. Мишле напоминает мне исполинские стихи «Махабхараты», с их пряностью и их большими цветами; Кине, напротив, напоминает столь же чудовищные, но более крутые и более скалистые песни «Эдды». Кине — натура северная, можно бы сказать — немецкая; характер у него совершенно немецкий, как в хорошем, так и в плохом смысле; дыхание Германии веет во всех его сочинениях. Когда я читаю «Агасфера» или другие произведения Кине, на душе у меня так, словно я на родине; мне чудится, что я внимаю пению отечественных соловьев, слышу запах желтофиолей, знакомые звуки колоколов жужжат у меня в голове, раздаются и хорошо знакомый звон дурацких колпаков; немецкое глубоко-мыслие, немецкую скорбь мыслителя, немецкую душевность, немецких майских жуков, порою и немного немецкой скуки — вот что я нахожу в сочинениях нашего Эдгара Кине. Да, он наш, он немец, добрая немецкая душа, хотя в последнее время он и свирепствовал как яростный германоед. В грубой, слегка неуклюжей манере, с которой он оподчился на нас в «Revue des deux mondes», не было

решительно ничего французского; и именно по крепкому удару кулака и по настоящей грубости мы узнаем соотечественника. Эдгар — совершенный немец, не только по духу, но и по наружности, и тот, кто встречает его на улицах Парижа, конечно принимает его за студента-богослова из Галле, только что провалившегося на экзамене и отправившегося во Францию, чтобы отдохнуть. Фигура сильная, коренастая, нечесанная. Лицо милое, честное, меланхолическое. Серый мешковатый сюртук, сшитый как будто Юнгом-Штиллигом; сапоги, к которым подметки прибывал, быть может, Якоб Беме.

Кине долго жил по ту сторону Рейна, именно в Гейдельберге, где он учился и упивался каждый день «Символической» Крейцера. Он прошел всю Германию пешком, осмотрел все наши готические руины и пил там на брудершафт с самыми выдающимися призраками. В Тевтобургском лесу, где Герман разбил Вара, он отведал вестфальской ветчины с пумперникелями; на Зонненштейне он оставил свою визитную карточку. Посетил ли он в Мельне гробницу Эйленшпигеля, не могу утверждать. Но с полной определенностью знаю одно: во всем свете не найдется теперь и трех поэтов, обладающих такой же фантазией, богатством идей и гениальностью, как Эдгар Кине.

LXI

Париж, 21 июня 1843 г.

Каждый год я неизменно посещаю торжественное заседание в ротонде дворца Мазарини, куда надо прийти за несколько часов до начала, чтобы найти место среди избранных умственной аристократии, к которой, на наше счастье, относятся и прекрасные дамы. После долгого ожидания мы видим, наконец, как из боковой двери выходят господа академики, большинство — люди очень старые или, по меньшей мере, не очень здоровые; красоты здесь искать не следует. Они садятся на свои длинные жесткие деревянные скамьи; хотя и говорится об академических креслах, но в действительности они не существуют и являются только фикцией. Заседание начинается длинной скучной речью о трудах Академии за истекший

год и о поступивших на конкурс сочинениях, речью, которую обычно произносит временный президент. Затем поднимается секретарь, непременный секретарь, — должность такая же вечная, как и королевская власть. Секретарь Академии и Луи-Филипп — лица, которые не могут быть смещены по прихоти министра или палаты. К сожалению, Луи-Филипп уже очень стар, и мы еще не знаем, будет ли его преемник так же талантлив в деле сохранения прекрасного мирного спокойствия. Но Минье еще молод, и, что еще важнее, он является воплощением молодости, его щадит рука времени, которая нам, прочим, окрашивает волосы седной или совсем их выдирает и проводит на лбу такие уродливые складки; у красавца Минье та же прическа в золотистых локонах, как двенадцать лет назад, и лицо его все еще цветущее, как лик олимпийца. Взойдя на трибуну, Непременный берет свой лорнет и оглядывает публику:

Он милых головы считает —
Все тут, все тут, все рядом с ним!

Затем он так же смотрит на сидящих вокруг него коллег, и, если бы я был злым, я составил бы к его взгляду совсем особый комментарий. В такие минуты он мне всегда представляется пастухом, осматривающим свое стадо. Ведь они все принадлежат ему, Непременному, который переживает их всех и будет их вскрывать и бальзамировать в своих *précis historiques*.¹ Кажется, он исследует состояние здоровья каждого из них, чтобы заранее подготовиться к будущей речи. У старика Балланша очень больной вид, и Минье покачивает головой. Так как этот бедняга совсем не видел жизни и на этой земле ничего другого не делал, как только сидел у ног мадам Рекамье да писал книги, которых никто не читает, но всякий хвалит, то Минье в его *précis historiques*, право же, будет трудно придать ему что-либо человеческое и сделать его удобоваримым.

На нынешнем заседании Минье посвятил свою речь покойному Дону. К стыду моему признаюсь, что я о нем знал удивительно мало и только с трудом воскресил в моей памяти некоторые моменты из его жизни. Так же и у других, особенно у молодого поколения, я обнаружил очень

¹ Исторических обзорах (*франц.*).

малую осведомленность насчет Дону. И все же этот человек в течение полувека помогал вертеть большое колесо, и все же он занимал значительнейшие должности при Республике и во время Империи; все же до конца своей жизни он был безупречным поборником прав человека, непреклонным борцом против умственного рабства, одним из тех высоких организаторов свободы, которые хорошо говорили, но действовали еще лучше и прекрасное слово претворяли в целительное дело. Почему же, несмотря на все свои заслуги, несмотря на свою неутомимую политическую и литературную деятельность, он не сделался знаменит? Почему его имя не пылает так ярко в нашей памяти, как имена стольких его коллег, игравших менее значительную роль? Чего недоставало ему, чтобы достигнуть известности? Отвечу коротко: страсти. Лишь путем какого бы то ни было проявления страсти люди на этой земле становятся знамениты. Тут достаточно одного поступка, одного слова, но они должны носить отпечаток страсти. Да, даже случайное столкновение с великими вспышками страсти дает бессмертную славу. Но покойный Дону был мирный монах, хранивший в душе монастырскую тишину, в то время как вокруг него бесновались все бури революции; он выполнял спокойно и бесстрашно свою поденную работу как при Робеспьере, так и при Наполеоне и умер так же скромно, как скромна была его жизнь. Я не хочу сказать, что душа его не горела, но это был жар без пламени, без треска, без шума.

Хотя жизнь Дону и была незаметной, Минье все же сумел пробудить интерес к этому скромному герою, а так как он заслуживал самой высокой похвалы, то ее и можно было воздать ему щедрой мерой. Но если бы Дону даже и вовсе не был человеком, достойным таких похвал, если бы он даже принадлежал к тем бесхарактерным лягушкам, которых было так много в болоте (*marais*) конвента и которые молчаливо продолжали жить в то время, как лучшие договаривались до того, что им отрубали головы, даже если бы он был негодяем, все-таки облака фимпама официальных похвал в изобилии клубились бы вокруг него. Хотя Минье и называет свои речи *précis historiques*, все же они остаются прежними *éloges*,¹ это все те же ком-

¹ Похвалами (*франц.*). (См. комментарии.)

плименты времен Людовика XIV, с той разницей, что они являются не в длинных напудренных париках, а носят самую современную прическу. Теперешний *secrétaire perpétuel* Академии — один из величайших парикмахеров нашего времени, и он проявляет истинный шик в этом благородном ремесле. Если даже у человека нет ни одного приличного волоса, он умеет накрутить ему хоть несколько локончиков похвалы и спрятать плешивую голову под тупею фразы. Как, однако, счастливы эти французские академики! Вот сидят они, полные сладостнейшего душевного спокойствия, на своих прочных скамьях и спокойно могут умереть, ибо знают, что, как бы предосудительны ни были их поступки, добрый Минье после их смерти все же воздаст им хвалу и славу. Под пальмами его речей, вечнозелеными, как пальмы его мундира, они здесь, в Академии, убаюканные журчанием ораторских антитез, отдыхают, как в прохладном оазисе. А караван человечества иногда проходит мимо них, и они этого не замечают или слышат только, как на верблюдах позвякивают бубенцы.



ДОБАВЛЕНИЕ К «ЛЮТЕЦИИ»

КОММУНИЗМ, ФИЛОСОФИЯ И ДУХОВЕНСТВО

I

Париж, 15 июня 1843 г.

Если бы я жил в Риме во времена Нерона и писал корреспонденции для какой-нибудь почтовой газеты Беотии или неофициальной государственной газеты Абдеры, мои коллеги нередко шутили бы по поводу того, что я, например, ничего не сообщаю о государственных интригах императрицы-матери, что я даже никогда не пишу о блестящих обедах, которыми царь иудейский Агриппа каждую субботу угощает дипломатический корпус в Риме, и что, напротив, я постоянно толкую о тех галлилеянах, той темной кучке людей, которая состоит большей частью из рабов и старых женщин, проводит свою бессмысленную жизнь в борьбе и видениях и не пользуется признанием даже со стороны иудеев. Мои хорошо осведомленные коллеги, конечно, улыбнулись бы с особенной прощней, если бы, рассказывая о празднестве при дворе цезаря, празднестве, на котором его величество собственноручно играл на гитаре, я бы не мог сообщить ничего более важного, чем то, что некоторые из этих галлилеян были вымазаны смолою, зажжены и таким образом осветили сады золотого дворца. То была в самом деле примечательная иллюминация, и жестокое, чисто римское остроумие проявилось в том, что так называемые обскуранты должны были послужить светильниками на празднике античной радости жизни. Но это остроумие было посрамлено: те люди-факелы разбросали вокруг себя искры, от которых родилось пламя, охватившее пожаром древний Рим во всем его

дрыхлом великолепии; число этих темных людей стало легион, в борьбе с ними легионам цезаря пришлось сложить оружие, и вся Римская империя, вся власть на суше и на водах принадлежит теперь галллиянам.

Я вовсе не намерен вдаваться здесь в гомилетические рассуждения, я хотел только показать на примере, как победоносно может в далеком будущем оправдаться то внимание, с каким я очень часто говорил в моих статьях о маленькой общине, которая, словно *ecclesia pressa*¹ первого столетия, презираема и гонима в настоящем, а между тем ведет пропаганду, напоминающую своим религиозным жаром и мрачной волей к разрушению галилейские начинания. Я снова говорю о коммунистах, единственной партии во Франции, заслуживающей безусловного уважения. С таким же вниманием я бы отнесся и к обломкам сен-симонизма, приверженцы которого все еще живы под странными вывесками, а равно и к фурьеристам, которые еще продолжают действовать, свежие и бодрые; но ведь этими достойными людьми руководит только слово, социальный вопрос как вопрос, традиционное понятие, и их не влечет демоническая необходимость, они не те заранее предназначенные слуги, руками которых высшая мировая воля осуществляет свои необъятные решения. Рано или поздно рассеявшаяся семья Сен-Симона и весь генеральный штаб фурьеристов перейдут в растущую армию коммунизма и, облекая грубую потребность в созидающее слово, как бы возьмут на себя роль отцов церкви.

Такую роль уже и теперь играет Пьер Леру, с которым одиннадцать лет тому назад я познакомился в зале Тетбу как с одним из епископов сен-симонизма. Превосходный человек, у которого был только один недостаток: он был слишком мрачен для своего тогдашнего положения. И недаром Анфантен высказал ему следующую саркастическую похвалу: «Это добродетельнейший человек с точки зрения прошлого». В его добродетели действительно чувствуется старая закваска времен самоотречения, что-то древнеэпопическое, кажущееся в наш век странным анахронизмом, комически-почтенное по сравнению со светлыми взглядами пантеистической религии наслаждения. Поэтому-то этой печальной птице стало, накопец, не по себе

¹ Гонимая церковь (лат.).

в блестящей клетке, где порхало столько золотых фазанов и орлов, а еще более — воробьев, и Пьер Леру первый протестовал против учения новой нравственности и с фанатическими проклятиями отрекся от пестро-веселой компании. После этого он вместе с Ипполитом Карно принял издание нового «Revue encyclopédique»,¹ и статьи, которые он писал для него, а также книга его «De l'humanité»² составляют переход к тем доктринам, которые он уже в течение года излагает в «Revue indépendante».³ Как обстоит теперь дело с большой «Энциклопедией», в которой деятельнейшее участие принимают Леру и достойный Рейно, — на этот счет не могу сказать ничего определенного. Смеею только утверждать, что этот труд — достойное продолжение его предшественника, того колоссального памфлета в тридцати томах in quarto,⁴ где Дидро резюмировал знания своего века. Отдельным изданием появились статьи, которые Леру в своей «Энциклопедии» обращал против кузеновского эклектицизма, или эклектизма, как французы называют эту нелепость. Кузен — вообще пугало, козел отпущения, с которым Пьер Леру полемизирует с незапамятных времен, и полемика эта превратилась у него в мономанию. В декабрьских номерах «Revue indépendante» эта мономания достигает опаснейшей и скандальнейшей степени безумия. Здесь Кузен подвергается не только нападкам за свои взгляды, но и обвинениям в злоумышленных поступках. Увлеченная вихрем страсти, добродетель на этот раз заходит слишком далеко и пускается в открытое море клеветы. Нет, мы знаем из надежного источника, что Кузен совершенно неповинен в злоумышленных изменениях, которым подвергся посмертный труд его ученика Жюффруа; и мы знаем это не от приверженцев его, а от противников, которые жалуются на то, что Кузен, из боязни повредить интересам университета, советовал не издавать сочинения Жюффруа и сердито отказал в своей помощи. Странное возрождение тех же самых фактов, которые мы пережили в Берлине еще двадцать лет тому назад! На этот раз они нам более понятны, и если наши симпатии не на стороне Кузена, все

¹ «Энциклопедического обозрения» (франц.).

² «О человечестве» (франц.).

³ «Независимом обозрении» (франц.).

⁴ В четвертую долю листа (лат.).

же мы беспристрастно сознаемся, что, нападая на него, радикальная партия выказала такую же несправедливость и ограниченность, какой и мы провинились некогда в отношении к великому Гегелю. И он также очень хотел, чтобы его философия мирно процветала под охранительной сенью государственной власти и не вступала в борьбу с церковью до тех пор, пока достаточно не возмужает и не окрепнет, и человек, чей ум был так несравненно светел, а доктрина так либеральна, излагал ее в столь мрачной, схоластической, замысловатой форме, что не только религиозная, но и политическая партия прошлого увидела в нем своего союзника. У одних только посвященных это заблуждение вызывало улыбку, и улыбку эту мы понимаем лишь теперь; в то время мы были молоды, неблагоприятны и нетерпеливы и ополчались против Гегеля, как недавно во Франции против Кузена ополчалась крайняя левая. Разница только в том, что осторожность, с которой выражается Кузен, не может ввести в заблуждение крайнюю правую; римско-католическо-апостолическое духовенство оказывается здесь гораздо проникательнее, чем королевско-прусско-протестантское; оно знает с полной определенностью, что философия — его злейший враг, что этот враг вытеснил его из Сорбонны, и, чтобы отвоевать эту крепость, оно объявило Кузену истребительную войну и ведет ее с той освященной религией тактикой, где цель оправдывает средства. Так Кузен подвергается нападению с двух противоположных сторон, и в то же самое время, как против него выступает с развешивающимся хоругвями вся армия веры, предводительствуемая архиепископом Шартреским, на него набрасываются и санкюлоты мысли, славные сердца и слабые головы, ведомые Пьером Леру. В этой войне все наши пожелания победы обращены к Кузену, ибо если привилегированное положение университета имеет свои дурные стороны, все же оно препятствует тому, чтобы все дело просвещения перешло в руки людей, преследовавших с неутомимой жестокостью мужей науки и прогресса; и до тех пор, пока Кузен в Сорбонне, костер не будет по крайней мере применяться там, как последний аргумент, *ultima ratio* современной полемики. Да, Кузен стоит там, как знаменосец свободы мысли, и знамя ее развевается над Сорбонной, столь бесславным некогда гнездом обскурантов. В пользу Кузена особенно

свидетельствует то любвеобильное коварство, с которым враги его сумели воспользоваться обвинениями Пьера Леру. На этот раз злая ложь спряталась за спину добродетели, и Кузена обвиняют в таком поступке, за который, если бы он действительно совершил его, клерикальная партия должна была бы воздать ему хвалу, высшую ортодоксальную хвалу; ведь янсенисты, так же как иезуиты, всегда проповедовали правило, что только явному соблазну следует препятствовать во что бы то ни стало. Только явный соблазн — грех, и только его следует избегать, — так елейно говорил набожный человек, канонизированный Мольером. Но нет, Кузен не может похвалиться столь назидательным деянием, какое ему приписывают; оно скорее в духе его противников, которые ищоны, лишь бы избежать скандала или защитить слабые души от сомнения, не стеснялись уродовать книги, а то и вовсе персиначивать или уничтожать их, а иногда мастерить совершенно новые произведения, прикрывая их украденным именем, так что драгоценнейшие памятники и документы прошлого частью совсем погибли, частью же оказываются подложными. Нет, святое рвение — кастрация книг и даже набожная ложь интерполяций — не относится к привычкам философов.

А Виктор Кузен — философ в полном, немецком смысле этого слова. Пьер Леру — философ только в том смысле, который этому слову придают французы, понимающие под философией скорее общие исследования в области общественных вопросов. Действительно, Виктор Кузен — немецкий философ, который больше занимается человеческим духом, нежели потребностями человечества, и в известной степени стал эгоистом благодаря размышлениям о великом Его.¹ Пристрастие к мысли самой по себе поглотило все его духовные силы, но самая мысль возбудила его интерес прежде всего красотой формы, и в метафизике ему в сущности доставляла удовольствие только диалектика; о переводчике Платона можно было бы, пожалуй, перефразировать известное реченье, утверждать, что Платона он любит больше, чем истину. Этим Кузен отличается от немецких философов: для него, как и для них, мышление является конечной целью мышления, но с этим отсутствием

¹ Я (лат.).

философской цели у него сочетается еще некоторый артистический индифферентизм. Как он, должно быть, ненавистен Пьеру Леру, который является другом людей в гораздо большей мере, чем другом мысли, все мысли которого имеют одну заднюю мысль, а именно — интересы человечества, и которому, как иконоборцу от природы, совершенно чуждо художественное наслаждение формой! В этом умственном различии достаточно причин для вражды, и нет надобности объяснять неприязнь Леру к Кузену личными мотивами, мелкими случайностями обыденной жизни. Но и некоторая доля невинной личной злобы, пожалуй, тоже здесь замешана, ибо добродетель, как бы высоко ни подымала она голову, касаясь сию облаков и погружаясь лишь в созерцание неба, все же неизменно хранит в памяти каждый самый маленький укол, полученный сию когда-либо.

Нет, страстная злоба, бешеная ярость Пьера Леру против Виктора Кузена — следствие духовного различия между этими людьми. Это характеры, неизбежно отталкивающие друг друга. Только придя в изнеможение, они сближаются между собою, и одинаковая слабость фундамента придает противоположным доктринам известное сходство. Эклектицизм Кузена — тонкий проволочный мост, соединяющий шотландски-неуклюжий эмпиризм и немецки отвлеченную идеальность, мост, который в лучшем случае может удовлетворить легконогим потребностям нескольких пешеходов, но который весьма плачевно провалился бы, если бы по нему захотело пройти человечество с тяжелой своей сердечной кладью и топчущими боевыми конями. Леру — pontifex maximus в более высоком, но гораздо менее практическом стиле: он хочет построить колоссальный мост, единственная арка которого покоилась бы на двух столбах, возведенных — один из материалистического гранита прошлого века, а другой — из утопических лунных лучей будущего, и в основание этого второго столба он положит еще не открытую звезду Млечного пути. Как только эта гигантская постройка будет окончена, мы сообщим о ней. Собственно, о системе Леру пока что нельзя сказать ничего определенного; до сих пор он дает только материалы, разбросанные камни. К тому же у него полное отсутствие метода — недостаток, присущий французам за немногими исключениями; в числе последних особенно

следует отметить Шарля де Ремюза, который в своих «Essais de philosophie»¹ (превосходная книга!) понял значение метода и проявил большой талант в его применении. Леру, конечно, выше его как творец в области мышления, но ему, как я сказал, недостает метода. У него только идеи, и в этом смысле ему нельзя отказать в некотором сходстве с Иозефом Шеллингом; разница лишь та, что все его идеи касаются спасительного освобождения человечества и что он, будучи очень далек от того, чтобы на старую религию класть философские заплатки, скорее облачает философию в одеяния новой религии. Среди немецких философов Краузе более всех родственен Леру. Бог его — тоже не сверхчувственный, он живет в нашем чувственном мире, но сохраняет все же свою индивидуальность, которая очень ему идет. Леру непрестанно переживает *immortalité de l'âme*,² но никогда не насыщается ею; это не что иное, как усовершенствованное переживание старого учения о совершенствовании. Так как Леру хорошо вел себя в этой жизни, он в будущем существовании надеется достичь совершенства еще более высокого; бог да поможет тогда Кузепу, если он за это время не сделает таких же успехов!

Пьеру Леру, должно быть, лет пятьдесят — по крайней мере, столько можно ему дать; может быть, он и моложе. В физическом отношении природа не слишком щедро его наделила. Это приземистая, коренастая, плотная фигура, которую традиции высшего света не могли научить какой-либо грации. Леру — дитя народа; в молодости он был типографом, и до сих пор еще наружность его хранит черты пролетария. Вероятно, он сознательно пренебрегает обычным лоском, и если он способен к какому-либо кокетству, то, пожалуй, оно состоит в упрямом пристрастии к грубой первобытности. Есть люди, которые никогда не носят перчаток, потому что у них маленькие белые ручки, свидетельствующие об аристократическом происхождении. Пьер Леру тоже не носит перчаток, но, наверно, по совсем другой причине. Он аскет, сторонник самоотречения, враждебный роскоши и всякому чувственному наслаждению, и природа облегчила ему путь добродетели. Но в немалую заслугу мы ставим ему благородство его

¹ «Философских опытах» (франц.).

² Бессмертие души (франц.).

образа мыслей, рвение, с которым он в жертву мысли принес все низшие интересы, вообще — его высокое бескорыстие, и мы еще дальше от мысли унижать достоинство грубого алмаза только потому, что ему не хватает блестящей шлифовки и что даже оправой ему служит мрачный свинец. Пьер Леру — человек, и, что очень редко, с мужественностью характера в нем сочетается ум, поднимающийся до высочайших философских построений, и сердце, способное погружаться в бездны народного горя. Он не только мыслящий, но и чувствующий философ, и вся жизнь его и стремления направлены на улучшение морального и материального состояния низших классов. Он, закаленный боец, который, не моргнув глазом, перенес бы жесточайшие удары судьбы и который, подобно Сен-Симону и Фурье, терпел порою горчайшую нужду и лишения и особенно не жаловался на них, не в силах спокойно переносить бедствия своих собратьев-людей: на его ресницах появляется слеза, когда он видит чужое горе, и взрывы его сострадания бывают бурны, яростны, часто несправедливы.

Я только что допустил нескромное указание на бедность. Но я не мог не упомянуть о ней; эта бедность характерна, и она показывает нам, что этот превосходный человек не только рассудком понял муки народа, но и сам выстрадал их, и что мысли его имеют корни в самой страшной действительности. Это придает его словам пульсацию жизни и обаяние более могущественное, чем силы таланта. Да, Пьер Леру беден, как были бедны Сен-Симон и Фурье, а провиденциальная бедность этих великих социалистов обогатила мир, обогатила сокровищницей мыслей, которые открывают нам новые миры наслаждения и счастья. Всем известно, в какой ужасной нищете прожил Сен-Симон свои последние годы; в то время как он занимался страждущим человечеством, этим великим пациентом, измышляя лекарства от его восемнадцативекового недуга, он сам порой болел от нищеты и поддерживал свое существование только милостыней. Фурье тоже приходилось жить подаянием своих друзей, и я часто видел, как он в сером попошенном сюртуке быстро шел вдоль колонн Пале-Рояля, с нагруженными карманами, причем из одного выглядывало горлышко бутылки, а из другого длинный хлеб. Один из моих друзей, который первый показал мне Фурье, обратил мое внимание на бедность этого чело-

века, который сам должен был ходить в винную лавку за вином и к булочнику за хлебом. «Как это может быть, — спросил я, — что такие люди, такие благодетели человечества должны во Франции терпеть нужду?» — «Разумеется, — отвечал с саркастической улыбкой мой друг, — это не делает особенной чести прославленной стране разума, и, конечно, это не могло бы случиться у нас в Германии: людей с таким образом мыслей правительство тотчас взяло бы под особую опеку и дало бы им пожизненно даровой стол и квартиру».

Да, бедность — это во Франции участь друзей человечества, но для них эта бедность — не только импульс для более глубоких исследований и железистая ванна, укрепляющая духовные силы, — она также реклама, рекомендуемая их учение, и в этом смысле она тоже играет провиденциальную роль. В Германии отсутствие земных богатств прощают весьма добродушно, и в особенности гений имеет у нас право голодать и нищенствовать, не заслуживая этим презрения. В Англии люди уже менее терпимы, заслуги человека там оценивают только по его доходам, и «how much is he worth?»¹ буквально означает: «сколько у него денег, сколько он зарабатывает?» Во Флоренции я собственными ушами слышал, как толстый англичанин с полной серьезностью спрашивал францисканского монаха, сколько он зарабатывает в год тем, что ходит босой и с толстой веревкой вместо пояса. Во Франции — не то, и как ни сильно распространена там жажда промышленного стяжания, все же бедность лучших людей действительно является для них почетным титулом, и я почти готов утверждать, что богатство, давая повод к подозрению в нечестности, бросает тайное пятно, *levis nota*, на людей, в других отношениях безупречных. Вероятно, причина та, что известны нечистые источники, откуда возникло столько крупных состояний. Один поэт сказал: «Первый король был счастливый воин!» Насчет основателей пышных наших финансовых династий мы можем, пожалуй, прозаически сказать, что первый банкир был счастливый мошенник. Правда, культ богатства является во Франции столь же всеобщим, как и в других странах; но это культ без благоговения: француз тоже пляшет

¹ Чего он стоит? (англ.).

вокруг золотого тельца, но пляска его в то же время и зубо-скальство, шутка, насмешка над самим собою, нечто вроде канкана. Это удивительное явление, которое можно отчасти объяснить великодушным характером французов, отчасти же и их историей. При старом режиме лишь происхождение имело цену, только число предков давало право на уважение и честь была плодом с родословного древа. Во время Республики власти достигла добродетель, и деньги попрятались не только от страха, но и от стыда. К этому времени относится возникновение многочисленных толстых су, серьезных медных монет с символами свободы, равно как и традиций денежного бескорыстия, которые живы еще и теперь у высших сановников Франции. Во время Империи процветала только военная доблесть, возникла новая честь — Почетный легион, гроссмейстер которого, победоносный император, с презрением смотрел на гильдию торгашей, занятую денежными расчетами, на подрядчиков, контрабандистов, маклеров, удачливых жуликов. Во время Реставрации богатство интриговало против призраков старого режима, которые снова стали у власти и наглость которых росла с каждым днем; оскорбленные честолюбивые деньги стали демагогичны, начали любезничать с санюлотами, и когда июльское солнце распалило умы, короля-дворянина Карла X скинули с престола. На престол поднялся король-буржуа Луи-Филипп; он представитель денег, которые властвуют теперь, но против которых в общественном мнении фрондируют и побежденная партия прошлого и обманутая партия будущего. Да, аристократическое Сен-Жерменское предместье и пролетарские предместья Сент-Антуан и Сен-Марсо изощряются в насмешках над гордыми выскочками-богачами, и само собою понятно, что старые республиканцы с их добродетельным пафосом и бонапартисты с патетически-героическими тирадами вторят им в том же пренебрежительном тоне. Если взвесить эти совместно действующие злобы, то станет ясно, почему теперь общественное мнение относится к богатым с несколько преувеличенным презрением, в то время как всякий жаждет богатства.

Возвращаясь к теме, с которой я начал эту главу, я в особенности хотел бы отметить здесь, как исключительно благоприятно для коммунизма то обстоятельство, что враг, с которым он борется, несмотря на всю свою мощь,

лишен внутренней нравственной опоры. Современное общество защищается только по необходимости, без веры в свое право, даже без уважения к самому себе, совершенно так, как защищалось то древнее общество, гнилые балки которого рухнули, когда пришел сын плотника.

II

Париж, 8 июля 1843 г.

В Китае даже пзвозчики вежливы. Когда в узкой улице экипажи их сталкиваются и цепляются друг за друга дышлами и колесами, они отнюдь не ругаются и не богохульствуют, как извозчики у нас на родине, а спокойно спускаются с козел, без конца кланяются и приседают, говорят друг другу различные любезности, затем соединенными усилиями стараются привести свои экипажи в должное положение, и когда все снова в порядке, они еще раз проделывают всяческие поклоны и приседания, прощаются друг с другом и разъезжаются. Однако не только наши извозчики, но и наши ученые должны были бы следовать их примеру. Когда эти господа приходят в столкновение, они не говорят любезностей и нисколько не стараются прийти к взаимному соглашению, а ругаются и проклинаят друг друга, как извозчики Запада. И это плачевное зрелище являют нам главным образом богословы и философы, несмотря на то, что первые особенно должны руководствоваться догматами смирения и милосердия, а вторые должны были бы в школе разума прежде всего научиться терпению и хладнокровию. Распря между университетом и ультрамонтанами обогатила уже нынешнюю весну такой флорой грубостей и ругательств, которая с большей пышностью не могла бы развиться даже в наших немецких парниках. Все это разрастается, дает побеги, цветет с неслыханной роскошью. Мы не склонны собирать эти растения, да и не обязаны делать это. Одурачивший аромат ядовитых цветов мог бы броситься нам в голову и помешать оценить с холодным беспристрастием достоинства обеих партий и политический смысл и значительность борьбы. Как только страсти немного выдохнутся, мы попробуем предпринять такую оценку. Но мы можем сказать уже и сейчас: обе стороны правы, и людей побуждает

к действию самая роковая необходимость. Хотя большинство католической партии, мудрое и умеренное, прокликает несвоевременное восстание, поднятое членами их партии, но те слушаются веления своей совести и высшего закона своей веры — «Compelle intrare»,¹ они исполняют свой долг и тем самым заслуживают уважения. Мы их не знаем, мы не можем судить об их личностях, и мы не имеем права сомневаться в их честности...

Эти люди отнюдь не принадлежат к числу моих любимцев, но, откровенно говоря, несмотря на их мрачный, кровавый фанатизм, они мне милее, чем веротерпимые амфибии религии и науки, те верующие эстеты, что щекочут свои расслабленные души, наслаждаясь благочестивой музыкой и изображениями святых, и во всяком случае они куда милее, чем дилетанты религии, которые влюблены в церковь, но не оказывают строгого повиновения ее догматам, только заигрывают со священными символами, но не хотят по-настоящему вступить с ними в брачный союз, и которых здесь называют *catholiques marçons*.² Они теперь наполняют наши фешенебельные церкви, например Сент-Мадлен или Нотр-Дам-де-Лоретт — эти священные будуары, где господствует приторнейший вкус рококо, кропильница, пахнущая лавандой, скамеечки с мягчайшими подушками, розоватый свет и томные песнопения, всюду цветы и резвящиеся ангелы, кокетливое благоговение, обмахивающееся веерами Буше и Ватто, — помпадурствующее христианство.

Название «иезуиты», которое здесь присваивают противникам университета, неверно и несправедливо. Во-первых, иезуиты теперь уже не существуют в том смысле, который связывается с этим именем. Но если в высших сферах, в дипломатическом мире есть люди, которые, всякий раз как наступает время революционного прилива, объявляют прибой стольких одновременно бушующих волн делом парижского *Comité directeur*,³ то и здесь внизу есть трибуны, которые, когда начинается отлив, когда волны снова отступают, приписывают это явление интригам иезуитов и серьезно воображают, будто в Риме пребывает

¹ Заставь его войти (*лат.*). (См. комментарии.)

² Беглыми католиками (*франц.*).

³ Руководящего комитета (*франц.*).

генерал ордена иезуитов, руководящий всемирной реакцией с помощью своих замаскированных сыщиков. Нет, не существует в Риме такого генерала иезуитского ордена, да нет и в Париже никакого *Comité directeur*: это сказки для взрослых детей, всего лишь пугало, современный пред-рассудок. Или это просто военная хитрость, что противников университета объявляют иезуитами? Действительно, здесь не найдется имени менее популярного. В прошлом столетии против этого ордена велась такая основательная полемика, что немало времени должно еще пройти, прежде чем произнесут ему снисходительный, беспристрастный приговор. Мне кажется, что с иезуитами обращались подчас несколько по-иезуитски и что наветы, в которых они были виновны, приписали им иной раз слишком большие проценты. К отцам ордена Иисуса можно было бы применить слова, сказанные Наполеоном о Робеспьере: они казнены, но не осуждены. Все же придет день, когда и им воздадут справедливость и признают их заслуги. Уже и сейчас мы должны признать, что учреждениями своей миссии они необычайно содействовали улучшению нравов, цивилизации, что они были целебным противоядием от зачумляющих жизнь мязмов Пор-Рояля, что даже подвергавшееся таким порицаниям учение о соглашении было, пожалуй, единственным средством, благодаря которому церковь могла сохранить господство над свободолюбивым современным человечеством, жаждущим наслаждений. «*Mangez un boeuf et soyez chrétiens*», ¹ — говорили иезуиты своим духовным детям, которым на страстной неделе хотелось съесть кусочек говядины; но их уступчивость была следствием необходимости, и позднее, укрепив свою власть, они снова посадили бы плотоядное человечество на самую скудную постную пищу. Мягкие доктрины для мятежного настоящего, железные цепи для порабощенного будущего. Как они были умны!

Но никакой ум не справится со смертью. Они давно лежат в могилах. Разумеется, есть люди в черных плащах и огромных треугольных войлочных шляпах, но это не настоящие иезуиты. Так же, как иной раз смиренная овца из тщеславия, или своекорыстия, или ради шутки надевает волчью шкуру радикализма, так иногда в лисьей

¹ Ешьте говядину и будьте христианами (*франц.*).

шкуре пезуитства оказывается скудоумный ослик. Да, они умерли. Отцы общества Иисуса оставили в ризницах только свой гардероб, но не дух. Он появляется в других местах, и некоторые поборники университета, столь усердно заклинающие этот дух, быть может одержимы им, сами того не замечая. Сказанное, конечно, не относится к господам Мишле и Кине, честнейшим и правдивейшим людям; нет, здесь я прежде всего имею в виду полноправного министра народного просвещения, ректора университета г-на Вильмена. Двусмысленный образ действий его высокопревосходительства всегда возмущает меня. Увы, только остроумие и слог этого человека заслуживают уважения. Кстати сказать, мы на этом примере убеждаемся, что знаменитое изречение Бюффона: «Le style, c'est l'homme»¹ — в корне неверно: слог г-на Вильмена прекрасен, благороден, соразмерен и опрятен. От упрека в пезуитстве я также не вполне могу избавиться и Виктора Кузена. Небу известно, что я склонен воздавать справедливость достоинствам г-на Кузена, что я охотно признаю блеск его ума; но слова, которыми он в Академии недавно возвестил о переводе Спинозы, не свидетельствуют ни о мужестве, ни о любви к истине. Конечно, Кузен оказал бесконечную услугу интересам философии, сделав Спинозу доступным мыслящей Франции, но он должен был бы тут же честно сознаться, что церкви он этим не принес большой пользы. Однако он сказал, что Спинозу перевел один из его учеников, воспитанник *École normale*,² для того чтобы приложить к переводу опровержение, и что в то время как клерикальная партия столь резко нападает на университет, именно этот бедный, невинный, обвиненный в ереси университет опровергает Спинозу, опасного Спинозу, этого непримиримого врага веры, писавшего свои богоубийственные книги пером из черного крыла Сатаны! «Кого здесь обманывают?» — восклицает Фигаро. Вот так и объявил Кузен в *Académie des sciences morales et politiques* о французском переводе Спинозы; перевод чрезвычайно удался, а хваленое опровержение настолько слабо и убого, что в Германии его сочли бы произведением иронии.

¹ Стиль — это человек (*франц.*).

² Высшей педагогической школы (*франц.*).

III

Париж, 20 июля 1843 г.

Каждый народ имеет свой национальный недостаток; есть он и у нас, немцев, и это наша знаменитая медлительность: мы прекрасно знаем, что у нас в сапогах, и даже в ночных туфлях, свинец. Но какая польза французам от всей их подвижности, от их живого, проворного нрава, если они так скоро забывают то, что сделали? У них нет памяти, и это их величайшее несчастье. Здесь плоды всякого дела и всякого злодейства теряются по забывчивости. Каждый день они вновь должны совершать круговорот своей истории, опять начинать свою жизнь с начала, снова биться в былых сражениях, и на следующий день победитель уже забывает, что он победил, а побежденный так же легкомысленно забывает свое поражение и его полезные уроки. Кто выиграл великое сражение в июле 1830 года? Кто его проиграл? Об этом, по крайней мере, должны были бы помнить в том большом госпитале, где, как выразился Минье, каждая низверженная власть помещала своих раненых! Мы позволяем себе сделать это единственное замечание по поводу прений, которые происходили в палате пэров по вопросу о среднем образовании и в которых клерикальная партия потерпела только видимое поражение. На самом же деле она восторжествовала, и то, что она выступила на сцену как организованная партия, было уже достаточным триумфом. Мы далеки от того, чтобы порицать это смелое выступление, и нам оно нравится гораздо больше, чем та нерешительная половинчатость, в которой можно обвинить ее противников. Каким жалким оказался г-н Вильмен, мелкий ритор, ветреный *bel-esprit*,¹ этот протухший вольтерьянец, чуть-чуть потершийся около отцов церкви, чтобы приобрести известную серьезную окраску, и одушевленный невежеством, прямо-таки грандиозным. Не понимаю, как г-н Гизо тут же не дал ему отставки, ибо это ученическое заимствование, это отсутствие самых скудных предварительных сведений, это научное ничтожество должны были возбудить неудовольствие великого ученого в гораздо большей степени, чем какая-либо политическая ошибка! Гизо несколько раз

¹ Остроумец (*франц.*).

пришлось взять слово, чтобы хотя отчасти скрыть слабость и бессодержательность своего коллегии; но все, что он говорил, было вяло, бесцветно и неутешительно. Без сомнения, он говорил бы лучше, если бы был не министром иностранных дел, а министром просвещения и ломал копыя в защиту особых интересов этого ведомства. Он даже оказался бы еще более опасным для противной партии, если бы, вовсе не обладая светской властью, вооруженный только своим умственным могуществом, просто как профессор выступил бы на арену в защиту прав философия. В таком более благоприятном положении находился Виктор Кузен, и ему в этом случае прежде всего подобает честь. Кузен не дилетант в философии, как довольно брюзгливо утверждали на днях; он скорее великий философ, он здесь родной сын философии, и когда на нее напали ее непримиримые враги, нашему Виктору Кузену пришлось произнести свою *oratio pro domo*.¹ И говорил он хорошо, даже прекрасно, с убеждением. Величественное зрелище всегда представляют те миролюбивейшие люди, которых отнюдь не одушевляет жажда брани, но которые внутренними условиями своей жизни, силой событий, всей своей биографией, своим положением, своим характером, короче говоря — неотразимой властью рока бывают вынуждены вступить в бой. Таким бойцом, таким гладиатором необходимости явился Кузен, когда нефилософический министр народного просвещения оказался не в силах защитить интересы философии. Никто не знал лучше, чем Виктор Кузен, что дело здесь идет не о чем-нибудь повом, что слово его мало может способствовать разрешению старого спора и что нельзя ожидать решительной победы. Подобное сознание всегда действует гнетущим образом, и весь огненный блеск ума никак не мог скрыть здесь внутреннюю скорбь, вызванную бесплодностью всех усилий. Даже на противников Кузена его речь произвела впечатление, делающее ему честь, и вражда, которую они питают к нему, равносильна признанию. Вильмена они презирают, Кузена же боятся. Они боятся не его образа мыслей, не его характера, не его индивидуальных достоинств или недостатков, — они в нем боятся немецкой философии. О боже мой! Здесь нашей немецкой философии

¹ Речь о себе (лат.).

и нашему Кузену оказывают слишком большую честь. Хотя он рожден диалектиком, хотя он к тому же обладает величайшим талантом в области формы, хотя при его философской специальности ему поддержкой служит художественное чутье, все же он еще очень далек от того глубокого понимания сущности немецкой философии, которое дало бы ему возможность формулировать ее системы чистым, ясным, общепонятным языком, а это необходимо для французов, не столь терпеливых, как мы, при изучении отвлеченного языка. А то, чего нельзя выразить на хорошем французском языке, не опасно для Франции. Как известно, отделение *des sciences morales et politiques* Французской академии избрало задачей конкурса изложение немецкой философии начиная с Канта, и очень может быть, что Кузен, которого тут надо считать главным распорядителем, искал помощи чужих сил там, где его собственные оказались недостаточны. Но и другие не разрешили этой задачи, и на последнем торжественном заседании Академии нам было объявлено, что и в этом году нельзя присудить премию ни за одно сочинение о немецкой философии.



ТЮРЕМНАЯ РЕФОРМА И УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Париж, июль 1843 г.

После четырехнедельных прений в палате депутатов о законопроекте тюремной реформы этот проект принят, наконец, с весьма несущественными поправками и значительным большинством голосов. Отметим с самого же начала, что только министр внутренних дел, истинный автор этого законопроекта, твердо стоял на высоте задачи, с точностью знал, чего хотел, и добился триумфа благодаря превосходству своих сил. Докладчик, г-н Токвиль, заслуживает похвалы за ту твердость, с которой он отстаивал свои мысли; это человек с головой, не отличающийся особым мягкосердечием и доводящий аргументы своей логики до точки замерзания; недаром его речам, точно рубленому льду, свойствен какой-то морозный блеск. Но то, чего недостает г-ну Токвилю, — нежная душевность, — в высшей степени присуще его другу г-ну де Бомону, и эти двое неразлучных, всегда появляющиеся вместе, как в своих путешествиях, так и в своих сочинениях, прекрасно дополняют друг друга и в палате депутатов. Один, острый мыслитель, и другой, мягкий, душевный человек, связаны между собою, как бутылочка с уксусом и бутылочка с прованским маслом. Но оппозиция — какой шаткой, какой бессодержательной, какой слабой она оказалась на этот раз! Она не знала, чего хотела, она вынуждена была признать необходимость реформы, не могла предложить ничего положительного, все время противо-

речила сама себе, возражая и тут, как обычно, только по глупой привычке к оппозиционному ремеслу. А между тем ей легко было бы удовлетворить этой склонности, если б она села на высокого коня идеи, на какого-нибудь великодушного Росинанта из мира теорий, вместо того чтобы ползать по ровному месту, ловя случайные пробелы и слабые стороны правительственной системы, и придирается к мелочам, не будучи в силах потрясти целое. Даже наш несравненный дон Альфонсо де Ламартин, изобретательный феодал, не выказал здесь своей идеальной рыцарственности. А представлялся ведь благоприятный случай, и он мог бы в потрясающих Олимп словах подвергнуть здесь обсуждению высочайшие и важнейшие вопросы человечества, он мог бы наговорить здесь целые огнедышащие горы речей и затопить палату океаном поэзии, воспеваящей гибель мира. Но нет, благородному идальго изменило на этот раз его прекрасное безумие, и он говорил так же благоразумно, как самые трезвые из его коллег.

Да, только в области идеи оппозиция могла бы если не одержать победу, то по крайней мере блеснуть. Оппозиция немецкая воспользовалась бы таким случаем, чтобы стяжать себе ученыи лавры. Потому что ведь тюремный вопрос — часть общего вопроса о значении наказания, и тут выступают на сцену обширные теории, о которых мы упомянем сегодня только совсем бегло и кратко, чтобы при обсуждении нового тюремного закона стать на немецкую точку зрения.

Мы видим здесь прежде всего так называемую теорию возмездия, старый суровый, первобытный закон, то *jus talionis*,¹ которое мы в страшной наивности находим еще у ветхозаветного Моисея: жизнь за жизнь, око за око, зуб за зуб. После мученической смерти великого миротворца исчезла и эта идея искупления, и мы можем утверждать, что кроткий Христос лично дал удовлетворение древнему закону и уничтожил его для всего человечества. Странно! В то время как религия является здесь в свете прогресса, философия остается неподвижной: и теория уголовного права наших философов, от Канта до Гегеля, несмотря на все различие в выражениях, все еще остается

¹ Право возмездия (лат.).

старым *jus talionis*. Даже наш Гегель не сумел придумать ничего лучше и мог лишь в некоторой мере одухотворить, даже возвысить до поэзии, жестокость этой точки зрения. У него наказание — *право преступника*; дело в том, что, совершая преступление, он тем самым приобретает неотъемлемое право на соответственное наказание; последнее есть как бы объективное преступление. Здесь, у Гегеля, принцип искупления совершенно тот же, что у Моисея, лишь с тою разницей, что Моисей носил в груди античное понятие о роке, а Гегелем всегда руководило современное понятие о свободе; преступник у него — свободный человек, само преступление — акт свободы, и он должен получить то, чего заслуживает. Одно замечание по этому поводу. Мы далеко ушли от древнежреческой точки зрения, и нам противно думать, что если отдельная личность совершила злодеяние, все общество *in corpore*¹ вынуждено совершить то же самое злодеяние, торжественно повторив его. Но для той современной точки зрения, которую мы встречаем у Гегеля, наш общественный уровень еще слишком низок, ибо Гегель всегда предполагает абсолютную свободу, от которой мы еще очень далеки и которой, пожалуй, достигнем не слишком скоро.

Вторая наша теория наказания, заслуживающая быть отмеченной, — теория устрашения. В ней нет ничего ни религиозного, ни философского, она просто нелепа. По этой теории человека, совершившего преступление, карают для того, чтобы третий боялся совершить такое же преступление. В высшей степени несправедливо, чтобы кто-нибудь страдал ради пользы другого, и теория эта всегда напоминала мне бедных *souffre-douleurs*,² которых в былые времена воспитывали вместе с маленьким принцем и секли всякий раз, как их сиятельному товарищу случилось совершить какой-нибудь проступок. Эта пошлая и легкомысленная теория устрашения заимствует у жреческой теории ее, так сказать, *pompes funèbres*,³ она также воздвигает на площади некую *castrum doloris*,⁴ чтобы приманить и смутить зрителей. Государство в этом случае — шарлатан, с той лишь разницей, что обыкновенный

¹ В совокупности (*лат.*).

² Козлов отпущения (*франц.*).

³ Похоронное великолепие (*франц.*).

⁴ Крепость скорби (*лат.*). (См. комментарий.)

шарлатан уверяет, будто он не причиняет боли, когда рвет зубы, а этот шарлатан, напротив, своими страшными орудиями грозит причинить мучения сильнее тех, которые, быть может, на самом деле придется вынести бедному пациенту. Это кровавое шарлатанство всегда было мне противно.

Упомянуть ли мне здесь как об особой теории о так называемой теории физического принуждения, которая в мое время появилась на свет в Геттингене и его окрестностях? Нет, она не что иное, как старое тесто утраченного, лишь по-новому замешенное. Об этой теории я как-то целую зиму слушал низменно-прозаическую болтовню ганноверского Ликурга, прискорбного гофрата Бауэра. Этой попытке я подвергал себя тоже вследствие физического принуждения, так как болтун был экзаменатором на моем факультете, а я в то время собирался стать *doctor juris*.¹

Третья значительная теория наказания — та, которая имеет в виду улучшение нравственности преступника. Истинная родина этой теории — Китай, где всякий авторитет восходит к отцовской власти. Всякий преступник там — невоспитанное дитя, которое отец пытается исправить, и притом — бамбуковой тростью. В новое время этот патриархальный, добродушный взгляд нашел почитателей главным образом в Пруссии, и они пытались ввести его и в законодательство. Эта бамбуковая теория прежде всего вызывает в нас опасение, что не помогут никакие исправительные меры, пока не исправятся сами исправители. В Китае глава государства, кажется, смутно предчувствует такое возражение, и когда в Срединной империи совершается какое-нибудь неслыханное злодеяние, император, сын неба, подвергает себя суровой каре, думая, что сам он каким-нибудь грехом навлек на страну это бедствие. Нам доставило бы большое удовольствие, если бы наш отечественный пиетизм впадал в подобные заблуждения и ради пользы государства рьяно умерщвлял свою плоть. В Китае следствием этого патриархального взгляда является то, что наряду с наказаниями существуют и узаконенные награды, что за хорошие поступки человек получает какую-нибудь почетную пуговицу с бантом или без банта, подобно тому как за дурные поступки

¹ Доктором прав (*лат.*).

ему достается соответствующая порция ударов, и, таким образом, выражаясь философски, бамбук служит наградой порока, орден же — наказанием добродетели. Недавно в рейнских провинциях сторонники телесного наказания натолкнулись на сопротивление, источником которого являются чувства не особенно оригинальные, чувства, которые, к сожалению, следует рассматривать как пережиток французского, чужеземного господства.

У нас есть еще и четвертая значительная теория наказания, которая едва может быть обозначена этим названием, так как понятие «наказания» здесь почти совершенно исчезает. Ее называют теорией предупреждения, ибо руководящим принципом в ней является предупреждение преступления. Самыми ревностными сторонниками этого принципа выступают прежде всего радикалы всех социалистических направлений. Наиболее решительным среди них нужно считать англичанина Оуэна, не признающего права наказания до тех пор, пока не устранена причина преступления — социальное зло. Так думают и коммунисты как материалистического, так и спиритуалистического толка, причем последние прикрашивают евангельскими текстами свое отвращение к традиционному уголовному праву, которое они называют ветхозаветным законом мести. Фурьеристы, будучи последовательны, тоже не могут признать право наказания, потому что по их теории преступления порождаются извращенными страстями, и их государство именно ставит себе задачу — путем новой организации человеческих страстей препятствовать их извращению. Конечно, сен-симонисты имели слишком высокое понятие о бесконечности человеческой души, чтобы вдаваться в такую же размеренную и нумерованную систематизацию страстей, какую мы встречаем у Фурье. Однако преступление они тоже считали не только результатом общественных недостатков, но и результатом неправильного воспитания и от благовоспитанных, более правильно руководимых страстей ожидали полного возращения, всемирного царства любви, где были бы преданы забвению все греховные предания и идея уголовного права показалась бы святотатством.

Менее восторженные и даже очень практические натурны также стали на сторону теории предупреждения, поскольку от воспитания народа они ожидали уменьше-

ния числа преступлений. Они еще внесли совсем особые политико-экономические предложения, имеющие целью в достаточной мере защитить преступника от его собственных злых побуждений, подобно тому как общество охраняется от самого злодеяния. Мы стоим здесь на положительной почве теории предупреждения. Здесь государство становится как бы большим полицейским учреждением в благороднейшем и достойнейшем смысле слова, где злая склонность лишена всех побудительных мотивов, где выставки лакомств и модных товаров не вызывают бедняка на воровство, а убогую кокетливость — на проституцию, где никакие воровские выскочки, никакие Роберы Макеры высшего финансового мира, никакие торговцы человеческим мясом, счастливые мерзавцы, не смеют открыто выставить напоказ свою бесстыдную роскошь, короче говоря — где подавляется развращающий дурной пример. Если же, несмотря на все меры предосторожности, преступления все же происходят, то преступников стараются обезвредить: их сажают в тюрьму или, если они уж слишком опасны для общественного спокойствия, то понемножку казнят. Правительство как представитель общества пользуется здесь наказанием не как карой, а как необходимым средством самообороны, и большая или меньшая степень этого наказания определяется только степенью потребности в социальной самозащите. Только с этой точки зрения мы стоим за смертную казнь, или, вернее, за умерщвление крупных злодеев, которых полиция должна уничтожать так же, как она убивает бешеных собак.

Если внимательно прочесть *exposé des motifs*,¹ которое французский министр внутренних дел предпосылает своему законопроекту, касающемуся тюремной реформы, то станет очевидно, что основную мысль составляет здесь последний из указанных взглядов и что так называемый принцип пресечения является у французов в сущности лишь практикой нашей теории предупреждения.

Итак, в принципе все наши взгляды совершенно сходятся со взглядами французского правительства. Но чувства наши восстают против средств, которыми доброе намерение должно быть осуществлено. К тому же эти средства мы считаем совершенно неподходящими для

¹ Изложение оснований (франц.).

Франции. В этой общительной стране одиночное заключение (пенсильванская система) была бы неслыханной жестокостью, и французский народ слишком великодушен, чтобы подобной ценой покупать свое общественное спокойствие. Поэтому я убежден, что, даже после того как палаты дадут свое согласие, страшная, бесчеловечная, прямо-таки противоестественная система одиночного заключения не будет осуществлена, а те многие миллионы, которых будут стоить соответствующие постройки, окажутся, слава богу, деньгами, брошенными на ветер. Эти темницы нового, буржуазного рыцарства народ разнесет с таким же озлоблением, с каким он некогда разрушил дворянскую Бастилию. Как бы страшна и мрачна ни была она на вид, все же она была лишь светлым киоском, веселой беседкой по сравнению с этими маленькими, немymi американскими преисподними, которые мог выдумать только тупоголовый пистетист, а одобрить — бездушный лавочник, трепещущий за свою собственность. Добрый, благочестивый буржуа отныне может спокойно спать — об этом с похвальным усердием будет заботиться правительство. Но почему бы им и не спать немножко меньше? Лучшие люди должны теперь проводить ночи бодрствуя. И к тому же, разве нет у них господ бога, который защитит их, благочестивых? Или они, благочестивые, сомневаются в этой защите?



ИЗ ПИРЕНЕЕВ

I

Бареж, 26 июля 1846 г.

С незапамятных времен не было такого большого съезда на барежские воды, как в этом году. Деревушка, насчитывающая около шестидесяти домов и нескольких дюжин временных бараков, уже не может вместить всех больных; те, что приехали слишком поздно, лишь с трудом нашли жалкое пристанище на одну ночь и вынуждены были уехать обратно, не получив исцеления. Большинство приезжих— французские военные, собравшие в Африке обильную жатву лавров, ран и ревматизма. Раздается крик старших офицеров времен Империи, старающихся в ванне потопить память славных дел, которая при всякой перемене погоды вызывает у них такой неприятный зуд. Находится здесь также и немецкий поэт, которому, пожалуй, от многого надо исцелиться, но который до сих пор отнюдь не потерял рассудка и уж во всяком случае не посажен в сумасшедший дом, вопреки утверждениям берлинского корреспондента достохвальной лейпцигской «Всеобщей газеты». Конечно, мы можем ошибаться: Генрих Гейне, пожалуй, безумнее, чем думает сам; но мы с уверенностью можем утверждать, что здесь, в анархической Франции, ему всё еще позволяют расхаживать на свободе, чего, вероятно, не разрешили бы в Берлине, где полиция умственной безопасности распоряжается строже. Как бы то ни было, благочестивые души на Шпрее могут утешиться: если не дух, то тело поэта достаточно обременено сокрушительными недугами, и на пути из Парижа сюда его страдания были так нестерпимы, что недалеко от

Багер-де-Бигор ему пришлось оставить экипаж и продолжать дорогу по горам на носилках. Во время этого возвышенного путешествия он видел немало отрадных картин; никогда еще солнечный блеск и зелень лесов не пленяли его так сильно, и вершины огромных утесов, подобные головам каменных великанов, смотрели на него со сказочным состраданием. Верхние Пиренеи дивно хороши. Особенно живительно действует на душу музыка горных ручьев, которые, словно оркестр в полном составе, низвергаются в шумящий поток на дне долины, так называемый *gave*. Так пленительно при этом звучат колокольчики овечьих стад, особенно когда эти стада целой толпой, прыгая и будто ликуя, спускаются с горных пастбищ; впереди идут длинношерстные овцы и бараны с дорическими рогами, и на шеях у них большие колокольчики, а рядом бежит молодой пастух, который ведет их на стрижку в деревню, расположенную в долине, и собирается заодно навестить свою милую. Несколько дней спустя звон колокольчиков оказывается уже менее веселым, потому что тем временем прошла гроза и низко нависли пепельно-серые тучи; вот молодой пастух с остриженными, зябнущими голыми барашками снова грустно поднимается в свое горное уединение; он весь закутан в коричневый, усеянный заплатами плащ, и расставание, наверно, было горько.

Это зрелище мне живо напоминает чудную картину Декана, которая была в этом году на выставке и которую многие, в том числе и самый сведущий в искусстве француз — Теофиль Готье, подвергли несправедливо суровому порицанию. Пастух, изображенный на этой картине во всем своем изодранном величии и напоминающий настоящего короля нищих, старается укрыть от дождя бедную овечку под лохмотьями плаща на своей груди; тупые, мрачные грозовые тучи с их мокрыми гримасами, безобразно-косматая овчарка — все на этой картине изображено так правдиво, с такой верностью природе Пиренеев, без всякой сентиментальной окраски и без слащавой идеализации, что талант Декана почти пугает нас, открываясь здесь в своей самой наивной обнаженности.

Сейчас Пиренеи дают многим французским художникам весьма благодарный материал, причем главную роль

играют здешние живописные национальные костюмы, и произведения Леле, которым наш меткий собрат по оружию всегда давал такую удачную оценку, вполне заслуживают похвал, выпавших им на долю. У этого художника та же верность природе, лишенная, однако, скромности, проявляющаяся почти слишком заorno и вырождающаяся в виртуозность. Действительно, одеяния горных жителей — беарнцев, басков и пограничных испанцев — так своеобразны и так картинны, как только может требовать молодой энтузиаст кисти, презирающий банальный фрак; особенно живописен головной убор женщин, ярко-красный капюшон, спускающийся до бедер и закрывающий черный пояс. Одетые таким образом, пастушки представляют очаровательнейшее зрелище, когда, верхом на муле, сидя высоко в седле и держа под мышкой старинную прляку, они со своими рогаатыми черными питомцами перебираются через самые высокие горные вершины, и причудливое шествие вырисовывается чистейшими контурами на солнечно-голубом фоне неба.

Здание, в котором находится барежское купальное заведение, составляет ужасающий контраст к окружающим красотам природы, и его хмурая внешность вполне соответствует внутренности помещения: зловеще-мрачные каморки, подобные склепам, со слишком узкими каменными ваннами, чем-то вроде временных гробов, в которых ежедневно в течение часа можно упражняться в неподвижном лежании с вытянутыми ногами и скрещенными на груди руками, — полезная подготовка для кончающих свой жизненный путь. Самым плачевным несовершенством Барежа является недостаток воды; здесь нет избытка целебной влаги. Печальную помощь в этом отношении оказывают так называемые бассейны, довольно узкие водоемы, в которых одновременно может купаться в стоячем положении дюжина или даже полторы дюжины человек. Здесь бывают соприкосновения, которые редко оказываются приятными, и тут понимаешь во всем их глубокомыслии слова веротершимого венгерца, который, поглаживая усы, говорил своему товарищу: «Мне совершенно все равно, что представляет собой человек, христианин ли он или еврей, республиканец или бонапартист, турок или пруссак, — лишь бы он был здоров».

Барезж, 7 августа 1846 г.

О терапевтическом значении здешних купаний я не решаюсь высказать определенное суждение. Да, пожалуй, и вообще нельзя сказать о них ничего определенного. Можно химически разложить воду источника и точно вычислить, сколько в ней содержится серы, соли или масла, но никто не решится, даже в определенных случаях, объявить действие этой воды вполне испытанным, надежным целебным средством, так как это действие целиком зависит от индивидуальных свойств организма больного, и купанье, которое при одинаковых болезненных симптомах приносит пользу одному, на другого не действует вовсе или, пожалуй, даже оказывает наименее вредное влияние. Целебные источники, так же как, например, магнетизм, имеют в себе силу, которая вполне доказана, но насколько не определена и границы которой, так же как ее сокровеннейшая сущность, до сих пор остались неизвестны исследователям, и врач применяет их только в виде опыта, в том случае, когда все другие средства недействительны. Когда сын Эскулапа совсем уже не знает, что ему делать с пациентом, он посылает нас на воды с длиннейшим предписанием, которое представляет не что иное, как открытое рекомендательное письмо в адрес случайности!

Съестные припасы здесь очень плохи, но тем дороже. Завтрак и обед в высоких корзинах приносят в комнаты к приезжим довольно неопрятные служанки, совсем как в Геттингене. Если бы только у нас здесь был тот же юношеский, академический аппетит, с которым мы когда-то разжевывали самую сухую ученую телятину «Георгии-Августы»! Сама жизнь здесь так же скучна, как на усеянных цветами берегах Лейны. Но я не могу не упомянуть, что мы насладились двумя прелестными балами, причем все танцоры явились без костылей. Дело не обошлось и без нескольких дочерей Альбиона, отличавшихся красотой и неуклюжестью: они танцевали так, как будто ехали верхом на ослах. Среди французов блистала дочь знаменитого Целлариуса, которая — о, что за честь для маленького Барезжа! — собственными ножками протап-

певала здесь польку. Несколько молодых балетных русалок парижской Большой оперы, называемых крысами, в том числе и среброногая мадемуазель Леломм, кружились здесь, проделывая свои антраша, и при виде их мне опять живо вспомнился мой милый Париж, где из-за одних танцев и музыки мне под конец стало невмоготу и куда, однако, сердце стремится опять. Причудливо-забавное волшебство! От одних только удовольствий и увеселений Париж в конце концов делается так утомителен, так тягостен, так невыносим, все утехы связаны с таким изнуряющим напряжением, что испытываешь ликующую радость, когда, наконец, становится возможным бежать с этой увеселительной каторги, — а не успеет пройти несколько месяцев вдали от нее, как какая-нибудь мелодия вальса или просто тень ножки балерины пробуждают в нас страстную тоску по Парижу! Но это случается только со старыми питомцами этого сладостного тюремного заведения, отнюдь не с юными буршами нашего землячества, которые, проведя короткий семестр в Париже, прежалобно сетуют, что здесь не так уютно-тихо, как по ту сторону Рейна, где введена система одиночного размышления, что здесь нельзя так спокойно собраться с мыслями, как хотя бы в Магдебурге или Шпандау, что нравственное чувство здесь утрачивается в шумных волнах наслаждения, которые перегоняют друг друга, что образ жизни здесь слишком рассеянный... Да, он в Париже действительно слишком рассеянный, ибо в то самое время, как мы стараемся рассеяться, рассеиваются и наши деньги!

Ах, деньги! Рассеиваться они умеют даже здесь, в Барреже, несмотря на скуку этой целительной дыры. Дороговизна здешней жизни превосходит всякое представление; пребывание здесь обходится более чем вдвое против того, что тратишь на других водах в Пиренеях. И какая жадность у этих жителей гор, которых обычно почитают чем-то вроде детей природы, остатками простодушной расы! Они поклоняются деньгам с ревностью, близкой к фанатизму, и, собственно, это их национальный культ. Впрочем, разве деньги сейчас не божество всего мира, всемогущий бог, которого самый закоренелый атеист не может отрицать даже в течение каких-нибудь трех дней, ибо без его божественной помощи булочник не отпустит ему и самой маленькой булочки?

На этих днях, в сильный зной, явились в Барез целые рои англичан; румяно-здоровые, бифштексные лица, составляющие почти оскорбительный контраст к бледному обществу посетителей вод. Самый значительный среди этих приезжих — непомерно богатый и довольно известный член парламента из шайки тори. Этот джентльмен, по-видимому, не любит французов, но зато нас, немцев, удостаивает величайшей благосклонности. Он особенно восхвалял нашу честность и верность. И в Париже, заявил он, где он думает провести зиму, он обзаведется не французскими слугами, а только немецкими. Я поблагодарил его за доверие, которым он почтил нас, и рекомендовал ему нескольких соотечественников, принадлежащих к исторической школе.

Как известно, в числе посетителей здешних вод находится также принц Немурский, который со своей семьей живет в нескольких часах пути отсюда, в Люце, но ежедневно приезжает в Барез брать ванну. Когда он в первый раз присхал для этого в Барез, он сидел в открытой коляске, несмотря на то, что в тот день стояла скверная, туманная погода; из этого я вывел заключение, что он, должно быть, очень здоровый человек и во всяком случае не боится насморка. Прежде всего он посетил здешний военный госпиталь, где благосклонно беседовал с больными солдатами, расспрашивая об их ранах, о сроках их службы и так далее. Хотя подобная демонстрация является не чем иным, как старой пьесой для трубы, которая уже многим высокопоставленным особам давала возможность показать свою виртуозность, все же она всегда достигает цели, и когда принц прибыл в купальное заведение, где его ожидала любопытная публика, он уже был довольно популярен. Тем не менее герцог Немурский менее любим, чем его покойный брат, в достоинствах которого было больше искренности. Этот чудный человек, или, лучше сказать, эта чудная человеческая поэма, носившая имя Фердинанда Орлеанского, словно написана была популярным, понятным для всех стилем, тогда как герцог Немурский вылился в менее доступную для толпы художественную форму. Внешность обоих принцев всегда представляла замечательную противоположность. Внешность герцога Орлеанского была беспечно-рыцарственной; во внешности другого есть скорее нечто утонченно-патри-

пианское. Первый был настоящий молодой французский офицер, искрящийся самой легкомысленной отвагой, именно той породы, что с одинаковой охотой штурмует стены крепостей и женские сердца. Говорят, герцог Немурский — храбрый воин, полный самого хладнокровного мужества, но не очень воинственный. Поэтому, когда он достигнет власти, он не соблазнится трубой Беллоны с той легкостью, на какую был способен его брат, — что очень приятно для нас, ибо мы предчувствуем, какая драгоценная страна может стать театром войны и какой наивный народ должен будет в конце концов оплатить военные расходы. Я только хотел бы знать, так же ли терпелив герцог Немурский, как его славный отец, который благодаря этой особенности, отсутствующей у всех его французских противников, неутомимо одерживал победы и сохранял мир для прекрасной Франции и для всего мира.

III

Бареж, 20 августа 1846 г.

Герцог Немурский тоже терпелив. Что он обладает этой основной добродетелью, я заметил по спокойствию, с которым он переносит всякое промедление, когда ему готовят ванну. Он отнюдь не напоминает своего двоюродного деда с его знаменитым «*J'ai failli attendre!*»¹ Герцог Немурский умеет ждать, и я заметил в нем еще одно хорошее качество — он не заставляет долго ждать других. Я — его преемник (преемник по купальне), и должен сказать ему в похвалу, что он выходит из ванны так же пунктуально, как обыкновенный смертный, которому здесь время отмерено с точностью до одной минуты. Он каждый день приезжает сюда, большей частью в открытом экипаже, и сам правит лошадьми; рядом с ним сидит скучающий кучер с нахмуренным, надутым лицом, а позади него — увесистый немецкий камердинер. Очень часто, если погода хорошая, герцог идет рядом с экипажем весь путь от Люца до Барежа, так как он, по-видимому, очень любит физические упражнения. Часто также

¹ Мне чуть было не пришлось ждать! (*франц.*).

он в обществе своей супруги, одной из красивейших женщин, предпринимает прогулки в замечательные горные местности. Так, он недавно приехал с нею сюда, чтобы подняться на Пик-дю-Миди; и пока герцогиню с ее компаньонкой несли в гору на носилках, молодой герцог поспешил их обогнать, чтобы на вершине горы иметь возможность некоторое время без помехи и в одиночестве полюбоваться теми поразительными красотами природы, которые так идеально возвышают нашу душу над низким повседневным миром. Но когда принц взобрался на вершину горы, он узрел там вытянувшихся в струнку... трех жандармов! А ведь ничто в мире не может произвести более отрезвляющего и охлаждающего впечатления, чем лицо жандарма, подобное скрижалям закона, и ужасающий лимонно-желтый цвет его портупей. Тут все мечтательные чувства, так сказать, задерживаются в груди au nom de la loi.¹ Я грустно рассмеялся, когда мне рассказали, каким забавно-сердитым стало выражение лица у герцога Немурского при виде сюрприза, приготовленного ему на вершине Пик-дю-Миди служебным рвением префекта.

Здесь, в Бареже, с каждым днем становится все скучнее. Самое несносное, собственно говоря, — не отсутствие светских развлечений, а скорее то, что не испытываешь преимуществ одиночества, ибо здесь вечный крик и шум, не допускающий тихой мечтательности и каждую минуту вспугивающий наши мысли. С раннего утра до поздней ночи раздается резкое, раздражающее нервы щелканье бича — здешняя национальная музыка. Если же вдобавок портится погода и горы в дремоте натягивают на уши свои туманные колпаки, время превращается в тоскливую вечность. Тогда сама богиня скуки, с главой, покрытой свинцовым капюшоном, и с «Мессиадой» Клопштока в руке, проходит по улицам Барежа, и в сердце того человека, на которого она бросит зевающий взгляд, высыхает последняя капля жизненной отваги! Дело доходит до того, что я с отчаяния больше не пытаюсь избегать общества нашего покровителя, члена английского парламента. Он все еще воздает дань справедливейшего уважения нашим семейным добродетелям и нравственным достоинствам. Только мне думается, что любит он нас менее восторженно

¹ Именем закона (франц.).

с тех пор, как я в одной из наших бесед заметил, что немцы теперь испытывают сильное желание иметь флот, что мы для всех судов нашего будущего флота уже придумали имена, что патриоты в пританеях принуждения желают прясть только лен для парусины вместо шерсти, которую они пряли до сих пор, и что дубы в Тевтобургском лесу, спавшие со времен поражения Вара, проснулись, наконец, и добровольно предложили себя в мачты. Благородному британцу очень не понравилась эта новость, и он заметил, что мы, немцы, лучше сделали бы, если бы с нераздробленными силами продолжали постройку Кельнского собора, великого создания веры наших отцов.

Всякий раз как я говорю с англичанами о моем отечестве, я с глубочайшим стыдом замечаю, что ненависть, которую они питают к французам, делает гораздо больше чести этому народу, чем та наглая любовь, которую они проявляют к нам, немцам, и которой мы всегда обязаны какому-либо пробелу в нашем материальном могуществе или в наших умственных способностях: они нас любят за наше морское бессилие, при котором можно не заботиться ни о какой торговой конкуренции; они нас любят за нашу политическую наивность, которой надеются воспользоваться по-старому в случае войны с Францией.



МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН 1844 года

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Париж, 25 апреля 1844

A tout seigneur tout honneur. ¹ Сегодня мы начнем с Берлиоза, первый концерт которого открыл собой музыкальный сезон и мог бы рассматриваться как увертюра к нему. Те более или менее новые вещи, которые были представлены здесь публике, встречены были подобающими аплодисментами, и даже самые вялые умы увлекла сила гения, проявляющегося во всех созданиях великого художника. Тут слышится взмах крыльев, обличающий необыкновенную певчую птицу: это — огромный соловей, соловей орлиного роста, какие будто бы водились в первобытном мире. Да, в музыке Берлиоза мне чудится нечто первобытное, если не допотопное, и она мне напоминает об исчезнувших породах животных, о сказочных царствах и грехах, о нагромождении невозможностей, о Вавилоне, о висячих садах Семирамиды, о Ниневии, о чудесах Мидраима, подобных тем, какие мы видим на картинах англичанина Мартина. Действительно, если мы станем искать аналогии в живописи, то обнаружим наибольшее родственное сходство между Берлиозом и безумным британцем: тот же вкус к чудовищному, к исполинскому, к материально неизмеримому. У одного — резкие теневые и световые эффекты, у другого — пронзительная инструментовка; у одного — мало мелодии, у другого — мало красок, у обоих мало красоты и никакой душевности. Их творения ни античны, ни романтичны, они не напоминают

¹ Всякому почет по заслугам (*франц.*).

ни Грецию, ни католическое средневековье, нет, они восходят гораздо выше — к ассирийско-вавилонско-египетскому периоду архитектуры и к страстям народных масс, нашедшим в ней свое выражение.

Зато каким приличным, современным человеком является наш Феликс Мендельсон-Бартольди, наш прославленный земляк, о котором мы упоминаем прежде всего по поводу его симфонии, исполнявшейся в концертном зале Консерватории! Дейтельному усердию его здешних друзей и покровителей мы и обязаны этим наслаждением. Хотя эта симфония Мендельсона была очень холодно встречена в Консерватории, все же она заслуживает признания всех настоящих знатоков искусства. Она подлинно прекрасна и принадлежит к лучшим работам Мендельсона. Но почему же столь заслуженный и высокоодаренный художник со времени исполнения «Павла», просто навязанного здешней публике, никак не найдет себе лаврового венка, который расцвел бы для него на французской почве? Почему безуспешны здесь все старания, и последняя отчаянная попытка театра «Одеон», исполнение хоров к «Антигоне», тоже привела лишь к плачевному результату? Мендельсон всегда дает нам повод для размышлений о высших проблемах эстетики. В частности, он всегда ставит перед нами главный вопрос: в чем различие между искусством и ложью? В этом художнике мы больше всего дивимся его великому формальному, стилистическому таланту, его дару усваивать самое исключительное, его чарующе прекрасной фактуре, его тонкому, ящеричному слуху, его нежным щупальцам и его серьезному, я почти сказал бы — страстному, равнодушию. Если мы станем искать аналогичных явлений в одном из родственных искусств, то найдем его на этот раз в поэзии, и называется оно Людвиг Тик. Этот художник тоже всегда умел воспроизводить, пером или словом, самое превосходное, он даже умел творить наивное, и все же он никогда не создал ничего такого, что покоряло бы толпу и жило бы в ее сердце. Более одаренный Мендельсон уж скорее мог бы создать нечто бессмертное, но не в той области, где прежде всего требуются страсть и правда, то есть на сцене; так же и Людвиг Тик, несмотря на его самое жгучее желание, никогда не мог создать произведение драматическое.

Кроме симфонии Мендельсона, мы с большим интересом прослушали симфонию покойного Моцарта и не менее талантливое сочинение Генделя. Они имели большой успех.

Наш любезный соотечественник Фердинанд Гиллер пользуется среди настоящих знатоков искусства почетом слишком большим, чтобы мы, как ни знамениты имена, названные только что, все же не должны были отметить его здесь наряду с композиторами, чьи произведения встретили в Консерватории заслуженное признание. Гиллер в большей мере мыслящий, нежели чувствующий музыкант, и, помимо всего, его упрекают в слишком большой учености. Пусть в его произведениях знание и ум иногда несколько расхолаживают, — как бы то ни было, они всегда грациозны, привлекательны и красивы. Здесь нет и следа криворотой эксцентричности, — Гиллер связан художественным родством душ со своим соотечественником Вольфгангом Гете. Гиллер тоже родился во Франкфурте, где я, когда был там последний раз проездом, видел его отцовский дом; он носит название «Зеленая лягушка», и на дверях дома изображена лягушка. Однако сочинения Гиллера никогда не напоминают это немзыкальное животное, а только соловьев, жаворонков и прочих весенних птиц.

В этом году тоже не было недостатка в концертирующих пианистах. В частности, мартовские иды явились в этом отношении днями весьма роковыми. Все это тренькает всюю и желает быть услышанным, хотя бы лишь для вида, чтобы по ту сторону парижской заставы иметь возможность вести себя так, как ведут себя великие знаменитости. Выпрошенный или выкраденный клочок фельетонной похвалы эти неофиты от искусства умеют, особенно в Германии, проэксплуатировать надлежащим образом, и вот в тамошних рекламах говорится, что прибыл знаменитый гений, великий Рудольф В., соперник Листа и Тальберга, фортепьянный герой, который произвел в Париже столь сильное впечатление и которого даже хвалил критик Жюль Жанен. Осанна! Тот, кто случайно видел в Париже одну из этих бедных мух и вообще знает, как мало внимания обращают здесь на лиц гораздо более значительных, найдет легкое верие публички чрезвычайно забавным, а тяжеловесное бесстыдство виртуозов весьма отвратительным. Но порок коренится глубже, а именно —

в состоянии наших газет; последнее же есть лишь результат еще более прискорбных условий. Я вынужден вечно повторять, что есть лишь три пианиста, заслуживающих серьезного внимания, а именно: Шопен, чарующий поэт-композитор, который, к сожалению, и эту зиму был очень болен и редко показывался; затем Тальберг, музыкальный джентльмен, которому, благодаря изяществу облика, в конце концов вовсе и не нужно было бы играть на рояле, чтобы его всюду приветствовали, и который на свой талант смотрит, по-видимому, как на придаток; и, наконец, наш Лист, который, несмотря на все свои недостатки и оскорбительную угловатость, остается все-таки нашим дорогим Листом и в настоящую минуту снова привел в волнение высшее общество Парижа. Да, он здесь, великий носитель возбуждающих сил, наш Франц Лист, странствующий кавалер всех возможных орденов (за исключением французского ордена Почетного легиона, который Луи-Филипп не желает давать ни одному виртуозу), он здесь, гогенцоллерн-гехингенский советник, доктор философии и доктор — фокусник музыки, воскресший вновь гамельнский крысолов, новый Фауст, за которым вечно следует пудель в образе Беллони, — он здесь, облагороженный дворянским званием и, несмотря на это, по-прежнему благородный Франц Лист! Он здесь, современный Амфион, который звуками своих струн при постройке Кельнского собора привел в движение камни, так что они соединились вместе, как некогда стены Фив! Он здесь, современный Гомер, на которого, как на своего уроженца, предъявляют права Германия, Венгрия и Франция, три величайшие страны, между тем как на певца «Илиады» заявляли притязания всего лишь семь маленьких провинциальных городишек! Он здесь, Аттила, божий бич всех эраровских роялей, которые уже при известии о его прибытии начинают трепетать, а под его руками содрогаются, истекают кровью и жалобно стонут, так что обществу покровительства животных следовало бы вступить за них. Он здесь, безумное, прекрасное, безобразное, загадочное, роковое и вместе с тем весьма ребячливое дитя своего времени, гигантский карлик, неистовый Роланд с венгерской почетной саблей, гениальный Ганс-дуралей, безумие которого нас самих сводит с ума и которому мы во всяком случае оказываем добросовестную услугу, до-

водя до всеобщего сведения о великом фуроре, вызываемом им здесь. Мы просто констатируем факт его огромного успеха; как мы, с нашей частной точки зрения, объясняем этот успех и заслуживает ли вообще нашего частного одобрения знаменитый виртуоз или нет, ему, наверно, безразлично, так как голос наш — лишь голос отдельной личности, и авторитет наш в области музыки не имеет особого значения.

Когда прежде мне приходилось слышать о головокружении, охватывавшем Германию, особенно Берлин, всякий раз, как там появлялся Лист, я с состраданием пожимал плечами и думал: тихая предвоскресная Германия не хочет упустить случай чуточку подвигаться в дозволенных пределах, она хочет немного поразмяться после долгого сна, и мои абдериты на берегах Шпрее рады вызывать в себе искусственный энтузиазм хотя бы с помощью щекотки и декламировать, подражая друг другу: «Амур, повелитель людей и богов!» Им, думал я, важно пошуметь ради самого шума, существен шум как таковой, как бы ни назывался повод к нему — Георг Гервег, Франц Лист или Фанни Эльслер; когда запрещают Гервега, они хватаются за Листа, безопасного и некомпрометирующего. Так думал я, так я объяснял себе листоманию, считая ее признаком политически несвободного состояния по ту сторону Рейна. Я ошибся, однако, и это я заметил на прошлой неделе в Итальянской опере, где Лист давал свой первый концерт, и давал его перед публикой, которую вполне можно было назвать цветом здешнего общества. Во всяком случае это были бодрствующие парижане, люди, которые находятся в курсе всех великих современных событий, которые более или менее длительно переживали великую драму современности, в том числе немало инвалидов всех родов художественных наслаждений, самые усталые мужи дела, женщины, которые тоже очень устали, так как они всю зиму танцевали польку, множество занятых и пресыщенных душ — право же, не перед германски-сентиментальной, берлински-чувствительной публикой играл Лист, совершенно один, или, вернее, только под аккомпанемент своего гения. И все же какое сильное, какое потрясающее впечатление производила уже одна его наружность! Как неистово было одобрение, встретившее его аплодисментами! К ногам его бросали

и букеты! То было величественное зрелище, когда триумфатор в полном спокойствии стоял под дождем букетов и, наконец, учтиво улыбаясь, воткнул в петлицу красную камелию, выдернув ее из одного такого букета. И это он сделал в присутствии нескольких молодых солдат, только что прибывших из Африки, где дождем на них сыпались не цветы, а свинцовые пули и где грудь их бывала украшена красными камелиями собственной героической крови, причем ни здесь, ни там на это не обращали особенного внимания! «Удивительно! — думал я. — Эти парижане, видевшие Наполеона, которому приходилось давать одно сражение за другим, чтобы приковать к себе их внимание, они теперь встречают восторгами нашего Франца Листа!» И какие восторги! Настоящее сумасшествие, неслыханное в летописях фурора. Но в чем же причина этого явления? Решать этот вопрос должна, быть может, скорее патология, нежели эстетика. Один врач, по специальности — гинеколог, на мой вопрос о том, каким способом Листу так удается зачаровывать публику, улыбнулся в высшей степени странно и наговорил тут всякой всячины о магнетизме, гальванизме, электричестве, о заразительности, неизбежной в душном зале, полном бесчисленных восковых свеч и нескольких сот надушенных и потеющих людей, об актерской эпилепсии, о явлении щекотки, о музыкальных кантаридах и других щекотливых вещах, имеющих, кажется, отношение к мистериям *bona dea*.¹ Возможно, однако, что решение вопроса надо искать не в такой причудливой глубине, а на весьма прозаической поверхности. Все колдовство — так мне кажется временами — может быть объяснено тем, что никто в этом мире так хорошо не умеет организовать свои успехи, или, вернее, их мизансцену, как наш Франц Лист. В этом искусстве он гений, Филадельфия, Боско, более того — Мейербер. Аристократичнейшие личности — его кумовья, и его наемные энтузиасты образцово выдрессированы. Хлопающие бутылки шампанского и слухи о расточительной щедрости, про которую трубят заслуживающие наибольшего доверия газеты, в каждом городе приманивают рекрутов. Тем не менее возможно, что наш Франц Лист действительно очень тороват по природе и чужд скряжничества, этого

¹ Доброй богини (лат.). (См. комментарий.)

отвратительного порока, липнущего к стольким виртуозам, в особенности итальянцам, и обнаруживающегося даже у сладостного, как флейта, Рубини, про скупость которого рассказывают весьма забавный во всех отношениях анекдот. Знаменитый певец предпринял вместе с Францем Листом артистическое турне на половинных расходах, и доход от концертов, которые предполагалось давать в разных городах, они должны были делить между собой. Великий пианист, который всюду возит с собою главного режиссера своей славы, уже упомянутого синьора Беллони, поручил ему всю деловую сторону поездки. Но когда синьор Беллони, закончив все дела, дал отчет, Рубини с ужасом заметил, что в числе общих расходов была указана значительная сумма издержек на лавровые венки, букеты, хвалебные стихи и прочие принадлежности оваций. Наивный певец воображал, что эти знаки одобрения кидали ему ради его прекрасного голоса, его охватил теперь страшный гнев, и он ни за что не хотел оплатить букеты, в которых, быть может, находились и драгоценнейшие камелии. Если бы я был композитором, этот спор дал бы мне прекрасный сюжет для комической оперы.

Но ах! Не будем слишком подробно вникать в почести, пожидаемые виртуозами. Ведь так краток день их суетной славы, и скоро наступает час, когда музыкальный титан, весь сморщившись, может, пожалуй, превратиться в какого-нибудь весьма приземистого городского музыканта, который, честью уверяя, рассказывает завсегда таям кафе о том, как ему некогда бросали букеты с прекраснейшими камелиями и как однажды даже две венгерские графини, чтобы схватить его посохой платок, сами кинулись на пол и до крови испарапали друг друга! Однодневная репутация виртуозов испаряется и замирает бесследно, точно крики верблюда в пустыне!

Переход от льва к кролику несколько резок. Все же не могу не отметить здесь тех более смиренных пианистов, которые отличились в этом сезоне. Мы не можем все быть великими пророками, нужны также и малые пророки, которых двенадцать штук в дюжине. Самым большим среди малых мы признаем здесь Теодора Делера. Его игра мила, изящна, учтива, чувствительна, и у него совсем своеобразная манера — горизонтально вытянув руку, ударять по клавишам только кончиками согнутых пальцев.

После Делера особого упоминания среди малых пророков заслуживает Халле; это Аввакум с заслугами столь же скромными, сколь и подлинными. Не могу не упомянуть здесь и о г-не Шаде, который, быть может, занимает среди пианистов такое же место, какое Ионе принадлежит среди пророков; пусть никогда не проглатывает его кит!

В качестве добросовестного корреспондента, который обязан сообщать не об одних только новых операх и концертах, но и обо всех прочих катастрофах музыкального мира, я должен упомянуть и о многочисленных бракосочетаниях, совершившихся в нем или грозящих разразиться. Я говорю о действительных, пожизненных и в высшей степени пристойных браках — не о том диком брачном дилетантизме, который обходится без мэра с трехцветным шарфом и без церковного благословения. *Сhacun*¹ ищет сейчас свою *chacunne*.² Господа артисты приплясывают жениховски и напевают эпиталамы. Скрипка роднится с флейтой; не станет дело и за роговой музыкой. Один из трех знаменитейших пианистов недавно женился на дочери величайшего во всех отношениях баса Итальянской оперы; дама эта красива, приветлива и умна. Несколько дней тому назад мы узнали, что в священный брак вступает и другой замечательный пианист из Варшавы, что и он отваживается выплыть в то открытое море, для которого еще не изобрели компаса. Что же, отчаливай от берега, смелый мореплаватель, и буря да не сломает твоего весла! Теперь идут разговоры даже и о том, что величайший скрипач, которого Бреславль прислал в Париж, женится здесь, что и этому мастеру смычка наскучила спокойная холостая жизнь и он хочет узнать страшный неведомый мир, расположенный по ту сторону. Мы живем в героический период. На этих днях обручился столь же знаменитый виртуоз. Он, как Тесей, нашел прекрасную Ариадну, которая будет вести его сквозь лабиринт этой жизни; у нее никогда не будет недостатка в клубке ниток, потому что она портниха.

Скрипачи теперь в Америке, и до нас дошли забавнейшие известия о триумфальных шествиях Оле Булля, этого

¹ Каждый (франц.).

² Каждую (франц.).

Лафайета от сенсации, рекламного героя обоих полушарий. Антрепренер его успехов арестовал его в Филладельфии, чтобы заставить оплатить расходы на овации. Знаменитость заплатила, и теперь уже нельзя будет говорить, что белокурый норманн, гениальный скрипач, кому-нибудь обязан своим успехом. Тем временем мы здесь, в Париже, слушали Сивори; Порция сказала бы: «Раз уж господь бог выдает его за мужчину, то и я буду считать его мужчиной». Другой раз я, быть может, преодолею свое недомогание и поговорю об этом играющем на скрипке рвотном порошке. Александр Батта дал и в этом году хороший концерт; на большой виолончели он все еще плачет своими маленькими детскими слезами. По этому случаю я мог бы похвалить и г-на Земмельмана; он в этом нуждается.

Приезжал сюда Эрнст. Из каприза он, однако, не пожелал дать концерта; ему угодно играть только у друзей. Этого артиста здесь любят и почитают. Он этого заслуживает. Он истинный пресмник Паганини, он унаследовал колдовскую скрипку, при помощи которой генуэзец умел приводить в волнение камни, даже чурбаны. Правда, Паганини, который легким ударом смычка то уводил нас на самые солнечные выси, то открывал перед нами полные ужаса глубины, обладал мощью гораздо более демонической; но свет и тени бывали у него порою слишком резки, контрасты слишком яркие, и грандиознейшие звуки, столь естественные, часто должны были казаться художественными промахами. Эрнст более гармоничен, и у него преобладают мягкие тона. Все же у него есть пристрастие к фантастическому, также и к причудливому, если даже не к комическому, и многие из его сочинений всегда напоминают мне комедии-сказки Гоцци, затейливейшие маскарады, «Венецианский карнавал». Музыкальное произведение, известное под этим названием и самым наглым образом украденное Сивори, — очаровательнейшее каприччио Эрнста. Этот любитель фантастического может, если захочет, стать и чистым лириком, и я недавно слышал его ноктюрн, который словно весь напоен был красотой. Вам казалось, что вы перенеслись в итальянскую лунную ночь с молчаливыми кипарисовыми аллеями, с отсвечивающими белыми статуями и мечтательно плещущими фонтанами. Эрнст, как известно, подал в Ганновере в отставку, и он уже больше не концертмейстер его вели-

чества короля Ганноверского. Да это место и не годилось для него. Ему бы гораздо больше шло дирижировать камерным оркестром при дворе какой-нибудь королевы фей, например г-жи Морганы; там он нашел бы публику, которая лучше всех понимала бы его, а среди нее — несколько высокопоставленных особ, столь же любящих искусство, сколь и баснословных, — например, короля Артура, Дитриха Бернского, Ожье Датчанина и других. А какие дамы аплодировали бы ему там! Конечно, хороши ганноверские блондинки, но ведь они только дурнушки по сравнению с феей Мелиор, с дамой Абундой, королевой Геновевой, прекрасной Мелузиной и другими знаменитыми женами, пребывающими при дворе королевы Морганы в Авалуне. При этом дворе (а не при каком-нибудь другом) мы надеемся когда-нибудь встретиться с нашим превосходным артистом, ибо и нам тоже обещали там прибыльную должность.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Париж, 1 мая 1844 г.

Académie royale de musique, так называемая Большая опера, находится, как известно, на улице Лепелетье, примерно в середине ее, как раз напротив ресторана Паоло Броджи. Броджи — имя итальянца, бывшего некогда поваром у Россини. Когда в прошлом году последний приезжал в Париж, он посетил и trattoria¹ своего бывшего слуги и, пообедав там, долгое время простоял у двери, в глубоком раздумье созерцая здание Большой оперы. Слеза увлажнила его око, а когда кто-то спросил, чем он так печально взволнован, великий маэстро ответил, что Паоло приготовил для него, как в прежние времена, его любимое кушанье — равиоли с пармезаном, но сам он оказался не в силах съесть и половину порции, да и от нее ему тяжело; он, у которого некогда был желудок, как у страуса, теперь съедает едва ли больше, чем влюбленная горлица.

Оставим нерешенным вопрос, в какой мере старый насмешник мистифицировал своего нескромного вопроша-

¹ Кабачок (итал.).

теля, и ограничимся сегодня тем, что каждому любителю музыки посоветуем съездить у Броджи порцию равиоли, а затем также некоторое время постоять перед дверью ресторана, созерцая здание Большой оперы. Оно отнюдь не отличается блестящей роскошью, по внешности оно скорее похоже на весьма приличную конюшню, и крыша — плоская. На этой крыше стоят восемь больших статуй, которые изображают муз. Девятой недостает, а это — увы! — как раз и есть муза музыки. Отсутствие этой весьма почтенной музы порождает самые странные толки. Прозаические люди говорят, что с крыши ее сбросила буря. Души поэтические, напротив, утверждают, что Полигимния сама бросилась вниз в припадке отчаяния, вызванного отвратительным пением мосье Дюпре. Это вполне возможно; разбитый, стеклянный голос Дюпре стал так неблагоприятен, что ни один человек, а тем более муза, не в силах вынести его. Если это еще продлится, то и остальные дочери Мнемозины бросятся с крыши, и вскоре станет опасно проходить вечером по улице Лепелетье. О скверной музыке, с некоторых пор господствующей здесь, в Большой опере, я и говорить не стану. Доницетти в настоящую минуту еще самый лучший, он — Ахилл. Итак, нетрудно составить представление о героях менее значительных. Я слышу, что и этот Ахилл удалился в свой шатер; он дуется, бог весть отчего, и сообщил дирекции, что не даст обещанных двадцати пяти опер, так как намеревается отдохнуть. Какое хвастовство! Если бы нечто подобное сказала ветряная мельница, мы бы меньше смеялись. Либо ветер есть, и тогда она вертится, либо ветра нет, и она останавливается. Но у г-на Доницетти здесь есть деятельный кузен, синьор Аккурзи, который постоянно создает для него ветер.

Последнее художественное наслаждение, доставленное нам Académie de musique, — «Лаццарони» Галеви. Это произведение постигла печальная участь: оно провалилось под звуки литавр и труб. Я воздерживаюсь от всякого суждения о его достоинствах, я просто констатирую его ужасный конец.

Всякий раз, когда в Académie de musique или у Буффов проваливается опера или случается какое-нибудь исключительное фиаско, там можно увидеть зловещего худощавого человека с бледным лицом и черными как

уголь волосами, — праматерь в мужском роде, чье появление всегда означает музыкальное несчастье. Итальянцы, едва завидят его, сразу же спешат вытянуть указательный и средний пальцы и говорят, что это *jettatore*.¹ Легкомысленные же французы, у которых даже нет предрассудков, просто пожимают плечами и называют эту фигуру мосье Спонтини. Это действительно наш бывший директор берлинской Большой оперы, автор «Весталки» и «Фердинанда Кортеса», двух великолепных произведений, которые долго еще будут цвести в памяти людей и которыми долго еще будут восхищаться, между тем как сам автор не возбуждает никакого восхищения и превратился в завистливый иссохший призрак, в наваждение, которое сердится, глядя на жизнь живых людей. Он не может утешиться, что давно уже умер и что скипетр его перешел в руки Мейербера. Последний, уверяет покойник, вытеснил его из Берлина, который он всегда так любил; и тот, кто из сострадания к бывшему величию терпеливо выслушивает его, может узнать со всеми подробностями, как он собрал уже бесчисленные документы, дабы разоблачить мейерберовские козни и заговоры.

Навязчивой идеей этого бедняги был и будет Мейербер, и рассказывают забавнейшие истории о том, как эта ненависть обезвреживается слишком большой примесью тщеславия. Если какой-нибудь писатель жалуется на Мейербера — например, на то, что он все еще не положил на музыку его стихи, посланные уже много лет тому назад, — Спонтини быстро хватает за руку обиженного поэта и восклицает: «*J'ai votre affaire*,² я знаю способ, каким вы можете отомстить Мейерберу; это верный способ, и состоит он в том, что вы напишете обо мне большую статью, и чем больше вы будете возвеличивать мои заслуги, тем больше будет сердиться Мейербер». Однажды французский министр с раздражением говорил о том, что автор «Гугенотов», несмотря на любезный прием, оказанный ему здесь, все же принял в Берлине рабскую придворную должность, а наш Спонтини подскочил к министру и воскликнул: «*J'ai votre affaire*, вы можете подвергнуть неблагодарного жесточайшему наказанию, поразить его кинжа-

¹ Человек с дурным глазом (*итал.*).

² Я знаю, что вам надо сделать (*франц.*).

лом в сердце, — сделайте меня командором Почетного легиона». На днях Спонтини застаёт Леона Пилье, несчастного директора Большой оперы, в минуту яростнейшего раздражения против Мейербера, который объявил ему через г-на Гуэна, что, ввиду плохого состава певцов, он еще не желает ставить «Пророка». Как засверкали тут глаза итальянца! «J'ai votre affaire! — воскликнул он в восхищении. — Я дам вам божественный совет, как смертельно унижить честолюбца: велите изваять меня во весь рост, поставьте мою статую в фойе Оперы, и эта мраморная глыба как кошмар будет давить сердце Мейербера». Душевное состояние Спонтини начинает в конце концов внушать сильную тревогу его родственникам, а именно, семье богатого владельца фортепьянной фабрики Эрара, которому он доводится зятем. Недавно один знакомый видел его в верхних залах Лувра, где выставлены египетские древности. Кавалер Спонтини стоял почти целый час со скрещенными руками, точно статуя, перед большою мумией, чье пышное золотое обличье говорит нам, что это — царь, и, очевидно, не кто иной, как тот Аменофис, в царствование которого евреи покинули страну египетскую. Спонтини, наконец, прервал свое молчание и сказал следующее своему высочайшему мумифицированному коллеге: «Злополучный фараон! Ты виноват в моем несчастье. Если бы ты не выпустил детей Израиля из страны египетской или если бы ты их всех велел утопить в Ниле, то Мейербер и Мендельсон не вытеснили бы меня из Берлина и я по-прежнему управлял бы там Большой оперой и придворными концертами. Злополучный фараон, слабый крокодилий царь! Твои полумеры привели к тому, что я теперь — погибший человек, и вот победили Моисей, и Галеви, и Мендельсон!» Вот какие речи произносит несчастный, и мы не можем отказать ему в сострадании.

Что касается Мейербера, то, как сказано выше, «Пророк» его еще долго не появится. Сам он, однако, не поселится навсегда в Берлине, как недавно сообщали о том газеты. Как и до сих пор, он одну половину года будет проводить здесь, в Париже, а другую — в Берлине, согласно формальному обязательству, которое он дал. Его положение очень напоминает положение Прозерпины, с той лишь разницей, что бедного маэстро и здесь и там ждут ад и адские муки. Мы уже нынешним летом ожидаем

его сюда, в прекрасный подземный мпр, где его ждт несколько дюжины музыкальных чертей и чертовок, чтобы наполнить своим ревом его уши. С утра до вечера ему приходится выслушивать певцов и певиц, желающих дебютировать здесь, а в свободные часы он должен заниматься альбомами английских путешественниц.

И нынешней зимой Большая опера не испытывала недостатка в дебютантах. Немецкий соотечественник дебютировал в «Гугенотах» в партии Марсея. В Германии он, пожалуй, был всего лишь деревенским детиной с грубым, пивным голосом и решил поэтому, что может выступить в Париже в качестве баса. Кричал он, как дикий осел. Некая дама, которую я также подозреваю в том, что она немка, тоже появилась на подмостках улицы Лепелетьс. Она, говорят, необычайно добродетельна, а пост весьма фальшиво. Уверяют, что не только голос, но и все в ней — волосы, две трети зубов, бедра, зад — все фальшиво, только дыхание неподдельное; это заставит легкомысленных французов держаться в почтительнейшем отдалении от нее. Нашей примадонне г-же Штольц не удастся долго продержаться: почва под ее ногами минирована, и хотя к ее услугам все уловки ее пола, все же в конце концов она будет побеждена великим Джакомо Макьявелли, которому хотелось бы, чтобы вместо нее ангажировали Виардо-Гарсиа для исполнения главной роли в его «Пророке». Г-жа Штольц предвидит свою участь, она предчувствует, что даже страстная любовь к ней директора Оперы не в силах ей помочь, если великий музыкальный искусник пустит в ход свои фокусы, и она решила по собственной воле покинуть Париж, никогда не возвращаться сюда и окончить жизнь в чужих краях. «Ingrata patria, — сказала она недавно, — ne ossa quidem mea habebis». ¹ И в самом деле, с некоторых пор она — кожа да кости.

У Итальянцев, в *Opera buffa*, ² минувшей зимой были столь же блистательные фиаско, как и в Большой опере. Немало там жаловались на певцов, с той разницей, что итальянцы иногда как будто не хотели петь, а бедные французские героини пения не могли петь. Лишь драгоценная соловьиная чета, синьор Марио и синьора Гризи,

¹ Неблагодарное отечество! Даже и костей моих ты не получишь! (лат.).

² Комической опере (итал.).

всегда точные, стояли на своем посту в зале Вантадур и, пуская трели, создавали вокруг нас весну во всем ее расцвете, между тем как за окнами были и ветер, и снег, и фортепьянные концерты, и прения в палате депутатов, и безумствующая полька. Да, то прелестные соловьи, и итальянская же опера — вечно цветущий и поющий лес, где я часто ищу прибежища, когда зимнее уныние обволакивает меня туманом или жизненный холод становится невыносим. Там, в уютном уголке закрытой логи, снова чувствуешь приятное тепло и по крайней мере истекаешь кровью не на морозе. Мелодические чары там превращают в поэзию то, что сейчас лишь было грубой действительностью, печаль исчезает в цветочных арабесках, и сердце вскоре уже смеется вновь. Какое блаженство, когда пост Марио и пение любимого соловья будто отражается в глазах Гризи — зримое эхо! Какой восторг, когда пост Гризи и нежный взор и счастливая улыбка Марио мелодическим эхо откликаются в ее голосе! Это очаровательная пара, и персидский поэт, назвавший соловья розой среди птиц, а розу — соловьем среди цветов, попал бы тут в *imbroglio*,¹ потому что они оба, и Марио и Гризи, одарены не только голосом, но и красотой.

Несмотря на присутствие этой прелестной пары, нам жаль, что здесь, у Буффов, нет больше Полины Виардо, или, как мы предпочитаем называть ее, — Гарсиа. Ее не заменили, и никто не может ее заменить. Она — не соловей, одаренный только талантом своей породы и мастерски рыдающий и пускающий трели в весеннем жанре; она также не роза, ибо она безобразна, но безобразие ее — особое: оно благородно, прекрасно, и порою оно приводило в восторг великого львиного живописца Делакруа. Гарсиа в самом деле напоминает не столько цивилизованную красоту и смирную грацию нашей европейской родины, сколько зловещее великолепие экзотической пустыни, и порою во время ее полной страсти игры, особенно когда она во всю ширь раскрывает свой большой рот с ослепительно белыми зубами и улыбается так жутко-нежно, так мило оскаливает зубы, кажется, что вот появятся и громадные растения и звери Индостана или Африки; думаешь, что вот должны вырасти исполинские

¹ Затруднение (*итал.*).

пальмы, обвитые лианами и тысячами цветов; и никто бы не удивился, если бы по сцене пробежал леопард, или жираф, или даже стадо слонят. Нам было очень приятно услышать, что певица эта снова на пути в Париж.

В то время как Académie de musique переживала при- скорбнейшее время упадка, а итальянцы тоже влачили плачевное существование, на самую отрадную высоту поднялась третья музыкальная сцена, Opéra comique. Здесь один успех превосходил другой, и в кассе все время стоял приятный звон. Да, денег тут пожали еще больше, чем лавров, а это, разумеется, не несчастье для дирекции. Либретто новых опер, дававшихся здесь, все принадлежали Скрибу, человеку, который однажды изрек замечательные слова: «Золото — химера!» И тем не менее он постоянно гоняется за этой химерой. Это человек, верный днюгам, звонкому реализму, он никогда не забирается на высоты романтики, бесплодного мира облаков, и крепко цепляется за земную действительность, где царят брак по расчету, промышленная буржуазия и тантьема. Огромным успехом пользуется новая опера Скриба «Сирена», музыку для которой написал Обер. Либреттист и композитор вполне подходят друг к другу: у них самое утонченное чутье к тому, что интересно, они умеют приятно позабавить нас, они восхищают и даже ослепляют нас блеском своего граненого остроумия, они обладают филигранным талантом сочетания очаровательнейших мелочей и заставляют забыть, что существует поэзия. В искусстве они своего рода лоретки, которые улыбкой сглаживают в нашей памяти все легенды о призраках прошлого и своими кокетливыми ласками, точно опахалами из павлиньих перьев, отгоняют от нас жужжащие мысли о будущем, этих невидимых комаров. К такому безмятежно-галантному разряду принадлежит также Адан, пожавший в Opéra comique, благодаря своему «Калиостро», весьма легкомысленные лавры. Адан — милый, приятный человек и талант, способный еще значительно развиваться. Почетного упоминания заслуживает и Тома, оперетте которого «Мина» очень посчастливилось.

Но все эти триумфы превзошел успех «Дезертира», старой оперы Монсиньи, которую Opéra comique извлекла из архива забвения. Здесь — подлинно французская музыка, самая радостная грация, беспечная прелесть, све-

жесть — как будто благоухают лесные цветы, — правдивость, даже поэзия. Да, в поэзии здесь нет недостатка, но это поэзия, чуждая трепета беспредельности, таинственных чар, тоски, иронии, *morbidezza*; ¹ мне хотелось бы сказать, что это — нарядная крестьянская поэзия здоровья. Опера Монсиньи непосредственно напомнила мне его современника, художника Греза: я словно воочию увидел сельские сцены, изображенные им, и мне показалось, что я слушаю музыку, сочиненную к этим сценам. Слушая эту оперу, я совершенно ясно понял, что изобразительное и звуковое искусство одного и того же периода полны одного и того же духа, и их шедевры свидетельствуют о ближайшем духовном родстве.

В заключение этой корреспонденции не могу не отметить, что музыкальный сезон в этом году еще не окончен и, вопреки обыкновению, не отзвучит еще и в мае. Сейчас даются замечательнейшие балы и концерты, и полька все еще соперничает с фортепьяно. Уши и ноги устали, но всё еще не решаются отдохнуть. Май, так рано явившийся в этом году, терпит фиаско, на зеленую листву и на солнечные лучи почти не обращают внимания. Врачам, и в особенности, пожалуй, врачам по душевным болезням, вскоре будет много дела. В этом пестром вихре, в этой жажде наслаждений, в этом поющем и скачущем водовороте притаились смерть и безумие. Клавиши рояля оказывают страшное действие на наши нервы, а полька, эта ужасная вихревая болезнь, паносит последний удар.

ПОЗДНЕЙШАЯ ЗАМЕТКА

К предшествующим заметкам я, повинуюсь меланхолическому капризу, присоединяю следующие страницы, относящиеся к лету 1847 года и составляющие мою последнюю музыкальную корреспонденцию. С тех пор для меня кончилась всякая музыка; набрасывая картину болезни Доницетти, я не думал, что ко мне приближается такое же и даже гораздо более мучительное испытание. Вот эта краткая заметка.

Со времен славной памяти Густава-Адольфа ни одна шведская знаменитость не наделала в мире такого шума,

¹ Мягкости (*итал.*).

как Йенни Линд. Известия о ней, приходящие к нам из Англии, почти невероятны. В газетах — сплошь трубные звуки, фанфары триумфа; мы слышим одни только пиндарические дифирамбы. Приятель рассказывал мне, что в одном английском городе звонили во все колокола, когда шведский соловей совершал свой въезд; тамошний епископ ознаменовал это событие замечательной проповедью. Он, в своем англиканском епископальном облачении, не лишенном сходства с похоронным нарядом какого-нибудь *chef des pompes funèbres*,¹ поднялся на кафедру главной церкви и приветствовал новоприбывшую как Спасителя в женском платье, как госпожу искупительницу, сошедшую с неба для того, чтобы своим пением освободить наши души от греха, между тем как все другие певицы — только дьяволицы, ввергающие нас своими трелями в пасть сатаны. Итальянки Гризи и Персиани теперь, должно быть, пожелтеют от зависти, уподобятся канарейкам, в то время как наша Йенни, шведский соловей, будет порхать от триумфа к триумфу. Говорю: «наша Йенни», ибо, в сущности, шведский соловей является представителем не только одной маленькой Швеции, но и всех германских племен, — кимвров в такой же мере, как и тевтонов, — она немка в такой же мере, как и ее самородные и растительно-сонные сестры на берегах Эльбы и Неккара; она принадлежит Германии, подобно тому как и Шекспир принадлежит нам, согласно уверениям Франца Горна, подобно тому как Спиноза по самой внутренней своей сущности мог быть только немцем. Мы с гордостью называем Йенни Линд нашей! Ликуй, Укермарк, и ты сопричастен этой славе! Прыгай, Масман, проделывай свои развеселые отечественные прыжки, ибо наша Йенни Линд говорит не на римском жаргоне, а на готском, скандинавском, самом что ни на есть германском языке, и ты можешь приветствовать ее как землячку; но только тебе надо помыться, прежде чем подать ей свою немецкую руку. Да, Йенни Линд — немка, уже самая фамилия Линд вызывает мысль о липах, зеленых кузинах немецких дубов, волосы у нее не черные, как у итальянских примадонн, в ее синих глазах плавают северная душа и лунный свет, а в горле ее звучит чистейшая девственность! В этом все

¹ Распорядителя похоронных процессий (франц.).

дело. «Maidenhood is in her voice»,¹ — говорили все old spinners² Лондона, все целомудренные леди, и благочестивые джентльмены вслед за ними повторяли это, тараща глаза; находящееся все еще в живых mauvaise queue³ Ричардсона вторило им, и вся Великобритания чувствовала в лице Йенни Линд покоее девичество, воспетую девственность. Мы должны сознаться, в этом — ключ к тому непостижимому, загадочно-бурному воодушевлению, которое Йенни встретила в Англии и которым, между нами говоря, она сумеет воспользоваться. Говорили, она поет только для того, чтобы в очень близком будущем получить возможность отказаться от светского пения и, приобретя необходимую для приданого сумму, выйти замуж за молодого протестантского священника, пастора Свенске, ожидающего ее тем временем в своем идиллическом доме при церкви за Упсалой, налево за углом. За это время, правда, стали носиться слухи, будто молодой пастор Свенске — всего лишь миф, а настоящий жених высокой девы — старый отставной комедиант стокгольмской сцены, но это, наверно, клевета. Целомудренный дух этой prima donna immacolata⁴ очаровательнее всего проявляется в ее отвращении к Парижу, современному Содому, которое она высказывает по всякому поводу, к величайшей духовной пользе всех дам-патронесс нравственности по ту сторону пролива. Йенни дала самый твердый обет никогда не появляться со своей поющей девственностью перед парижской публикой на порочных подмостках улицы Лепелетье; она сурово отклонила все предложения, которые г-н Леон Пилле делал ей через посредство своих художественных guffiani.⁵ «Эта строгая добродетель ошеломляет меня», — сказал бы старик Паулет. Уж не справедливо ли народное предание о том, что нынешний соловей был когда-то в Париже и обучался музыке в здешней порочной Консерватории, так же как и другие певчие птицы, ставшие с тех пор весьма безнравственными чижками? Или Йенни опасается той легкомысленной парижской критики, что критикует не нравы певицы, но ее

¹ В ее голосе — девичество (англ.).

² Старые девы (англ.).

³ Дурное охвостье (франц.).

⁴ Непорочной примадонны (лат.).

⁵ Сводников (итал.).

голос и величайшим пороком считает недостаток школы? Как бы то ни было, наша Йенни никогда не придет сюда и своим пением не извлечет французов из их греховного болота. Они осуждены на вечную муку.

Здесь, в парижском музыкальном мире, все по-старому; в Académie royale de musique еще царит седая, сырая, холодная зима, меж тем как на дворе майское солнце и аромат фиалок. В вестибюле все еще стоит исполненная меланхолической скорби статуя божественного Россини. Он молчит. Г-ну Леону Пилье делает честь, что он еще при жизни этого истинного гения поставил ему статую. Ничего нет забавнее тех гримас, с которыми смотрят на нее зависть и злоба. Синьор Спонтини, проходя мимо, стучается каждый раз об этот камень. В этом отношении куда умнее наш великий маэстро Мейербер: идя вечером в Оперу, он всегда осторожно умел обойти этот мрамор преткновенения, он даже старался не глядеть на него; точно так и евреи в Риме обычно делают большой крюк, даже если у них самое неотложное дело, лишь бы не проходить мимо роковой триумфальной арки Тита, воздвигнутой в память гибели Иерусалима. Вести о здоровье Доницетти с каждым днем все печальнее. В то время как его мелодии своей шуточной веселостью радуют свет, в то время как его всюду поют и напевают, сам он, страшное воплощение безумия, находится в больнице неподалеку от Парижа. Только в том, что касается туалета, у него до последнего времени сохранялись еще какие-то ребяческие остатки сознания, и каждый день надо было тщательно одевать его в полный парадный костюм, украшая фрак всеми его орденами: в таком виде он и сидел, не двигаясь, держа в руке шляпу, с раннего утра до позднего вечера. Но и это кончилось, он больше никого не узнает; такова участь человеческая.

ПРИЛОЖЕНИЕ



ДВЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ИЗ ПАРИЖА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ ГЕЙНЕ В «ЛЮТЕЦИЮ»

Париж, 4 февраля [1840 г.]

Оппозиция в своей ограниченности все еще утверждает, что назначение Гизо посланником в Лондон вполне приятно королю и что он только делал вид, будто его принуждают отозвать Себастиани, его старого тайного поверенного. В действительности же это назначение состоялось совершенно вопреки высочайшей воле короля; свое недовольство Гизо он проявляет без всякого стеснения и, наверно, исподтишка сыграет с новым посланником не одну злую шутку. Для политической роли Гизо это вступление на дипломатическое поприще чрезвычайно важно. Или он попадет в Лондоне в невидимые сети и, барахтаясь в них у всех на виду, вызовет смех, или же докажет свои государственные таланты и достигнет в этом отношении уровня Тьера. Пожалуй, теперь г-н Гизо заслужит свои дипломатические шпоры и тем рыцарственнее сможет по возвращении из Лондона вступить в бой с Тьером и Луи-Филиппом. В конце концов завершится же ведь борьба этих трех человек за действительное председательствование в совете. До сих пор король все еще узурпирует это место и управляет с помощью приказчиков, которые называют себя ответственными министрами. В следующем письме я к этому вернусь. Браком герцога Немурского все еще заняты и двор и град (архаический стиль!), преимуществом, впрочем, двор, этот большой полиц, что тысячью хоботов присосался к бюджету, не думая о Корменене, который уже точит в темноте свой нож. Этот памфлетист, который не может простить королевской фами-

лии, что ему не за что ее благодарить, причиняет ей большие страдания, чем, может быть, сам предполагает. Король больше не желает платить пенсию герцогу Немурскому, по той простой причине, что он больше не может ее платить. Двор страшно обременен долгами; как уверял меня вчера один банкир, долг, может быть, превышает уже двадцать миллионов. У короля мало денег, и для него двойная беда, что широкая публика думает противоположное и ропщет на его скупость, между тем как *haute finance*,¹ у которой он хотел бы признаться, прекрасно знает печальную тайну. Вследствие этих денежных затруднений Ротшильд пользуется крайней предупредительностью двора; несколько сот лет тому назад король французский просто-напросто велел бы вырвать ему зубы, чтобы подвигнуть на заем. Но наивные нравы средневековья погибли в потоке революции, и теперь г-н Ротшильд, барон и кавалер ордена Изабеллы, может спокойно прогуливаться по Тюильри и показывать королю, терпящему нужду в деньгах, зубы, не рискуя ни одним корешком. У короля нет денег, и кредит у него сейчас не блестящий. Он собирается устроить заем и должен заложить земли своей сестры. Мадемуазель Аделаида, несмотря на большую нежность к брату, не соглашается еще на эту жертву. Впрочем, долги короля — самого почетного свойства; в большинстве своем они происходят от его страсти к постройкам и произведениям искусства. Это — царственная черта, и она напоминает его великого предка, который оставил ему Версаль, разоривший его самого. Невозможно вообразить себе, какие суммы уже поглотила историческая галерея. При таких обстоятельствах брак герцога Немурского дает королю желанный повод потребовать дотацию для принца и не платить ему больше тех 20 000 франков, которые он дает ему каждый месяц. Теперь король предоставит своему августейшему сыну только квартиру и стол, а во всем остальном будет ссылаться на дотацию. В герцоге эти отцовские решения отнюдь не возбуждают недовольства, как можно было бы предположить; напротив, он находит их вполне разумными, ибо герцог Немурский очень бережлив, очень домовит. Это свойство унаследовано им от царственного отца уже сейчас, еще при его

¹ Финансовая знать (*франц.*).

жизни, и тот не мешает ему в полной мере наслаждаться этим свойством. Так как принц, собирающийся жениться, должен обзавестись своим домом, то множество искателей мест стучится уже в его двери (выражение фигуральное, ибо невыстроенный дом не имеет ведь и дверей!), и один просит о должности управителя, другой — казначея, третий — библиотекаря. Первые два места уже заняты, и как только палата утвердит просимую сумму, казначей примет деньги, управитель же начнет их выдавать. Сегодня я еще не читал газет и не знаю, насколько продвинулись переговоры о дотации. Но знаю одно: что король с героической неутомимостью будет заботиться о денежных делах своих детей. Министров эта отеческая любовь ставит в большое затруднение; только маршал Сульт поддерживает ее с безусловным рвением. Никто не умеет лучше оценить упорство короля в денежных вопросах, чем этот седовласый герой, всенародно объявивший однажды, что будет защищать до последней капли крови каждое су своего жалованья. По случаю бракосочетания герцога Немурского при дворе с неделю тому назад происходил исключительно торжественный прием, на котором приближенные ко двору приносили, как полагается, свои более или менее искренние поздравления. Там присутствовало более шестидесяти дам, большею частью перезрелых и пожилых, пепельно-серый, завядший цветник, из которого, улыбаясь, выглядывало всего два-три молоденьких личика, в том числе белокурая красавица, которая весьма сильно трогала сердце его королевского высочества герцога Орлеанского до его брака, а потом также приводила в волнение и сердце герцога Немурского, но при этом сама лишилась покоя, бедняжка! Лицо ее, напоминающее мне всегда цветущие и радостные женские образы ее земляка Рубенса, покрывала теперь печальная бледность. И ее губы, которые она то и дело облизывала очаровательным язычком, лишены были того свежего колорита, что обычно действовал на лакомых королевских сыновей, как спелые вишни. Тот, кто мог читать в ее глазах, открывал в них филиппики куда более злые, чем те, что когда-либо произносил против монархов и монарших прихотей самый озлобленный трибун. На прошлой неделе нас покинул Генрих Лаубе, который вместе со своей женой, очень образованной и умной дамой,

приехал сюда прошлым летом, объездил большую часть французских провинций, предпринял также недолгую поездку в Африку и несколько месяцев тому назад снова вернулся в Париж. Здесь он занимался преимущественно историческими исследованиями, для которых архивы открыли ему свои ценные материалы. Превосходное критическое чутье этого человека и ясное понимание всех явлений действительной жизни, его познания и взгляды позволят ему, наверно, создать ценную книгу. Здесь получены только два первых тома «Истории немецкой литературы» Лаубе, и общее суждение об этом труде еще невозможно высказать. Если выполнение будет соответствовать началу и общему плану, мы получим сочинение, какого не было до сих пор в нашей литературе и в котором ощущается большая потребность. «История немецкой литературы» Бутервека устарела и не доведена до новейшего периода, первые явления которого были отмечены в ней только полемически; и все же эту книгу надо считать единственной, где широкой публике даются основательные фактические сведения. Другие попытки не охватывают литературы в ее целом, или являются только сводкой рассуждений, сухих заметок, или даже относятся к области хрестоматий. Розенкранц, умнейший и проницательнейший среди современных историков литературы, писал, правда, весьма удачно о немецкой литературе, но не в общей связи всех эпох; средневековью он посвятил особый труд, а что до более поздних эпох немецкого литературного мира, то в своей большой книге он коснулся лишь поэзии, да и то в слишком кратком очерке. Поэтому труд Лаубе явится той книгой, в которой как раз нуждается широкая публика, а именно — подробным изложением всей немецкой литературной жизни, с древнейших времен и до нынешнего дня, поучительным, как учебник, благодаря точности и основательности и занимательным, как беллетристическое произведение, благодаря гармонической прелести художественного языка. Талант и характер соединились здесь, и их сочетание приводит к отраднейшему результату. Дело в том, что Лаубе не только одарен эстетическими способностями, талантом изображения, фантазией и проницательностью, но ему также присущи честность, прямотушие, добросовестность; слова его — правдивое выражение его честного

немецкого сердца. Лаубе дает нам утешительное доказательство того, что и правда может быть остроумной. А нам — увы! — нужно такое утешение в дни, когда остроумная ложь пыжится, полная блистательного самодовольства.

Париж, 20 ноября [1840 г.]

Служение — в природе человека. Не будем спорить о том, какой вид служения благороднее: германец, служивший личности, столь же достоин уважения, как и римлянин, служивший земле, и верноподданничество первого, равно как и любовь к отечеству у второго, стоят не на более низкой ступени, чем служение сверхчувственной идее, например служение богу у евреев. Даже наши радикальнейшие эмансипаторы не могут отрешиться от врожденной склонности к служению: они служат жажде свергнуть иго, служат нетерпению, сбросившему путы, и Робеспьер однажды даже воскликнул: «Я слуга свободы!» Сейчас в лакейской у свободы мало верных слуг, но тем больше блестящих прислужников: гайдуки отменного роста, маленькие дерзкие жокеи, ненадежные скороходы, грубые кучера, лейб-егеря и т. д. Эти люди считают, что они слишком хороши; на самом же деле они, может быть, слишком плохи, чтобы служить личности, и вот из праздности они поступают в услужение к идее за поденную плату, или даже затем, чтобы при случае своровать, или же, если побольше дадут чаевых, для того, чтобы изменнически предать интересы дома. Если бы не было мне известно, что господствующая идея наших дней — а я назову ее по имени: демократия — коренится в почве Франции глубже, чем всякая иная власть, то я очень опасался бы за ее будущее, ибо вблизи ее я замечаю весьма двусмысленные лица, я вижу, как толпа лакеев старого режима облачилась в ее ливрею, и под шляпой ее мажордома, украшенной галунами, я заметил тонзуру. Не подлежит сомнению, что идея демократии во Франции господствует. Огромный сбыт, который находят демократические брошюры, — вернейшее тому доказательство. Правительство ежедневно конфискует их. Самыми значительными за последнее время были брошюры Луи Блана и Ламенне. О первом я уже говорил на этих страницах: это умнейшая головка в своей партии и чест-

нейшее сердце. О блестящих талантах аббата Ламенне мне даже и не приходится рассказывать. Я не сомневаюсь, что у него честные намерения, в частности — в отношении католической религии, для которой он хлопочет о союзе с демократией, так как он полагает, что господство над миром достанется ей. Римская курия не поняла великого священника; суровость, с которой она отвергла его благонамеренное усердие, во всяком случае достойна порицания. Бедный Ламенне! Я понимаю, какое огорчение ему причинили его же собратья, отнесшиеся к нему с такой беспощадностью, к нему, борцу за веру, который, ради ее спасения, братался с еретиками и подвергал себя опасности вечных загробных мук! Ему, римско-католическому Ламенне, пришлось в конце концов отречься от Рима, и это, разумеется, было величайшим горем в его жизни, от которого он просто истекает кровью. Только бы он не раскаялся в этом героическом самопожертвовании! Уже теперь он не может спать по ночам: он видит всюду маленьких чертенят, пляшущих и прыгающих со свечами вокруг его ложа; он видит, как огонь охватывает занавески постели и адское пламя объемлет его; весь трепещет, стуча зубами, он заползает под одеяло, пока не кончится наваждение, а потом горько плачет. Ум не может защитить его от страхов, которые внушает ему вера детских лет, пустившая в его душе глубокие корни; так рассказывают его друзья. Враги, как это всегда бывает, более высокого мнения о силе его ума. Несколько дней тому назад конфисковали «L'Évangile du peuple»,¹ где радикальнейшее учение о свободе и равенстве выводится из самой библии и где божественный нагорный проповедник изображен членом партии Горы 1793 года. Автор, которого зовут Эскирос, человек хороший, несколько женственный по своей природе, мечтательно-кроткий, как пасторская дочка в лучах луны, но при этом воодушевленный деятельным благочестием, точно сестра милосердия. Эта деятельная доброта премило сказалась в другом его сочинении, недавно изданном под заглавием «Les vierges folles».² «Неразумными девами» он называет разряд женщин, правда в достаточной мере неразумных, чья дев-

¹ «Евангелие народа» (франц.).

² «Неразумные девы» (франц.).

ствешность, однако, вызывает сомнение; шекотливая, но очень важная тема, которая рано или поздно должна подвергнуться во Франции серьезному обсуждению. «Revue démocratique»,¹ которое несколько дней тому назад тоже было конфисковано, относится к наиболее диким продуктам радикализма, и при чтении его у всякого, имеющего голову, волосы встают дыбом. Этот журнал в первую очередь направлен против собственности и в крайне резких тонах обсуждает конечные выводы из господствующей идеи. Тут мы видим не расфранченных камердинеров этой идеи, а конюхов в поношенных кожаных куртках, со скребищами и пучками сена, и от них воняет навозом. Мне стало особенно жутко, когда я увидел, что и здесь религиозный фанатизм пьет на брудершафт с фанатизмом политическим. В названном «Revue démocratique» я нашел — подумайте только! — экстравагантнейшее толкование «Апокалипсиса». Заглавие этой статьи: «Le cataclysm, prochain accomplissement des prophéties de Jean l'Évangéliste, apôtre du peuple par Jésus».²

Как пример бессмыслицы я процитирую следующие места, притом во французском оригинале, ибо самое замечательное — как раз то, что подобные вещи пишутся теперь по-французски: по-немецки это звучало бы не так странно. Слушайте: в VIII—XVI главах «Апокалипсиса» автор вычитывает: «Septième sceau, ou révolution française. Les sept périodes de cette révolution, ou les sept anges avec les sept coupes ampres et les sept trompettes. Les années 1789, 92, 95, 99 et 1804 sont les sept premières coupes, versées au son des cinq premières trompettes. En 92 tombe du ciel l'étoile absinthe, *Rope-apsinthos*, ou Robespierre; en 1804 vole l'aigle de la guerre».³

В IX—XVI главах автор находит следующее: «Armes impériales françaises, commandées par *Napoléon* l'exterminateur, ou *Napoléon*. Coalition des rois contre la France.

¹ «Демократическое обозрение» (франц.).

² «Катаклизм, пророчества евангелиста Иоанна, апостола Иисуса, которые вскоре должны исполниться» (франц.).

³ «Седьмая печать, или французская революция. Семь периодов этой революции, или семь ангелов с семью чашами и семью трубами. Годы 1789, 1792, 1795, 1799 и 1804 — семь первых чаш, пролитых под звуки первых пяти труб. В 1792 году падает с неба звезда полынь, *Rope-апсинтос* [полынная настойка], или Робеспьер; в 1804 г. взлетает орел войны» (франц.).

Bataille des nations dans les plaines d'Armagedon, ou l'Allemagne. La sixième coupe ou trompette est le signal des malheurs de 1812 à 1814». ¹

Не смейтесь над современными якобинцами; их безумие много ужаснее и много опаснее безумия их отцов. Если père ² Дюшен и гневался так bougrement patriotique, ³ то все же гнев его далеко не был столь опасен, как эта смесь сумасшествия земного и небесного, санкюлотизма и «Апокалипсиса», которую представляет «Revue démocratique». Я дрожу при мысли о возможности переворота во Франции. Теперь в Comité du salut public уселись бы люди куда более страшные, чем Робеспьер, чем горькая полынная настойка. Он был, в сущности, всего только болтун-мирянин, адвокат. Но представьте себе Торквемаду, повязанного трехцветным шарфом и в шляпе с перьями, как représentant du peuple. ⁴

«Я покажу вам, что такое священник!» — сказал однажды аббат Ламенне, и я никак не могу забыть эти слова. Они важнее всего, что говорилось вчера в палате пэров, едва ли даже не важнее, чем речь г-на Гизо. О том, как все взволнованы ею, вам с достаточной подробностью сообщат газеты. Я вообще воздерживаюсь от всяческих суждений по поводу прений в палате, — они опубликованы, и вы сами можете о них судить. Они, как я предсказывал, начались исследованием вопроса о том, оскорблена ли Франция Англией. Г-н Гизо говорит: нет. Мне хочется спросить его: сколько же пощечин требуется для оскорбления? Прения об адресе королю достигнут в палате крайней степени резкости. Национальная партия, всплывающая на место свергнутой парламентской партии, произнесет страшную вступительную речь.

¹ «Войска французской империи, предводительствуемые *Аполеоном-губителем*, или *Наполеоном*. Союз королей против Франции. Битва народов в долинах Армагодона, или Германии. Шестая чаша или труба — знак бедствий с 1812 по 1814 год» (*франц.*).

² Отец (*франц.*).

³ Чертовски патриотично (*франц.*).

⁴ Представителя народа (*франц.*).

КОММЕНТАРИИ

ЛЮТЕЦИЯ

В начале 1840 года, после длительного перерыва, редакция аугсбургской «Всеобщей газеты» («Allgemeine Zeitung») предложила Гейне возобновить публикацию его корреспонденций из Парижа. Редакция отважилась на этот шаг только через несколько лет после смерти могущественного советника Меттерниха — Фридриха фон Гентца, который в 1832 году настоял на разрыве «Всеобщей газеты» с «нечестивым авантюристом» и «чудовищем» Генрихом Гейне.

Писатель охотно принял предложение редакции, и уже в марте 1840 года первая его корреспонденция появилась во «Всеобщей газете». За последующие три с лишним года (до июля 1843 г.) газета напечатала более шестидесяти статей Гейне.

Аугсбургская «Всеобщая газета», которую К. Маркс называл «аугсбургской кумушкой», не обладающей «ни собственным умом, ни собственными воззрениями, ни собственной совестью»,¹ стояла очень далеко от настоящей демократии и, разумеется, не разделяла политических взглядов Гейне. В еще меньшей степени разделяла его взгляды баварская цензура. Поэтому в статьях, предназначенных для опубликования в газете, Гейне часто приходилось маскировать свои подлинные мысли и воззрения. Излюбленным приемом маскировки был у него иронический тон повествования — легкая, едва уловимая ирония, способная сбить с толку недостаточно проникающего читателя. «Ладью моей мысли, — признавал сам Гейне впоследствии, — я часто бывал принужден украшать флагами, эмблемы которых отнюдь не являлись истинным выражением моих

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 118.

политических и общественных взглядов» (стр. 10). Но и эти ухищрения не спасали корреспонденций Гейне от красного карандаша цензора и редактора. Многие статьи появлялись на столбцах газеты в искаженном виде, и автор с горечью говорил об аугсбургском прокрустовом ложе, на котором детищам его духа отрезали слишком длинные ноги, а нередко даже и голову.

Бесцеремонное обращение с его статьями послужило одной из причин, побудивших Гейне издать корреспонденции 1840—1843 годов отдельной книгой. Правда, осуществить свое намерение писателю удалось далеко не сразу: двухтомное немецкое издание книги, получившей название «Лютеция», вышло в гамбургском издательстве Гофман и Кампе только в 1854 году, а на французском языке она была издана братьями Леви на год позднее. Лишь тогда читатели получили возможность познакомиться с подлинным текстом корреспонденций Гейне и с некоторыми неопубликованными газетой статьями и отрывками.

По своему характеру «Лютеция» является прямым продолжением книги «Французские дела», в которой были собраны корреспонденции, опубликованные Гейне в аугсбургской «Всеобщей газете» в 1832 году. Однако «Лютеция», как считали сам автор и большинство исследователей его творчества, является произведением более зрелым, чем «Французские дела». Прежде всего, «Французские дела» Гейне писал сразу после переезда в Париж, когда он еще недостаточно хорошо знал и понимал Францию и французов; «Лютецию» же создал писатель, для которого Франция стала второй родиной. Несомненно и то, что автор «Лютеции» стоит выше автора «Французских дел» в идейном отношении. Он яснее видит и глубже вскрывает противоречия капиталистического общества, хорошо знает подлинные настроения масс и умеет за внешним спокойствием разглядеть приближение революционной бури.

Еще задолго до «Лютеции» Гейне приобрел заслуженную славу выдающегося публициста-демократа. После опубликования парижских очерков (составивших затем «Лютецию»), в которых автор сумел сочетать идейную глубину с блестящей внешней формой, слава эта укрепилась и возросла. Гейне был одним из первых писателей, доказавших, что между публицистикой и художественной прозой нет непреодолимой преграды, что страстная, боевая, революционная публицистика должна рассматриваться как разновидность художественной прозы.

В своих статьях Гейне откликался почти на все заслуживающие внимания события, происходившие в Париже в эти годы. Вот почему, несмотря на субъективный характер некоторых оценок,

«Лютеция», так же как и «Французские дела», является ценным источником при изучении политической и духовной жизни Франции в эпоху Июльской монархии.

Не ограничиваясь политическими вопросами, Гейне широко освещал на страницах «Всеобщей газеты» важнейшие явления в сфере науки и, особенно, искусства. Тонкий ценитель и знаток живописи и музыки (не говоря уже о литературе), он обладал способностью с первого взгляда отделять плевелы от пшеницы, всегда угадывал подлинное дарование, изобличал посредственность, претендующую на роль оракула, и развенчивал модных виртуозов, пытавшихся прикрыть свою душевную пустоту совершенством техники. Гейне был безжалостен к тем, кто добивался славы с помощью денег и, подкупая критиков, создавал себе дутую репутацию. Вместе с тем, он проникновенно и темпераментно писал о творчестве подлинных художников — Россини, Листа, Жорж Санд, Паганини, Шопена.

Отдавая должное представляющим большой интерес суждениям Гейне об искусстве, нельзя, однако, упускать из виду, что основным содержанием, сердцевинной его корреспонденций были не проблемы искусства и не зарисовки (кстати, очень любопытные) нравов и быта тогдашнего Парижа, а политические вопросы. По словам самого автора, заметки об искусстве были призваны оживить и скрасить по преимуществу печальные известия из области политики.

Что же представляла собою политическая жизнь Франции той эпохи и с какой степенью достоверности отразил ее Гейне?

Установившаяся во Франции в результате буржуазной революции 1830 года Июльская монархия принесла неограниченную власть крупной финансовой буржуазии. «При Луи Филиппе, — писал К. Маркс, — господствовала не французская буржуазия, а лишь одна ее фракция: банкиры, биржевые и железнодорожные короли, владельцы угольных копей, железных рудников и лесов, связанная с ними часть земельных собственников — так называемая *финансовая аристократия*. Она сидела на троне, она диктовала в палатах законы, она раздавала государственные доходные места, начиная с министерских постов и кончая казенными табачными лавками».¹

Новый режим не принес облегчения народным массам. Напротив, при Июльской монархии резко увеличились налоги, процветала спекуляция, значительно усилилась эксплуатация рабочих. Разочарование плодами Июльской революции быстро охватило

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 7, стр. 8.

почти все слои общества. Классовая борьба резко обострилась. Период с 1830 по 1840 год прошел в непрерывных схватках между сторонниками и противниками Июльской монархии: первые в истории самостоятельные политические выступления рабочих в Лионе в 1831 и 1834 годах, республиканские восстания в Париже в 1832, 1834 и 1839 годах, судебные «процессы-монстры» против республиканцев, легитимистский мятеж в Вандее, две попытки Луи Бонапарта совершить государственный переворот (1836 и 1840 гг.) — таковы основные вехи этого напряженного десятилетия. Правда, правительству, неоднократно применявшему оружие, удалось удержаться у власти, но оно окончательно восстановило против себя народные массы.

Соотношение сил во французском парламенте ни в какой степени не отражало соотношения сил в стране. В соответствии с Хартией, кудей конституцией, «дарованной» Луи Филиппом французам в августе 1830 года, члены верхней палаты парламента (палаты пэров) назначались пожизненно королем, а нижнюю палату (палату депутатов) избирали двести тысяч богатейших людей Франции, то есть 0,6 процента населения страны. Не удивительно, что в палате пэров вообще не было оппозиции правительству, а в палате депутатов она была незначительной. Интересно отметить, что в то время, как почти вся страна составляла оппозицию правительству *слева*, в палате депутатов самой сильной оппозиционной фракцией была оппозиция *справа*. Это были сторонники воцарения старшей линии Бурбонов, так называемые легитимисты, выражавшие интересы землевладельческой аристократии и высшего католического духовенства. Что же касается парламентской оппозиции слева, то ее представляли немногочисленные и крайне умеренные либералы, верноподданнически называвшие себя «*династической* левой». Республиканцев в палате депутатов не было вовсе, и абсолютное большинство мест принадлежало сторонникам Июльской монархии.

Правительственную партию, носившую выразительное название «партии сопротивления», возглавляли два видных деятеля эпохи — Франсуа Гизо и Адольф Тьер. Личное соперничество, а также некоторые разногласия в вопросах политической тактики привели в конце концов к разрыву между ними, и партия сопротивления разделилась на две группы: «левый центр» во главе с Тьером и «правый центр» во главе с Гизо.

Франсуа Гизо (1787—1874) происходил из семьи потомственных протестантов и получил строго кальвинистское воспитание (отсюда постоянные упоминания Гейне о его «пуританском покрое» и «угловато-кальвинистском нраве»). Крупный историк, Гизо в своих рац-

них работах («Этюды по истории Франции», «История цивилизации во Франции», «История цивилизации в Европе» и др.) доказывал прогрессивность борьбы буржуазии и всего третьего сословия против дворянства. В период Реставрации, когда ведущая роль в государстве принадлежала дворянству, Гизо находился в оппозиции, а после Июльской революции, приведшей к власти финансовую буржуазию, его прежняя революционность бесследно исчезла. Он окончательно порвал с либерализмом и стал лидером сугубо консервативной правительственной партии, выступавшей против всяких преобразований и реформ.

Политические взгляды Гизо оказались вполне созвучны взглядам короля, и с 1840 по 1848 год, будучи ближайшим советником Луи-Филиппа, он направлял внешнюю и внутреннюю политику Франции. Правда, формально Гизо стал премьер-министром только в 1847 году, а до этого занимал пост министра иностранных дел в кабинете бывшего наполеоновского маршала Никола́ Сульта (1769—1851); однако Сульт был лишь номинальным главой правительства, и фактическая власть с самого начала принадлежала Гизо.

Правительство Сульта — Гизо оказалось долговечным — оно продержалось семь с лишним лет, вплоть до февральской революции 1848 года. Столь длительным пребыванием у власти Гизо был обязан прежде всего самому себе: он разработал и осуществил невиданную до тех пор систему мошенничества, подлогов, подкупа избирателей, которая безотказно обеспечивала ему постоянное большинство в палате депутатов. Не удивительно, что реакционная политика Гизо в сочетании с бесчестными методами ее осуществления вызвала к нему всеобщую неприязнь. Глава французского правительства стал ненавистной фигурой для передовых людей всего мира. Недаром, говоря о силах старой Европы, объединившихся для борьбы с «призраком коммунизма», К. Маркс и Ф. Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии» поместили Гизо в один ряд с папой римским, русским царем и австрийским реакционером-мракобесом Клеменсом Меттернихом.

Адольф Тьер (1797—1877), стяжавший позднее позорную славу кровавого палача парижских коммунаров, так же как и Гизо, в период Реставрации стоял на либеральных позициях. Тоже историк, он начал с того, что горячо защищал Великую французскую буржуазную революцию от нападок дворянских реакционеров. Но в годы Июльской монархии Тьер, один из инициаторов возведения Луи-Филиппа на престол, превратился в яркого контрреволюционера, вдохновителя жестоких репрессий против республиканского движения. Его разногласия с Гизо касались прежде всего вопросов

внешней политики. Гизо и Луи-Филипп, озабоченные стремлением обеспечить финансовым магнатам возможность «мирно» обогащаться, добивались сохранения мира во что бы то ни стало, не останавливаясь даже перед национальным унижением; Тьер же выступал за более активную и самостоятельную внешнюю политику. Другим источником противоречий между двумя политическими лидерами был вопрос о месте короля в государственном управлении: Тьер был сторонником английской системы, которая отводит решающую роль премьер-министру, предоставляя королю возможность только царствовать, но не править; Гизо, напротив, прислушивался, а подчас даже приспосабливался к воле Луи-Филиппа.

Такова была политическая атмосфера во Франции, когда аугсбургская «Всеобщая газета» начала печатать корреспонденции Гейне. Первые очерки были написаны им в феврале 1840 года — в это время соперничество Гизо и Тьера достигло наивысшего напряжения. Естественно, что они оказались центральными фигурами и в корреспонденциях Гейне.

Писатель рисует весьма непривлекательный облик Гизо — самовлюбленного, навязчивого человека, разговаривающего с окружающими менторским тоном провинциального учителя, лишённого политической гибкости, крайнего консерватора, вызывающего к себе единодушную враждебность. Сопоставляя проповедуемую Гизо чопорную пуританскую мораль с системой обмана и мошенничества, которую он же усиленно насаждал, Гейне сравнивает французского премьера с весталкой, оказавшейся во главе публичного дома.

В Тьере автор «Лютетии» высмеивает прежде всего тщеславие и безудержную говорливость. Поток собственной речи, текущей как из бочки с открытым краном, настолько захватывает Тьера, что он почти никогда не замолкает, а слушать других может только во время бритья, пока бритвенный нож касается его горла. Воинственность премьер-министра Гейне иронически объясняет его искренней верой в свой выдающийся полководческий талант и при этом выражает сожаление, что в своих трудах по истории Наполеона Тьер дошел только до конца периода Консульства, когда военная удача сопутствовала его герою. «Быть может, надо пожалеть, что он мысленно не принимал еще участия в русском походе и в великом отступлении. Если бы г-н Тьер дошел в своей книге до Ватерлоо, воинственный пыл его, пожалуй, поостыл бы немного», — заключает он (стр. 80—81).

В другом очерке, приводя слова одного немецкого корреспондента, назвавшего Тьера «маленьким Наполеоном», Гейне остроум-

но замечает, что понятие «маленький Наполеон», подобно понятию «маленький готический собор», вряд ли можно принять за похвалу, ибо и готический собор и Наполеон возбуждают в нас изумление тем, что они столь велики.

К характеристике Гизо и Тьера Гейне возвращается неоднократно. Но, в отличие от многих современных ему публицистов и последующих историков, он никогда не сводит политическую борьбу той эпохи к соперничеству борцов за министерские портфели. Во многих очерках «Лютеции» он с предельной ясностью высказывает свое отношение к сменам правительственных лидеров у кормила власти. «Тьер сходит со сцены, и снова появляется Гизо. Но пьеса все та же, и меняются только актеры» (стр. 99), — пишет он в октябре 1840 года, а в другом очерке, сравнивая обоих кандидатов на руководство страной, приходит к выводу, что каждый из них, будучи министром, поступает точно так же, как при подобных условиях поступил бы другой.

Гейне отлично знал истинную цену парламентской системы, и многие его оценки ничуть не померкли за сто с лишним лет. Так, разоблачая легенду об идеальной английской демократии, он констатировал, что в Англии, так же как и во Франции, борющиеся партии стремятся эксплуатировать власть в своих личных корыстных интересах. «Что нам за дело, кто засовывает в свой карман золотые кишки бюджета, — мошенник левый или мошенник правый?» (стр. 229) — восклицает он. Депутатов парламентского большинства Гейне называл их истинными именами: рыцари денег, бароны промышленности, избранники собственности.

Писатель очень метко определил последствия частой смены правительств во Франции: министры, заранее зная, что их миссия будет кратковременной, заботятся прежде всего о собственном благополучии. Когда же, обеспечив свои интересы, они готовы, наконец, приступить к государственным делам, кабинет меняется, и все начинается сначала.

В корреспонденции от 20 июня 1842 года, делающей честь его пронизательности, Гейне вскрывает подлинную сущность буржуазной демократии. Выборы в палату депутатов он сравнивает со скачками, где все определяет группа дельцов-аферистов. По их воле лучшие и благороднейшие лошади должны уступить место специально выдрессированным тощим лошаденкам — дорога открыта только для них.

Рисуя царящую во Франции атмосферу продажности, писатель говорит о «золотых цепях», которыми премьер-министры привязывают к себе депутатов, об интригах и злоупотреблениях, с по-

мощью которых политические деятели добиваются своих целей. У Гейне нет никаких иллюзий по поводу истинной «свободы» французской прессы. Он подчеркивает, что основание газеты под силу только крупным капиталистам или продавшимся им журналистам и сравнивает редактора газеты с кондотьером, защищающим интересы той партии, которая платит ему деньги.

Только потому, что Гейне хорошо понимал социальную сущность Июльской монархии, он сумел так убедительно показать роль биржи, банков и банкиров в политической жизни страны. На страницах «Лютетии» перед читателем как живые проходят Ротшильды, Фульды и другие некоронованные короли Франции.

Картина политической борьбы во Франции в начале 40-х годов XIX века была бы односторонней и неполной, если бы автор «Лютетии», подобно другим наблюдателям своего времени, ограничился описанием парламента и его кулуаров, рассказом о расприх партий, короле, министрах и светском обществе. Но Гейне не ограничился этим. Он сумел разглядеть и оценить главную силу общественного развития — рабочий класс Франции. Подлинным героем своей книги сам писатель считал не короля Луи-Филиппа, не Гизо и не Тьера, а социальное движение, подготовившее свержение Июльской монархии.

Гневно обличая высокомерие и ничтожество господствующей буржуазии, Гейне с большим сочувствием говорит о низших классах, и прежде всего о рабочих, составлявших, по его собственной оценке, самую здоровую часть общества.

В корреспонденции от 30 апреля 1840 года писатель рассказывает о том, что читают рабочие парижского предместья Сен-Марсо. К числу их любимых книг, по его свидетельству, относятся сборники речей Робеспьера, памфлеты Марата, рассказ бабувиста Буонаротти об учении Бабефа, направленные против Луи-Филиппа «ядовитые пасквили» Корменена... Революционные настроения рабочих парижских предместий не вызывают у Гейне ни малейшего сомнения, и предвидение неизбежности новой революции не покидает его. Он много раз подчеркивает, что революционный процесс еще не завершился и от грядущего взрыва зависит будущее Франции и всей Европы.

«Здесь, во Франции, — пишет Гейне в декабре 1842 года, — царит сейчас величайшее спокойствие. Вялый, сонливый, зевающий мир. Все тихо, как в снежную зимнюю ночь. Только тихое, однообразное падение капель. Это проценты непрерывно каплют на капиталы, которые все время разбухают: прямо-таки слышишь, как растут эти богатства богачей. И тут же тихое

рыданье нищеты. Порой что-то звенит, словно оттачиваемый нож» (стр. 197).

Гейне был твердо убежден, что в предстоящей революции решающую роль сыграет рабочий класс и что она закончится победой пролетариата, ибо финансовая буржуазия, способная только считать деньги и вести торговые книги, не сможет сдержать натиск пародных масс, стремящихся к радикальному переустройству общества.

Величайшей заслугой Гейне является то, что уже в начале 40-х годов он сумел правильно оценить огромное историческое значение коммунистических идей и предсказать их грядущее торжество. В то время, когда коммунисты еще были разбросанными по свету одиночками, Гейне увидел в них единственную заслуживающую уважения и самую сильную партию. Он искренне радовался тому, что мир эксплуатации, эгоизма, обмана и несправедливости обречен на гибель, что коммунисты раздавят, как жабу, ненавистных ему германских реакционеров.

Однако отношение Гейне к коммунистам было противоречивым. С одной стороны, он признавал их превосходство над всеми буржуазными партиями, понимал, что уничтожить старый строй способны только они. С другой стороны, он представлял себе коммунистов мрачными иконоборцами, сторонниками установления полного равенства, при котором все люди, независимо от роста, вкусов и аппетита, должны есть одну и ту же пищу, и высказывал опасения, что коммунисты уничтожат литературу и искусство.

Гейне с восторгом говорит, что «рано или поздно всей этой буржуазной комедии во Франции, вместе с ее парламентскими героями и статистами, придет страшный конец, она будет освящена, а за ней последует эпилог, который называется — коммунистический строй!» (стр. 147). Он предвидит великую всемирную революцию, в которой «не будет речи ни о национальности, ни о религии; тогда будет лишь одна отчизна — земля и одна только вера — счастье на земле» (стр. 179). И в то же время он полон тревоги при мысли о том, что победившие пролетарии «в тупом упоении равенством... разрушили бы на этой земле все прекрасное и возвышенное и с иконоборческой яростью накиннулись бы на искусство и науку» (стр. 113)

Как мы видим, Гейне имел искаженное представление о коммунистических идеалах. Нельзя, однако, забывать, что это представление было исторически оправдано: в 1840—1843 годах, когда он писал свои статьи, научного коммунизма

еще не было, а его творцы, Маркс и Энгельс, только вступали в политическую жизнь. Кого же из теоретиков коммунизма мог тогда знать и читать Гейне? Известно, что коммунистическое учение стало распространяться среди рабочих Парижа в 1834—1835 годах. В эти годы в Сент-Антуанском и других парижских предместьях появились первые коммунистические тайные общества, участники которых запоем читали книгу Буонаротти о заговоре Бабефа и готовились к насильственному свержению Июльской монархии. Наиболее значительными из этих организаций были общество трудящихся-эгалитариев, основанное в 1840 году, и общество гуманитариев, возникшее год спустя. Оба общества, опиравшиеся на передовые для того времени коммунистические теории Теодора Дезами, все же оставались в плену примитивного уравнилельного коммунизма. Вот что писал о них Ф. Энгельс в 1843 году: «Эгалитарии были довольно-таки «грубоватыми людьми», подобно бабувистам великой революции. Они хотели превратить мир в общину рабочих, уничтожив всякую утонченность цивилизации, науку, изящные искусства и т. п. как бесполезную, опасную и аристократическую роскошь; это был предрассудок, который являлся неизбежным результатом их полного незнания с историей и политической экономией. Гуманитарии приобрели известность главным образом своими нападениями на брак, семью и другие подобные установления».¹

Еще дальше от научного коммунизма отстояла модная в те годы теория «икарийского» коммунизма, получившая это название после выхода в свет в 1840 году книги Этьена Кабе «Путешествие в Икарию». В ней изображалось фантастическое государство Икария, в котором существовал коммунистический строй, рабочие жили счастливо, работали по семь часов в день и пользовались всеми материальными и духовными благами. В отличие от Теодора Дезами, стоявшего на революционных позициях, Кабе признавал только мирные пути. «Если бы я держал революцию в кулаке, я не разжал бы его», — говорил он.

Ученики Сен-Симона и Фурье — Базар, Анфантен, Дювейрье, Консидеран и др. (с некоторыми из них Гейне одно время был близок), — также не понимали необходимости революционной борьбы и исторической роли пролетариата. Философы Пьер Леру и Фелисите-Робер де Ламенне, хотя и выступали с критикой капиталистических порядков, противопоставляли им не революционные учения, а путаные религиозные доктрины, разновидности реакционного «христианского социализма».

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 1, стр. 530.

Наконец, теории Луи Блана и Жозефа Прудона (брошюра Луи Блана «Об организации труда» и книга Прудона «Что такое собственность» вышли в 1840 г.) были теориями мелкобуржуазными, а не пролетарскими, хотя Луи Блан и выдавал себя за идеолога пролетариата

Таким образом, за исключением небольшой группы эгалитариев (Дезамп, Пийо), все остальные сторонники коммунизма во Франции в то время не только не двинули дальше учение великих социалистов-утопистов начала XIX века Сен-Симона и Фурье, но, напротив, пошли назад. Именно их и им подобных имели в виду Маркс и Энгельс, когда они писали в «Манифесте Коммунистической партии»: «Значение критически-утопического социализма и коммунизма стоит в обратном отношении к историческому развитию. По мере того как развивается и принимает все более определенные формы борьба классов, это фантастическое стремление возвыситься падает, это преодоление ее фантастическим путем лишается всякого практического смысла и всякого теоретического оправдания. Поэтому, если основатели этих систем и были во многих отношениях революционны, то их ученики всегда образуют реакционные секты».¹

Итак, представление Гейне о коммунизме сложилось на основании существовавших в то время незрелых коммунистических теорий, и упреки в непонимании значения науки, литературы и искусств, которые он адресовал тогдашним коммунистам, были справедливыми. Заслуга Гейне состояла в том, что, несмотря на эти ошибочные взгляды известных ему теоретиков коммунизма, он, в отличие от почти всех своих современников, понял, что будущее принадлежит коммунизму. Мало того — он осудил утопические, переволночные теории Луи Блана («...в рассуждениях его царит такая умеренность, какую встречаешь только у стариков», стр. 103) и, преодолевая страх перед эгалитарными идеалами, встал, хоть и не без колебаний, на сторону коммунистов-революционеров.

Сказанное выше требует лишь одной оговорки: когда речь шла о состоянии коммунистической доктрины и об отношении к ней Гейне, имелся в виду период публикации его корреспонденций во «Всеобщей газете» с 1 марта 1840 года по 1 июля 1843 года. Между тем, в «Лютетию» входят не только эти корреспонденции, но и позднейшие заметки, а также предисловие Гейне к французскому изданию «Лютетии», написанное 30 марта 1855 года, когда уже существовала выработанная Марксом и Энгельсом стройная теория научного коммунизма. Судя по названному предисловию,

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 456.

Гейне и тогда во многом оставался на прежних противоречивых позициях по отношению к коммунистическому учению. Это свидетельствует о том, что, несмотря на дружбу и большую идейную близость с Марксом и Энгельсом, оказавшими столь благотворное влияние на его творчество, Гейне так и не сумел по-настоящему понять великое учение основоположников марксизма и в известной степени смешивал его с эгалитарным утопическим коммунизмом 30-х—40-х годов.

Было бы ошибкой считать Гейне человеком раз навсегда установившихся взглядов. Он шел не легким и не прямым путем, не раз сбивался с правильной дороги, подчас решался на недопустимые компромиссы, а в полемическом задоре бывал излишне резок и несправедлив. Все это отразилось и в «Лютеции». Так, например, бросаются в глаза крайне противоречивые характеристики, которые в разных местах своей книги автор дает Луи-Филиппу и Гизо. Рядом с разоблачительными, полными иронии и сарказма строками вдруг прорываются какие-то фальшивые верпоподданнические слова, которые не вяжутся ни с предыдущим, ни с последующим текстом. Трудно, например, примирить уничтожающую характеристику, данную писателем Луи-Филиппу в первом очерке, с неловкой защитой короля в деле о «подложных» письмах (а письма эти, несомненно, писал именно король) или с торжественно-умильным тоном, каким Гейне говорил о смерти наследника престола. Подобных примеров в «Лютеции» немало.

Гейне сам признавал свою непоследовательность в частных вопросах, наличие в «Лютеции» отдельных противоречий, поспешность и даже легкомыслие в некоторых оценках. Но, признавая это, он все же утверждал, что читатель, способный уловить дух, которым пронизана вся книга, увидит в пей «неизменяющую привязанность к делу человечества, к демократическим идеям революции» (стр. 10).

С этим утверждением невозможно не согласиться. Именно эти черты делают «Лютецию» особенно близкой советскому читателю.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ФРАНЦУЗСКОМУ ИЗДАНИЮ

Стр. 5. *Лютеция* (кельтск. — «болотистое место») — первоначальное название Парижа. Так в I в. до н. э. называлось главное поселение галльского племени паризиев, расположенное на острове реки Сены (ныне — остров Сите в центре Парижа).

Стр. 7 *«Аугсбургская газета»*. — Так Гейне называет издававшуюся в городе Аугсбурге «Всеобщую газету» («Allgemeine Zeitung»).

Стр. 8. Я подробно разъяснил это обстоятельство в заметке, приложенной к немецкому изданию моей книги, и здесь я приведу из нее главное. — См. «Позднейшую заметку (май 1854)» (стр. 65—68).

Стр. 9. ...любимого моего друга... редактирующего «Всеобщую газету»...—Редактором «Всеобщей газеты» был в эти годы Георг-Фридрих Кольб (1808—1884), талантливый публицист либерального направления.

Стр. 11. ...республика играет роль Юния Брута... — Речь идет о Люции Юнии Бруте, убежденном республиканце, который, согласно древнеримскому преданию, возглавил восстание против римского царя Тарквиния Гордого и добился провозглашения республики (509 г. до н. э.). Чтобы не вызывать у Тарквиния никаких подозрений, Брут до определенного момента прикидывался безумным.

... после Февральской революции... — Имеется в виду французская революция 1848 года, начавшаяся 22—24 февраля.

Стр. 12. «Дьявол-логик!» — говорит Данте. — См. «Божественную комедию», «Ад», песнь 27, стих 123.

Стр. 13. Тевтономаны (от слова «тевтоны» — название одного из древнегерманских племен) — германские шовинисты. Здесь Гейне имеет в виду крайних реакционеров, которые пришли к власти в германских государствах после наполеоновских войн и Венского конгресса 1815 года, а также тех, кто пытался продолжить их политику.

Стр. 14. Июльская революция несколько оттеснила ее... — Июльская революция 1830 года во Франции вызвала рост демократического движения в Германии. Под влиянием этого движения герцог Брауншвейгский был вынужден отречься от престола, в Ганновере и Саксонии были провозглашены конституции и т. д.

...воинственные фанфары французской прессы 1840 года... — В 1840 году паша Египта Мехмет-Али, пользовавшийся поддержкой Франции, поднял восстание против турецкого султана. Встревоженные реальной угрозой распада Турецкой империи и усиления Франции на Ближнем Востоке, Англия, Россия, Австрия и Пруссия объединились и подписали 15 июля 1840 года Лондонскую конвенцию о совместных действиях против Мехмета-Али. Эта конвенция вызвала резкие выпады французской прессы по адресу подписавших ее держав. Казалось, что война неизбежна. Однако в последний момент Луи-Филипп отступил и уволил в отставку сторонника войны — премьер-министра Тьера.

«Песня о свободном Рейне». — Так (или «Рейнским гимном») принято называть песню «Они не будут им владеть» (то есть французы не будут владеть Рейном) на слова немецкого поэта Николауса

(Никласа) Беккера (1810—1845), написанную в 1840 году в знак протеста против антигерманской кампании французской прессы. На эту песню Альфред де Мюссе в 1841 году ответил стихотворением «Мы уже владели им, вашим немецким Рейном».

ПОСВЯЩЕНИЕ

Стр. 15—16. *Пюклер-Мускау* Герман-Людвиг-Генрих (1785—1871) — немецкий писатель и путешественник, автор популярной книги «*Письма умершего*» (1830), содержащей любопытные описания нравов и обычаев народов, а также характеристики политических деятелей Англии, Ирландии, Франции, Голландии и Германии.

Стр. 16. *Я говорю о том периоде, который... называли «парламентским»*... — Буржуазные историки делят царствование Луи-Филиппа на два периода — период личного правления короля (1830—1839) и парламентский период, который открывается правительством Тьера (март 1840 г.). Большую часть этого периода у власти находилось правительство, во главе которого формально стоял маршал Султ, а фактически — министр иностранных дел Гизо (ноябрь 1840 г. — февраль 1848 г.). Это правительство путем подкупа и подачек обеспечивало себе постоянное большинство в парламенте.

Стр. 17. *Кабинет первого марта* — кабинет министров, сформированный Тьером 1 марта 1840 года и остававшийся у власти до октября того же года.

Вестфальский мир — договор, положивший конец Тридцатилетней войне (1618—1648) между католиками и протестантами, чехами и немцами, императором Германии и немецкими князьями. Этот мир усилил раздробленность Германии: она была разделена более чем на триста государств.

Стр. 18. *...нас как народ Тьер снова поставил на ноги...* — Речь идет о подготовке Тьера к войне против Пруссии, вызвавшей в 1840 году патриотически-объединительный дух в раздробленной Германии. См. примечание к стр. 14 (...*воинственные фанфары французской прессы 1840 года...*).

Восточный вопрос — вопрос о судьбе Турции, по поводу которого разгорелась острая борьба между великими державами. См. примечание к стр. 14 (...*воинственные фанфары французской прессы 1840 года...*).

Стр. 19. *...приношу сов в Афины.* — Сова у древних греков была символом мудрости и считалась одной из эмблем Афины-Паллады, богини мудрости, которую афиняне особенно почитали.

«Приносить сову в Афины» — выражение, имеющее тот же смысл, что русское «ехать в Тулу со своим самоваром».

Стр. 20. *Анахарсис* — скиф из царского рода, путешествовавший, согласно преданию, по Греции, изучавший нравы и обычаи народов и стремившийся ввести у себя на родине все лучшее, что он видел в других странах.

Диоген из Синопа — древнегреческий философ (IV в. до н. э.), который, по преданию, днем с зажженным фонарем «искал человека».

Сандомир — польский город, принадлежавший в то время Австрии. *Сандомих* — комическое обозначение Берлина, построенное на каламбурном сочетании немецких слов: Sand — песок (Берлин расположен на песчаном грунте) и mich (местоимение, которое в берлинском диалекте часто смешивают с местоимением mir; ср.: *Sandomir*—*Sandomich*).

...резкий ветер, дующий из *Бранденбургских ворот*... — намек на жестокую реакцию, царившую в Берлине.

Хут-Хут — имя, которое Гейне в первоначальной редакции поэмы «Атта Троль» присвоил одному из своих фантастических персонажей — длинноногому удоду, якобы выполнявшему роль курьера царя Соломона и его возлюбленной, *царицы Савской* (см. т. II настоящ. издания, стр. 259).

Драгоман — переводчик при европейских посольствах на Востоке.

Эстер Стенхоп (1776—1839) — английская графиня, занимавшаяся благотворительностью. Поселилась в Ливане и получила прозвище «ливанской сивиллы» (сивилла — пророчица в древней Греции).

...этот фарфоровый народ... — Один из крупнейших дворцов китайских богдыханов в Пекине (Белый дворец) был сооружен из фарфора.

...разбили грубые руки рыжеволосых варваров.— Речь идет о зверствах англичан во время так называемой опиумной войны (1839—1842) против Китая и о последующем закабалении Китая Англией, Францией и США.

У бедного фарфорового императора... сердце уже разбилось от скорби! — Имеется в виду китайский император Даогуан, умерший в 1850 году.

Каф — древнеперсидское название Кавказских гор.

Симург — в восточных сказках — гигантская древняя птица, обитающая на горе Каф. Под *старым Симургом* Гейне подразумевает Клеменса Меттерниха (1773—1859), ярого реакционера, ко-

торый с 1809 по 1848 год был фактическим главой австрийского правительства.

Стр. 21. *Белые мундиры и красные штаны* — одежда австрийских императоров.

Иоганнисберге — замок в районе Висбадена, принадлежавший Меттерниху.

Кюриц — местечко в Германии; у Гейне — символ захолустья.

Тимбукту — городок в Западной Африке (ныне — во Французском Судане).

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Стр. 22. *В школе революционных деятелей...* — Луи-Филипп Орлеанский (1773—1850), король Франции в 1830—1848 годах, в начале Великой французской революции прикинулся революционером, вступил в якобинский клуб и в революционную армию, а в 1793 году дезертировал.

Лойола Игнасио (1491—1556) — основатель и первый генерал ордена иезуитов.

Священное масло Реймса. — В Реймсе совершались коронация и помазание французских королей.

Стр. 24. *Троян; Тит; Марк Аврелий; Антонин* — римские императоры I—II веков н. э. *Великие Моголы* — династия мусульманских государей, правивших Индией в 1526—1858 годах.

...он унижается перед ними... — Гейне имеет в виду трусливую внешнюю политику Луи-Филиппа и Гизо, которые, стремясь обеспечить французским банкирам возможность безграничного обогащения, боялись войны и ради сохранения мира во что бы то ни стало шли на всевозможные унижения перед иностранными державами, в первую очередь перед Англией.

Стр. 25. *...е-жа Жанлис по складам обучала меня правам человека...* — Графиня Стефани-Фелисите де Жанлис (1746—1830), французская писательница, автор ряда педагогических произведений, была воспитательницей Луи-Филиппа; вначале она сочувственно отнеслась к революции, приветствовала «Декларацию прав человека и гражданина» 1789 года.

У якобинцев, доверивших мне почетный пост привратника... — Намек на то, что якобинцы с подозрением относились к Луи-Филиппу и что в Якобинском клубе он играл третьестепенную роль.

...маркиз Лафайет, желавший сделать из меня «лучшую республику»... — Сразу после июльской революции 1830 года ярый

сторонник монархии генерал Лафайет, возражая республиканцам, настаивавшим на провозглашении республики, будто бы заявил, что герцог Луи-Филипп Орлеанский «будет наилучшей республикой»

Стр. 25. *Наследный принц* — старший сын Луи-Филиппа, герцог Фердинанд-Луи Орлеанский; после его смерти (1842) наследником престола стал его малолетний сын, внук Луи-Филиппа граф Парижский.

II

Стр. 26. «*Moniteur*» — парижская газета, официальный орган правительства с 1789 по 1869 год.

Фабий Максим Квинт (275—203 до н. э.) — полководец Римской республики, боровшийся против Ганнибала и применивший тактику затягивания войны с целью истощить противника. Эта тактика принесла ему прозвище *Кунктатор* («Медлитель»).

Фокс Чарлз-Джеймс (1749—1806) — английский политический деятель, лидер партии вигов; почти всю жизнь возглавлял парламентскую оппозицию.

...было названо имя министра просвещения. — Этот пост в сформированном 1 марта 1840 года правительстве Тьера занимал философ-идеалист Виктор Кузен (1792—1867)

Стр. 27. *Шестое боецъ gras* — старинный обычай водить во время масленицы в маскарадной процессии быка с позолоченными рогами.

III

Стр. 28. *Хартия* — конституция Июльской монархии, отличавшаяся от обычных конституций тем, что она не была выработана парламентом, а «дарована» самим королем. Хартия предоставляла право голоса всего 200 тыс. имущих граждан (из населения в 32 млн. человек). Верхняя палата (палата пэров) назначалась королем. Хартия обеспечивала королю и финансовой аристократии господствующие позиции в стране. Гейне преувеличивает роль парламента Июльской монархии.

Вопрос о дотации. — В феврале 1840 года правительство Сульта возбудило перед палатой депутатов вопрос о предоставлении второму сыну Луи-Филиппа, герцогу Немурскому (крайне не популярному во Франции), дотации в связи с его женитьбой. Палата без прений, молчаливым голосованием отклонила это требование, после чего Султ был вынужден подать в отставку, а новое правительство 1 марта сформировал Тьер.

Стр. 29. *Берье* Пьер-Антуан (1790—1868) — известный адвокат,

талантливый оратор; в палате депутатов был лидером легитимистов, являвшихся сторонниками старшей ветви Бурбонов и противниками орлеанистов — младшей ветви Бурбонов, представителем которых был Луи-Филипп. Легитимисты опирались на крупных землевладельцев и высшее католическое духовенство.

Цицерон Марк Туллий (106—43 до н. э.) — знаменитый римский оратор.

Форум — площадь в древнем Риме, на которой происходили народные собрания.

Демосфен (384—322 до н. э.) — величайший греческий оратор.

...афиняне восклицали: «Война Филиппу!» — Демосфен был решительным противником македонского царя Филиппа II, стремившегося подчинить себе Грецию. В страстных речах, направленных против Филиппа (получивших название «филиппики»), Демосфен разоблачал честолюбивые планы царя и продажность его сторонников из числа афинских государственных деятелей.

Стр. 30. ...дали ему требуемые деньги. — Имеется в виду обсуждение в палате депутатов требования правительства о создании тайного правительственного фонда. Премьер-министру Тьеру удалось добиться благоприятных итогов голосования.

IV

Стр. 31. *Санчо* — герой романа Сервантеса «Дон-Кихот» Санчо Панса.

Кабе Этьен (1788—1856) — сторонник утопического коммунизма, автор «Истории Великой французской революции», написанной с позиций якобинцев и весьма популярной среди рабочих и ремесленников. См. о нем также во введении к комментариям.

Корменен Луи-Мари (1788—1868) — французский публицист, автор ряда едких памфлетов, направленных против Луи-Филиппа («Письма о гражданском листе», «Книга ораторов» и др.).

Бабеф Грахх Ноэль (1760—1797) — выдающийся французский революционер, организатор «Заговора равных», ставившего целью подготовку новой революции и преобразование общества на коммунистических началах; предшественник научного коммунизма.

Буонаротти Филипп (1761—1837) — активный участник «Заговора равных», соратник Бабефа и пропагандист его идей. Точное название его книги, упоминаемой Гейне, — «Заговор во имя равенства, именуемый заговором Бабефа».

Стр. 32. *Кум кожевник* и *кум колбасник* — персонажи из комедии Аристофана «Всадники».

Стр. 32. *Питт* Вильям (Питт Младший) (1759—1806) — английский государственный деятель, главный организатор коалиций и войн с целью удушения революционной, а затем наполеоновской Франции.

Кобург — Фридрих Кобург-Заальфельд (1737—1817) — австрийский генерал; командовал войсками европейской коалиции, воевавшей против революционной Франции в 1792—1794 годах.

...на старый санкюлотский лад. — Санкюлотами во время революции конца XVIII века аристократы презрительно называли горожан-бедняков, которые носили не короткие панталоны (кюлот), как дворяне и богатые буржуа, а длинные брюки из грубой ткани. Вскоре это слово потеряло бранный характер. Революционеры-патриоты с гордостью называли себя санкюлотами, противопоставляя себя аристократам-контрреволюционерам.

Стр. 33. *Легитимисты* — См. примечание к стр. 29 (*Берье*).

Стр. 34. ...семена эти вдруг вырвутся из земли в образе бойцов... — В греческом мифе рассказывается о том, как из зубов убитого дракона, посеянных сидонским царевичем Кадмом, вырос отряд воинов, которые стали сражаться друг с другом.

...есть же тут ужасный священник... — Гейне имеет в виду священника Фелисите-Робера де Ламсине (1782—1854), который, прикрываясь демагогическими антикапиталистическими лозунгами, пытался использовать народное революционное движение в интересах феодальной реакции. См. о нем также во введении к комментариям.

...вой Фенриса... возвецающего царство Гелы. — Гела в скандинавской мифологии — страшное чудовище, богиня смерти и ада, поглощающая людей, умерших от старости и болезней. Фенрис — брат Гелы, волк огромных размеров, стремящийся поглотить весь мир.

v

Стр. 35. *Антиматримониальные доктрины*. — Жорж Санд была страстной поборницей эмансипации женщин, противницей лицемерия и фальши буржуазно-дворянских форм брака, порабощающих женщину.

Стр. 36. «*Обозрение Старого и Нового света*» — «Revue des deux mondes» (Гейне переводит на немецкий язык название этого французского журнала).

...разоряемые бельгийскими перепечатками... — В середине XIX века бельгийские издательства усиленно занимались воспро-

пзведением литературных произведений без разрешения автора и без выплаты ему гонорара.

Стр. 36. ...как недавно *Бальзак*, которому это так плохо удалось! — Речь идет о пьесе Бальзака «Вотрен», поставленной 14 марта 1840 года и тотчас же запрещенной.

Стр. 37. Так называемых «римлян»... вчера не было видно... — «Римлянами» называли клакров, оплачиваемых авторами пьес или театральной администрацией.

Ансело Франсуа-Поликарп (1794—1854) — известный в свое время французский драматург.

Стр. 38. ...на подмостках *Бурбонского и Люксембургского дворцов*. — В Бурбонском дворце заседала палата депутатов, в Люксембургском дворце — палата пэров.

Талия — муза комедии у древних греков, *Мельпомена* — муза трагедии.

Котурны — высокие сандалии древнегреческих и древнеримских трагических актеров.

Филина — персонаж романа Гете «Вильгельм Мейстер».

Стр. 39. *Мелузина* — в средневековых сказаниях морская фея, полуженщина-полурыба.

Монтескье... пытался... охарактеризовать сущность деспотизма... — См. «Дух законов», кн. V, гл. XIII.

Стр. 40. ...в лице *Клеопатры*, которую я как-то назвал *reine entretenue*... — См. «Девушки и женщины Шекспира», глава «Клеопатра» (т. VII настоящ. издания).

Позднейшая заметка

(1854)

Стр. 40. *Занд Карл* (1795—1820) — студент Иенского университета, убивший тайного агента русской полиции, реакционного писателя *Августа Коцебу* и казненный за это. Его фамилия пишется так же, как псевдоним писательницы (*Sand*).

Стр. 41. *Сандо* (*Sandeau*) *Жюль* (1811—1883) — французский писатель, автор ряда романов, проникнутых идеями католицизма.

Шамиссо *Адальберт* (1781—1838) — выдающийся немецкий писатель, автор повести «Чудесная история *Петера Шлемия*».

Мориц, граф Саксонский (1696—1750) — маршал французской армии, видный теоретик военного искусства XVIII века.

Стр. 43. *Пьер Леру* (1797—1871). — См. введение к комментариям.

Стр. 44. *Генрих Лаубе* (1806—1884) — выдающийся немецкий писатель-младогерманец, один из крупнейших режиссеров; в течение многих лет руководил венским Бургтеатром.

...один из самых презренных, косноязычных сочинителей романсов... — Гейне имеет в виду композитора Иозефа Дессауэра (1794—1876), автора множества популярных песен. Отзыв Гейне о Дессауэре несправедлив.

VI

Стр. 46. ...донесение... касательно дамасских евреев... — Весной 1840 года в Дамаске был убит неизвестными католический монах фра Томазо. Клерикальные круги Дамаска пустили слух, что он был убит евреями в ритуальных целях. Это вызвало очередной взрыв антисемитизма и жестокие репрессии против дамасских евреев. Французские клерикалы и, в частности, консул Франции в Дамаске граф Ратти-Мантон поддержали эту версию и активно способствовали ее распространению, а правительство Тьера поощряло действия Ратти-Мантона.

Стр. 47. «*Bibliotheca prompta a Lucio Ferrario*» — церковная энциклопедия, составленная богословом-францисканцем Лючио Феррарио и изданная в Болонье в 1746 году.

VII

Стр. 48. ...сообщение, касающееся перенесения бренных останков Наполеона... — Речь идет о решении правительства Тьера перевезти останки Наполеона с острова Св. Елены в Париж.

Стр. 49. *Кехеняне* (древнегреч.) — зеваки.

Ультрамонтаны — клерикалы, требовавшие предоставления папе римскому неограниченного права вмешательства в светские дела всех государств, в первую очередь для борьбы с революционным движением.

Монталамбер Шарль (1810—1870) — один из лидеров французских клерикалов.

«*National*» — газета, основанная Тьером в 1830 году; в период Реставрации была органом орлеанистов, а затем (во время Июльской монархии) перешла в руки буржуазных республиканцев.

Стр. 50. *Моле* Матье-Луи (1781—1855) — реакционный политический деятель; занимал министерские посты при Наполеоне I и Людовике XVIII. В 1836—1839 годах был премьер-министром Луи-Филиппа. Был сторонником расширения личного влияния короля на государственные дела.

VIII

Стр. 50. *Алжирские дела* — Еще в 1830 году французы начали завоевание Алжира, но встретили упорное сопротивление народа этой страны. В 1840 году положение французских захватчиков в Алжире было очень тяжелым.

IX

Стр. 53. *Самаи и Гиллель* — еврейские богословы начала нашей эры, основатели двух школ, находившихся в непримиримой вражде.

Ротшильд Джеймс (1792—1868) — основатель банкирского дома «Братья Ротшильд» в Париже, пользовавшийся большим политическим влиянием.

Бенуа Фульд (1792—1858) — глава банкирского дома «Фульд-Оппенгеймеры» в Париже; в 1834—1842 годах — член палаты депутатов.

Стр. 54. *Кремье Адольф* (1796—1880) — один из виднейших адвокатов Франции, после революции 1848 года — министр временного правительства.

Валуа — королевская династия, правившая во Франции с 1328 по 1589 год.

Стр. 54—55. *Баснаж Жак* (1653—1723) — французский историк. Упомянутое Гейне сочинение Баснажа было напечатано в Роттердаме в 1707 году (5 томов).

Стр. 56. *Мы знаем эту тактику... в связи с «Молодой Германией»*. — Реакционеры, травившие группу «Молодая Германия», утверждали, в частности, что она проводит еврейское влияние на немецкую литературу и публицистику.

X

Стр. 56. *...жалкое решение насчет необходимых издержек*. — Правительство запросило у палаты два миллиона франков на расходы, связанные с перевозкой останков Наполеона. Палата же отпустила на эти цели только один миллион франков.

Шатобриан Франсуа-Рене (1768—1848) — французский писатель, реакционный романтик, лидер ультрароялистов и католической реакции, противник Наполеона. Одно из его произведений называется «Путешествие из Парижа в Иерусалим» (отсюда иронический эпитет Гейне — *иерусалимский пилигрим*).

Сталь Анна-Луиза (1766—1817) — известная писательница; возглавляла либеральную оппозицию против Наполеона и была изгнана из Франции.

Стр. 56 *Бенжамен Констан* (1767—1830) — писатель, публицист и политический деятель, натурализовавшийся во Франции швейцарец; выступал против Наполеона. В 1803—1814 годах находился в изгнании.

Стр. 57. ...*немецких авторов грубиянского периода*. — Так называемая грубиянская литература занимала особое место в сатирико-дидактической поэзии немецкого бюргерства XV—XVI веков. Родоначальником этой литературы был Себастиан Брант — в своей стихотворной сатире «Корабль дураков» (1494) писатель вывел «святого» Грубияна (Grobiana), которому якобы поклонялись современники. Еще подробнее эта тема была разработана Фридрихом Дедекиндом в латинской поэме «Гробрианус» (1543) и Каспаром Шейтом, автором немецкой переработки этой поэмы (1551). Представители этого направления откровенно описывали грубые нравы своих современников.

... *Франция будто бы задолжала ее покойному отцу*. — Г-жа де Сталь была дочерью известного швейцарского банкира Жака Неккера (1732—1804), занимавшего при Людовике XVI пост генерального контролера финансов.

Коринна — героиня одноименного романа г-жи де Сталь.

Стр. 58. «*Point d'argent, point de Suisses!*» — излюбленные слова предводителей швейцарской гвардии, служившей за деньги французским королям. В каламбуре Гейне содержится намек на швейцарское происхождение г-жи де Сталь.

...*подобно императору Карлу V*. — Германский император Карл V в 1555 году отрекся от престола и удалился в монастырь Юсте (Испания), где и умер в 1558 году. Существует легенда о том, что Карл V устроил репетицию своих похорон.

Ламартин Альфонс-Мари (1790—1869) — французский поэт и историк, член палаты депутатов; буржуазный республиканец.

Байи Жан-Спльвен (1730—1793) — известный астроном. В первый период революции был мэром Парижа. Его приверженность к конституционной монархии и противодействие дальнейшему развитию революции привели его во времена якобинской диктатуры на гильотину.

Люксембургская больница. — Гейне иронически называет больницей заседающую в Люксембургском дворце палату пэров, намекая на то, что в ней остается еще много лиц, которые пострадали при Наполеоне.

XI

Стр. 60. *Кондотьер* — предводитель наемной дружины в Италии в XIV—XV веках. Кондотьеры служили на войне тому, кто больше заплатит.

Стр. 62. ... гаруспики... о которых говорит Цицерон. — Цицерон отмечал, что гаруспики (древнеримские жрецы-гадатели) на людях всегда сохраняли серьезный, торжественный вид, а без свидетелей смеялись над своими предсказаниями.

Патер Томас. — Так Гейне называет монаха ф́ра Томазо (см. примечание к стр. 46).

Галейран-Перигор Шарль-Морис (1754—1838) — французский политический деятель и дипломат, изменявший поочередно всем режимам, которым он служил. Начал свою карьеру как священник, в 1788—1791 годах был *епископом Отенским* (Отен — город в департаменте Соны и Луары, севернее Лиона).

Стр. 63. ...не было понято Павлом... — Речь идет об «апостоле» Павле, проповеднике христианства, обособившем христианское учение от иудаизма.

Стр. 64. ...был в Константинополе позорно повешен между двумя собаками... — Константинопольский патриарх православной (греческой) церкви Григорий V был в 1821 году повешен в воротах патриаршего подворья турками, подозревавшими его в сочувствии восставшим против турецкого ига грекам.

Мессия — согласно библейской легенде спаситель человечества, который должен явиться на землю, чтобы «очистить народ от зла».

Стр. 65. *Медуза* — мифическое чудовище подземного мира, у которого вместо волос на голове были змеи.

Даунинг-стрит — улица в Лондоне; дом номер десять по этой улице является резиденцией английского премьер-министра.

П о з д н е й ш а я з а м е т к а

(май 1854)

Стр. 67. ...любимого друга моей юности... — См. примечание к стр. 9.

Стр. 68. ...депутату Верхних Пиренеев пришлось заплатить...—Имеется в виду брат Бенуа Фульда Ашиль Фульд, который был депутатом от департамента Верхних Пиренеев (столица — г. *Тарб*). На выборах 1842 года он потерпел поражение и не был избран.

XII

Стр. 70. *Рельштаб* Людвиг (1799—1860) — немецкий драматург и музыкальный критик, автор ряда статей, направленных против Спонтини.

Стр. 70. *Гудсон Лоу* (1769—1844) — английский генерал; в 1815—1821 годах был губернатором острова Св. Елены и установил строгий надзор за Наполеоном.

Стр. 73. *Шарантон* — пригород Парижа, где находится больница для умалишенных.

Стр. 74. *Картуш* Луи-Доминик (1693—1721) — главарь бандитской шайки, колесованный после того, как он в течение долгого времени терроризировал Париж.

Сын вифлеемского плотника и погонщик верблюдов из Мекки — то есть Христос и Магомт.

Стр. 75. *Эмма ди Росбург* — опера Мейербера, враждебно встреченная немецкими критиками, упрекавшими композитора в отходе от традиций немецкой музыки и переходе к «итальянщине».

XIII

Стр. 76. *Эрар* и *Герц* — известные фабриканты фортепьяно в Париже; им принадлежали концертные залы, в которых выступали лучшие музыканты. Анри Герц (1806—1888) был также пианистом и композитором.

...*Гизо* сделал большую ошибку, приняв участие в коалиции. — В 1838 году все оппозиционные группы в палате депутатов, временно забыв свои разногласия, составили коалицию против министерства Моле, требуя его отставки и замены системы личного управления короля системой верховенства парламента. Коалицию возглавлял триумвират, состоявший из Гизо, Тьера и Одилона Барро. В марте 1839 года коалиция одержала победу, и Моле ушел в отставку. После этого начались раздоры между вождями коалиции, и в первое время никто из них не получил министерских постов. Гизо был назначен послом в Лондон.

Доктринеры — группа умеренных буржуазных либералов, представителей торгово-промышленных кругов, обуржуазившихся помещиков и интеллигенции. Выступали за конституционную монархию с сильной королевской властью. К доктринерам принадлежал и Гизо.

XIV

Стр. 77. *Бюргер* Готфрид-Август (1747—1794) — немецкий лирический поэт-демократ, автор ряда баллад, в том числе знаменитой *«Леноры»*. В 1840 году в парижских театрах шла пьеса французских драматургов братьев Кошьяр на сюжет из жизни Бюргера.

Июльские дни — десятая годовщина революции 1830 года

(28--30 июля), во время которой была низложена династия Бурбонов и Луи-Филипп был провозглашен королем.

Стр. 77. *Подробности восстания в Барселоне.* — 15 июля 1840 года в Барселоне началось народное восстание, которое возглавила и использовала в своих интересах буржуазная партия прогрессистов. Поводом к восстанию послужил новый муниципальный закон, отменявший выборность алькальдов (мэров). Восстание, перекинувшееся и на другие города, привело к отмене закона и к бегству из Испании ненавистной народу Марии-Кристины, регентши при малолетней королеве Изабелле.

Стр. 78. *...кончилась война за наследство...* — В 1840 году в Испании закончилась так называемая первая карлистская война между сторонниками двух ветвей династии Бурбонов: старшей, которую представляла королева Изабелла (изабеллиносы), и младшей, возглавляемой ее дядей дон Карлосом (карлисты). Последний, опиравшийся на крупных помещиков и клерикалов, потерпел поражение.

Сирийское восстание — восстание *маронитов* (христианская секта в Сирии) против правителя Египта и Сирии Мехмета-Али.

XV

Стр. 80. *Соглашение между Англией, Россией, Австрией и Пруссией.* — См. примечание к стр. 14 (*...воинственные фанфары французской прессы 1840 года* ..).

Альбион — древнее название Англии.

...уже довел историю жизни Наполеона до конца Консульства... — Тьер писал и издавал в то время свой многотомный труд «История Консульства и Империи».

Стр. 81. *Джон Буль* — ироническое прозвище Англии.

Стр. 82. *Веллингтон* Артур-Уэлсли, герцог (1769—1852) — английский реакционный государственный деятель и полководец, командовавший войсками союзников в битве при Ватерлоо.

XVI

Стр. 82. *Prix Monthyon.* — Барон Монтион (1733—1820), филантроп, обладавший огромным состоянием, учредил ряд премий за «добродетель» и литературные произведения, способствующие укреплению нравственности.

...вероломные кавалеры морочили и дурачили тебя... — Кавалерами во время английской буржуазной революции XVII века

называли сторонников короля, сражавшихся против революции. Гейне имеет в виду английское правительство.

Стр. 82. *Видок* Франсуа-Эжен (1775—1857) — уголовный преступник, перешедший затем на службу во французскую полицию и ставший известным сыщиком.

Стр. 83. *Треднидл-стрит* — улица в Лондоне, на которой расположены торговые и банковские предприятия.

Тальони Мария (1804—1884) — итальянская балерина.

Стр. 84. *Вильгельм Завоеватель* — норманский герцог, высадившийся в 1066 году со своим войском в Англии и ставший английским королем.

Стр. 85. ...*за похоронной колесницей Июльских героев*. — 28 июля 1840 года останки жертв Июльской революции были перевезены на площадь Бастилии и погребены у так называемой Июльской колонны.

...*те полтораста депутатов, которые еще находятся в Париже*... — Очередная сессия парламента, открывшаяся 23 декабря 1839 года, продолжалась до 15 июля 1840 года, после чего палаты были распущены на каникулы и большинство депутатов покинуло Париж.

XVII

Стр. 85. *Храм страха*. — В древней Спарте, близ дворца эфоров (высших должностных лиц, контролировавших деятельность всех органов власти), был возведен Храм страха. Эфоров этот храм должен был предостерегать от несправедливых решений, а всех остальных граждан — от нарушения законов.

Пальмерстон Генри-Джордж-Темпл (1784—1865) — английский реакционный государственный деятель, лидер партии виггов; в 1840 году был министром иностранных дел и инициатором Лондонской конвенции держав, направленной против Мехмета-Али.

Стр. 86. *Бульвар Капуцинов* — улица в Париже, где помещалось министерство иностранных дел.

...*французы, которые некогда в Соборе богоматери поклонялись богине Разума*... — Во время Великой буржуазной революции, в 1793 году, во Франции распространилось так называемое деchristианизаторское движение. Церкви превращались в клубы и храмы Разума. В Соборе парижской богоматери происходили пышные празднества в честь богини Разума.

XVIII

Стр. 87. *Десант принца Луи*. — 6 августа 1840 года племянник Наполеона I принц Луи Бонапарт (будущий император Наполеон III), находившийся в эмиграции в Англии, высадился

с группой подкупленных им солдат в Булони и пытался совершить государственный переворот, но был арестован и приговорен к пожизненному заключению.

Стр. 89. *Джентри* — английское среднепоместное дворянство.

Стр. 90. *Красный колпак* (фригийская шапка) — головной убор санкюлотов времен Великой французской революции.

ХІХ

Стр. 92. *Письма г-жи де Севинье* — «Избранные письма к дочери», написанные салонной французской писательницей Мари де Рабуотен-Шанталь, маркизой Севинье (1626—1696). Эти письма до сих пор представляют интерес как образец прозы классицизма и как ценный исторический источник, повествующий о жизни Франции в XVII веке.

Вилланы — лично свободные крестьяне, находившиеся на земле помещика.

Генрих V. — Так легитимисты называли графа Анри (Генриха) де Шамбор (1820—1883), претендента на престол, внука Карла X, последнего французского короля из династии Бурбонов.

Друиды — жрецы у древних кельтов.

Жорж Кадудаль (1769—1804) — ярый приверженец Бурбонов, главарь контрреволюционного мятежа в Вандее и Бретани во время Великой французской революции; был казнен за попытку убить Наполеона и вернуть престол Бурбонам.

Шаретт Франсуа-Атанааз (1763—1796) — вождь вагдейцев; был захвачен в плен и расстрелян.

Тонзура — выбритый кружок на голове у католических священников.

ХХ

Стр. 93. *Книга Варуха* — апокрифическая часть библии, книга одного из еврейских пророков.

Лафонтен Жан (1621—1695) — знаменитый французский баснописец.

...лучше узнаем Восток, чем по рассказам Ламартина, Пужула и компании... — Ламартин, совершивший поездку по странам Востока, в 1835 году опубликовал книгу «Путешествие на Восток»; историк Жап-Жозеф Пужула (1808—1880) писал книги, посвященные восточным странам.

Стр. 94. *Прокруст* — в греческой мифологии разбойник, который укладывал свои жертвы на особое ложе, чтобы затем обрубить им ноги, если ложе оказывалось коротким, или, в противном случае, вытягивать их.

Стр. 94. *Дело г-жи Лафарж*. — Двадцатичетырехлетняя Мария Лафарж (урожденная *Капель*) была обвинена в отравлении своего мужа и приговорена к пожизненному тюремному заключению, несмотря на то, что она категорически отрицала свою вину.

Распайль Франсуа-Венсан (1794—1878) — известный французский политический деятель, республиканец, утопический социалист. Будучи врачом и химиком, Распайль утверждал, что Лафарж не был отравлен, следовательно его жена педвиновна.

Стр. 95. *Орфила* Матье-Жозеф (1787—1853) — французский врач и химик, специалист по судебной медицине; выступал на процессе Марии Лафарж в качестве эксперта и подтвердил версию обвинения.

XXI

Стр. 96. *Гром бейрутских пушек*. — 11 сентября 1840 г., в соответствии с Лондонской конвенцией от 15 июля 1840 г., Англия, Австрия и Турция начали военные действия против Мехмета-Али. Их эскадры подвергли артиллерийскому обстрелу город Бейрут и высадили десанты на побережье.

Стр. 97. *Пале-Рояль*. — Имеется в виду сад при дворце одноименного названия, своего рода политический клуб на открытом воздухе.

XXII

Стр. 98. *Беллона* — богиня войны у древних римлян.

Стр. 99. *Тортоны* — кафе в Париже, излюбленное место встреч литераторов и политических деятелей. Гейне иронически называет его *биржей*.

Лаланд — адмирал, командующий французской средиземноморской эскадрой.

Валькирии — в древнескандинавской мифологии девы-воительницы, уносящие души павших героев.

XXIII

Стр. 99. *...в короля стреляют*. . — За время царствования Луи-Филиппа на него было совершено семь покушений. Гейне имеет в виду покушение республиканца Дармеса 15 октября 1840 года.

XXIV

Стр. 100. *Маршал Султ*. — См. введение к комментариям.

Стр. 102. *Каламатта* Луиджи (1802—1869) — известный в те времена итальянский гравер, долгое время живший во Франции и Бельгии.

Стр. 103. *Луи Блан* (1811—1882) — известный французский публицист и историк. Свои утопическо-социалистические идеи изложил в работе «Организация труда». В книге «История десяти лет» подверг резкой критике Июльскую монархию. После февральской революции 1848 года стал министром временного правительства, вступил на путь соглашательства с буржуазией и предал интересы пролетариата.

Поццо ди Борго Шарль-Андре (1764—1842) — корсиканский дворянин, ярый противник Наполеона, с 1803 года — дипломат на русской службе; был посланником России в Париже и Лондоне.

Стр. 104. *Пиа Феликс* (1810—1889) — французский публицист и драматург; мелкобуржуазный демократ.

Стр. 105. *Ликурге* (IX в. до н. э.) — правитель Спарты, который, по преданию, положил конец раздорам, ввел твердые законы и создал первые государственные учреждения.

Боско Бартоломео (1793—1862) — известный итальянский фокусник.

Дюпен Андре-Мари (1783—1865) — беспринципный политический деятель, служивший почти всем режимам, сменявшим друг друга во Франции. Был одним из ближайших друзей и советников Луи-Филиппа.

Стр. 106. *...когда мерзкая баба сочинила знаменитые подложные письма, а г-н Берье выступил... как адвокат подлога.* — В январе 1841 года легитимистская газета «*Ла Франс*», стремясь скомпрометировать Луи-Филиппа, напечатала три письма, якобы написанные королем Талейрану в бытность последнего послом в Лондоне. В первом из этих писем говорилось о намерении Луи-Филиппа «из желания быть приятным ее британскому величеству» уступить Алжир Англии; во втором письме содержалось утверждение, что Франция оказала России решающую поддержку при подавлении польского восстания 1830 года; в третьем письме раскрывалась главная цель фортификационных работ вокруг Парижа, проводившихся по решению палаты, принятому осенью 1840 года, — «заставить мятежное население Парижа и его милые предместья покориться властям».

Опубликование этих писем вызвало бурю негодования; все возмущались лицемерием и лживостью короля. Правительство Гизо объявило письма подложными и возбудило судебный процесс против издателя газеты «*Ла Франс*» Монтура и ее главного редактора Любиса. При расследовании выяснилось, что указанные письма передала в газету известная авантюристка Ида Сент-Эльм, опубликовавшая в свое время под псевдонимом «Современница» восемь

томов скандальных анекдотов о видных французских деятелях конца XVIII и начала XIX века. Сент-Эльм утверждала, что письмом Луи-Филиппа ей передал слуга Талеярана.

В качестве защитника Монтура и Любиса на суде выступал *Берье* (см. о нем примечание к стр. 29), утверждавший, что письма действительно написал Луи-Филипп. Присяжные вынесли обвиняемым оправдательный приговор, признав тем самым подлинность писем.

Стр. 106. ...более напоминает *Одиссея*, чем *Аякс*... которому пришлось потерпеть жалкое поражение в споре с хитроумным страдальцем. — Герои «Илиады» Одиссей и Аякс после гибели Ахилла оспаривали право на его оружие; победу, благодаря своему красноречию и хитрости, одержал Одиссей, а Аякс с горя умертвил себя.

Стр. 107. *Штаберле* — персонаж австрийской народной комедии, аналогичный русскому Петрушке.

XXVI

Стр. 108. *Рейнке-Лис* — герой французского и немецкого эпоса; олицетворяет коварство, хитрость и фальшь. Слезы Лиса притворны.

XXVII

Стр. 109. *Герцог Шартрский* — сын наследника престола герцога Орлеанского; родился в ноябре 1840 года.

Стр. 110. *10 августа* (1792) — день народного восстания в Париже, низложившего Людовика XVI и монархию.

XXVIII

Стр. 111. *Гейнефеттер* Сабина (1809—1872) — талантливая немецкая певица.

«*Одеон*» — театр в Париже, где гастролировала итальянская опера.

Рубини Джованни-Баттиста (1795—1854) — знаменитый итальянский тенор.

Гривиз Джулия (1811—1869) — блестящая итальянская певица.

Полигимния — муза серьезного, молитвенного пения.

Стр. 112. «*Мене! Текел! Фарес!*» («Исчислил! Взвесил! Разделил!») — по библейской легенде — слова, начертанные невидимой рукой на стене во время иршествия вавилонского царя Валтасара. Слова эти предвещали скорую гибель Вавилонского царства.

Стр. 112 ...на похоронах императора кричали: «*À bas Guizot!*» ... — Во время торжественного погребения останков Наполеона I, привезенных с острова Св. Елены в Париж, имели место антиправительственные выступления, направленные в первую очередь против Гизо.

Стр. 113.... *Ламенне и его духовные братья...* — См. примечание к стр. 34 (...*есть же тут ужасный священник...*).

XXIX

Стр. 115. *Преторианцы* — привилегированная гвардия римских императоров; в период разложения Римской империи приобрела огромное влияние, часто совершала дворцовые перевороты и возводила на престол своих ставленников.

Стр. 116. ...*Джемса Уатта, бумагопрядильщика.* — У Гейне ошибка: знаменитый английский изобретатель Джемс Уатт (1736—1819), усовершенствовавший паровой двигатель, был механиком, а не бумагопрядильщиком.

XXX

Стр. 117 *Брум* Генри (1779—1868) — английский политический деятель, сторонник вигов; выступал за англо-французское сближение.

Стр. 119. *Гонфалоньер* (от итал. gonfalone — военное знамя) — носитель исполнительной власти в средневековой Италии. В данном случае Гейне имеет в виду турецкого султана.

XXXI

Стр. 120. *Миные* Франсуа-Огюст (1796—1884) — буржуазно-либеральный историк, автор двухтомной «Истории французской революции».

Стр. 121. *Решение палаты об укреплении Парижа.* — Радикально-демократические круги выступали против укрепления Парижа, считая, что оно проводится не для борьбы с внешней угрозой, а для борьбы против революционного народа. Это предвидение полностью оправдалось во время Парижской Коммуны.

На могиле императорского орла им явилась мысль, что буржуазно-королевский петух не бессмертен. — Орел — эмблема Наполеона I, галльский петух — эмблема королевской Франции.

Стр. 122. *Первые два чашества* — вступление союзников в Париж после разгрома Наполеона в 1814 и 1815 годах.

Стр. 123. ...оставив... вялого наместника... — то есть короля из династии Бурбонов (сначала Людовика XVIII, а после его смерти в 1824 г. — Карла X, свергнутого затем июльской революцией 1830 г.).

Араго Доминик-Франсуа (1786—1853) — крупный французский ученый-астроном и физик, принадлежавший к левому крылу буржуазных республиканцев.

Комитет общественного спасения — в 1793—1794 годах орган революционно-демократической диктатуры якобинцев, мобилизовавший все силы народа на отпор интервентам и проводивший революционный террор против внутренней контрреволюции.

Стр. 124. *Малапартус* — замок Рейнеке-Лиса.

Стр. 125. ...с помощью подложных писем... — См. примечание к стр. 106.

XXXI

Стр. 127. *О судьбе Мехмета-Али...* — Французское правительство оставило своего союзника Мехмета-Али без поддержки. Англо-австрийские войска, высаженные на сирийском побережье, оттеснили Мехмета-Али в Египет, после чего турецкий султан и державы были согласны признать Мехмета-Али наследственным правителем Египта при условии его окончательного отказа от претензий на Сирию и с рядом других оговорок и ограничений. Мехмет-Али не пошел на такое соглашение, и борьба продолжалась.

...американские дела приняли столь сомнительный оборот... — В 30-х годах XIX века усилилось революционное антианглийское движение в Канаде. В 1838 году там разразилось народное восстание. В ответ английские власти отменили конституцию и ввели в Канаде военный режим. В июле 1840 года Нижняя и Верхняя Канада были объединены в одну провинцию, но еще долгое время волнения в Канаде вызывали серьезное беспокойство у англичан.

Вопрос о Дарданеллах. — В 1833 году между Россией и Турцией был подписан Унклар-Искелесский договор, согласно которому Россия получала право проводить свои военные суда через Дарданеллы и Босфор; турецкое правительство обязывалось по требованию России не допускать военные корабли иностранных держав в Дарданеллы. Договор обеспечивал русское черноморское побережье от нападения. Англия стремилась лишить Россию этого преимуществ. Будучи заинтересована в поддержке Франции, она пошла на компромисс в вопросе о Мехмете-Али. 19 апреля 1841 года под давлением Англии турецкий султан отказался от выставленных ранее

оговорок и признал Мехмета-Али наследственным правителем Египта. После этого конфликт между державами и Францией был ликвидирован, и все эти страны выступили единым фронтом против России, заставив ее отказаться от Ункиар-Искелесского договора. 13 июля 1841 года в Лондоне была подписана конвенция о Дарданеллах и Босфоре, согласно которой проливы в мирное время объявлялись закрытыми для военных судов всех государств. О режиме проливов в военное время конвенция ничего не говорила. Таким образом, русское Причерноморье ставилось под угрозу иностранного вторжения, а черноморский флот России не имел выхода в Средиземное море.

Стр. 127. *Рейс-Шлейс-Грейц* — карликовое княжество в Центральной Германии.

Стр. 128. *Высокая Порта* — название резиденции турецкого султана и в переносном смысле — всей турецкой (Османской) империи.

Стр. 130. *Г-н**** — некий Штерн, биржевой спекулянт из Франкфурта, которого Гейне в дальнейшем называет Назенштерн, намекая на его длинный нос (*die Nase* — по-немецки нос). Этот же персонаж фигурирует в «Людвиге Берне» и «Бахерахском равнине» (см. т. VII настоящ. издания).

Валгалла — в древнескандинавской мифологии — дворец бога Одина. *Валгалла Регенсбургская* — мраморный дворец, построенный в 1841 году баварским королем Людвигом I, с собранием картин из истории древней Германии и бюстами знаменитых немцев.

Королевско-баварский лапидарный стиль — намек на бездарные поэтические упражнения Людвига I.

XXXIII

Стр. 132. *Тальберг* Сигизмунд (1812—1871) — швейцарско-австрийский пианист и композитор, пользовавшийся мировой известностью как один из крупнейших виртуозов.

Лист... играл совершенно один... — Лист первым из пианистов стал давать сольные концерты.

Стр. 133. «*Друг Бетховена*» — немецкий музыкант и первый биограф Бетховена Антон-Феликс Шиндлер (1795—1864), который действительно дружил с великим композитором. Утверждение Гейне о том, что Шиндлер писал на своих визитных карточках «друг Бетховена», — неверно.

Пилад — в греческой мифологии — юноша, связанный узами трогательной, нерушимой дружбы с Орестом, сыном царя Агамемнона.

Стр. 134. ...в скрипке его заключена душа его покойной жены. — Талантливый бельгийский скрипач и композитор Шарль Берю (1802—1870) был женат на одной из величайших певиц мира — Марии Малибран (1808—1836).

Стр. 135. Страна *трейшоутов* и *квиспельдорхенов* — Голландия. *Трейшоут* — плоскодонное судно. *Квиспельдорхен* (Quispeldorchen) — переделанное на немецкий лад голландское слово (quispeldortje), означающее «плевательница».

Стр. 137. *Парки* — в греческой мифологии — три богини судьбы; одна из них (Атропос) перерезает нить человеческой судьбы, что означает смерть.

Флажолет — французский народный инструмент, род флейты.

XXXIV

Стр. 140. *Ларошжаклен* Анри-Огюст (1805—1867) — маркиз (а не барон, как ошибочно указано у Гейне), один из лидеров партии легитимистов; поддерживал Иду Сент-Эльм в деле о письмах (см. примечание к стр. 106).

Стр. 142. *Герен*, *Тиккен* и *Эйхгорн* — профессора истории и богословия Геттингенского университета, чьи лекции, будучи студентом, слушал Гейне.

Вендская улица — улица в Геттингене.

XXXV

Стр. 142. *Institut royal* — высшее научное учреждение Франции, объединяющее пять академий: Академию наук (математические и естественные науки), Французскую академию (французский язык и литература), Академию изящных искусств (живопись, архитектура, музыка, эстетика), Академию нравственных и политических наук (философия, право, история, политическая экономия) и Академию надписей и изящной словесности (археология, языковедение, востоковедение).

Мерлен де Дуэ Филипп-Антуан (1754—1838) — известный французский юрист и политический деятель.

Стр. 143. *Клио* — в греческой мифологии — муза истории. *Эол* — в греческой мифологии — царь Эолийских (Линарских) островов, получивший власть над ветрами.

Дафнис — в греческой мифологии — сицилийский пастух и охотник, отличавшийся необыкновенной красотой.

Стр. 143. *Code Napoléon* — составленный при Наполеоне I свод законов, упорядочивший законодательство и приспособивший его к потребностям буржуазного общества.

Стр. 144. *Овербек* Фридрих (1789—1869) — немецкий живописец; писал картины на религиозные сюжеты.

Стр. 145. ...я не нашел лучшего средства, как буквально привести комментарий... *Гизо*. — См. «Девушки и женщины Шекспира», заключительные замечания (т. VII настоящ. издания).

Ремюза Франсуа-Мари-Шарль (1797—1875) — политический деятель и литератор, министр внутренних дел в кабинете Тьера в 1840 году; перевел на французский язык ряд произведений Гете.

Никлас Беккер. — См. примечание к стр. 14 («Песня о свободном Рейне»).

Стр. 146. ...выступил на защиту одного из своих благородных соратников... — Речь идет о выступлении Ремюза в защиту Тьера, которого после отставки подвергали резким нападкам его политические противники.

XXXVI

Стр. 146. *Галиньяни* Вильям (1798—1882) — английский издатель, принявший французское подданство. В его салоне встречались писатели, художники — вся интеллигенция Парижа.

Каннинг Джордж (1770—1827) — министр иностранных дел Англии в 1822—1827 годах, один из лидеров партии торп.

...на бурных митингах радикалов... — Массовые митинги были одной из форм борьбы английского народа за расширение избирательных прав и изменение устаревшей избирательной системы.

...во время волнений, вызванных биллем о реформе... — В 1832 году в Англии была наконец проведена реформа, несколько расширяющая круг избирателей. Однако она не предоставляла избирательных прав основной массе населения — мелкой буржуазии и рабочим, которые были наиболее активными участниками борьбы за реформу. Это вызвало новые волнения недовольного реформой народа — началось чартистское движение, добивавшееся введения всеобщего избирательного права.

О'Коннелль Даниэль (1775—1847) — лидер либерального крыла в ирландском освободительном движении, организатор массовой «Католической ассоциации», использовавшей стремление ирландского народа к освобождению от английского господства, для того чтобы вырвать у английского правительства уступки верхушке ирландской буржуазии.

Стр. 146. *Хлебные законы* — законы, изданные в 1816 году английским правительством в интересах крупных землевладельцев. Согласно этим законам, ввоз хлеба в Англию разрешался только в том случае, если цена на него на внутреннем рынке не опускалась ниже определенного уровня. Хлебные законы вызвали недовольство торгово-промышленной буржуазии, так как страны, экспортировавшие хлеб, в ответ на ограничения, введенные Англией, закрыли дорогу английским промышленным товарам. В 40-х годах английская буржуазия повела энергичную кампанию за отмену хлебных законов и добилась этого в 1846 году.

Пускай третит, — еще не рухнет... и т. д. — заключительные строки стихотворения Гете «Мужество» (у Гейне — неточная цитата).

Енатий Гуровский — польский граф, похитивший в 1841 году двоюродную сестру испанской королевы Изабеллу-Фернанду Кастильскую и женившийся на ней.

Адам Гуровский (1805—1866) — польский публицист, участник польского восстания 1830 года; впоследствии резко изменил свои взгляды и выступал за объединение славян под эгидой царской России.

Рашель Элиза (1821—1858) — знаменитая французская трагическая актриса.

XXXVII

Стр. 147. *Дюфор* Арман-Жюль (1798—1881) — французский адвокат и буржуазный политический деятель, министр общественных работ в правительстве Сульта в 1839—1840 годах.

Пасси Ипполит (1793—1880) — французский экономист, министр финансов в правительстве Тьера в 1840 году.

Последние политические процессы. — Речь идет о многочисленных судебных процессах республиканцев и социалистов, проведенных на основе так называемых «сентябрьских законов» (1835), упрощавших судопроизводство в отношении лиц, «виновных в посягательстве на безопасность государства».

Стр. 148. *...изгонять Сатану с помощью Вельзевула?* — Вельзевул и Сатана — синонимы (различные обозначения злого духа).

Стр. 149. *Франциск I* — король Франции в 1515—1547 годах. Покровительствовал искусствам.

Давид Жак-Луи (1748—1825) — выдающийся французский живописец, создатель революционно-классической школы.

Гуллиль и Ритнер — издатели гравюр и эстампов.

Робер Луп-Леопольд (1794—1835) — французский живописец, писавший картины из жизни итальянского народа.

Стр. 153. *Луксорский обелиск* — обелиск, привезенный из города Луксора (Египет) и установленный в 1836 году на площади Согласия в Париже, на месте казни Людовика XVI. *Площадь Людовика XV* — дореволюционное название площади Согласия.

Стр. 154. *Гюман Жан-Жорж* (1780—1842) — министр финансов в кабинете Сульта—Гизо. Значительно увеличил налоговое обложение, что вызвало резкие протесты населения.

Вильмен Абель-Франсуа (1790—1870) — французский литературовед; министр просвещения в кабинете Сульта—Гизо.

Вандомская колонна — колонна, сооруженная из переплавленных пушек, захваченных у противника во время наполеоновских войн, увенчанная статуей Наполеона и установленная на Вандомской площади в Париже. Во время Парижской Коммуны колонна была снята, как символ милитаризма, а после падения Коммуны — восстановлена.

Стр. 156. *Деларош Поль* (1797—1856) — французский живописец, писавший монументальные картины на исторические сюжеты.

Карл I — английский король в 1625—1649 годах, казненный во время буржуазной революции.

Страффорд (Stafford) — ошибка Гейне; имеется в виду граф Томас Страффорд (Strafford) (1593—1641) — первоначально лидер парламентской оппозиции Карлу I, перешедший затем на сторону короля и ставший первым министром; в начале революции Страффорд был казнен.

Лоу (Law) — ошибка Гейне: имеется в виду Уильям Лод (Laud, 1573—1645), архиепископ Кентерберийский, глава англиканской церкви, свирепо преследовавший пуритан, один из ближайших советников Карла I. Лод был казнен во время революции.

Ришелье — Арман-Жан дю Плесси (1585—1642) — герцог, кардинал, первый министр и фактический правитель Франции в 1624—1642 годах, укрепивший французский абсолютизм и беспощадно расправившийся с претендовавшими на власть феодалами.

...с двумя своими жертвами... *Сен-Маром и де Ту*... — Маркиз Анри Сен-Мар (1620—1642) — приближенный Людовика XIII, организатор заговора против Ришелье, был казнен в Лионе вместе со своим другом, соучастником этого заговора Франсуа-Огюстом де Ту (1607—1642).

Тауэр — крепость в Лондоне, сооруженная в XI веке; сначала — королевский замок, затем — тюрьма.

Стр. 156. *Ричард III* — король Англии в 1483—1485 годах;

отличался чудовищной жестокостью: чтобы стать королем, умертвил всех претендентов на престол, в том числе родного брата и двух малолетних племянников, сыновей короля Эдуарда IV, правившего Англией в 1460—1483 годах.

Мария-Антуанетта — французская королева в 1774—1792 годах; после низложения содержалась в парижской тюрьме *Тампль* и была гильотинирована 16 октября 1793 г.

Джен Грей (1537—1554) — двоюродная сестра английского короля Эдуарда VI. Противники католицизма, не желавшие допустить воцарения после смерти Эдуарда ярой католички Марии Тюдор, провозгласили в 1553 году Джен Грей королевой. Мария во главе армии вступила в Лондон, и Джен была казнена.

Мария Стюарт (1542—1587) — королева Шотландии, претендовавшая на английский престол. По приказу королевы Елизаветы была арестована и после девятнадцатилетнего заточения казнена.

Стр. 157. *Кромвель* Оливер (1599—1658) — выдающийся деятель английской буржуазной революции 1642—1649 годов; настоял на казни Карла I. Впоследствии установил свою единоличную диктатуру в форме протектората.

Граф Эссекс (1567—1601) — фаворит королевы Елизаветы, казненный сию за попытку поднять восстание.

XXXIX

Стр. 159. *Дюпоти* Мишель-Огюст (1797—1864) — французский журналист-республиканец, решительный противник Июльской монархии; призывал к борьбе за свержение Орлеанской династии. В 1841 году Дюпоти было предъявлено нелепое обвинение в «моральном соучастии» в покушении некоего Кенеля на жизнь сына Луи-Филиппа — герцога Омальского. Несмотря на многочисленные протесты общественности, палата пэров приговорила Дюпоти к пяти годам тюремного заключения.

Филипписты — пэры, назначенные Луи-Филиппом и отстаивавшие в палате интересы Орлеанской династии.

XI

Стр. 160. *При составлении адреса...* — Ежегодно новая сессия парламента во Франции составляла адрес, обращенный к королю.

Македонский тезка — то есть король Филипп II Македонский, царствовавший в 359—336 годах до н. э.

Стр. 160. *Rector magnificus* — титул, который носили ректоры

пемецких университетов. Используя игру слов, основанную на буквальном значении этого титула, Гейне иронически присваивает его Гизо, намекая на то, что последний был профессором и главой государства.

Стр. 161. *Восстание Барбеса* — восстание в Париже, поднятое тайными республиканскими обществами 12 мая 1839 года. Одним из его руководителей был выдающийся мелкобуржуазный революционер Арман Барбес (1809—1870).

ХЛ

Стр. 161. *Линь Цзэ-суй* — китайский политический деятель, генерал-губернатор Кантона; решительно боролся против проникновения иностранного капитала в Китай. Его энергичные попытки пресечь английскую торговлю опиумом привели к так называемой Первой опиумной войне (1839—1842) между Англией и Китаем. В начале войны Линь Цзэ-суй был отправлен в ссылку.

Ци Шань — китайский политический деятель, сторонник соглашения с иностранными державами; подписал капитулянтский договор с Англией. Одно время находился в опале, его имущество было конфисковано.

Стр. 162. *Гернеутерская миролюбивость* — то есть миролюбивость, свойственная гернеутерам — членам христианской секты, отвергавшей военную и государственную службу.

ХЛІ

Стр. 162. *«Мы танцуем здесь на вулкане»* — фраза, сказанная французским литератором Сальванди Луи-Филиппу на одном из балов в Париже.

Стр. 163. *Несчастье, постигшее г-на Перре...* — Перре был осужден за «оскорбление палаты пэров».

Карлотта Гризи (1821—1896) — итальянская балерина, пользовавшаяся мировой известностью.

Улица Лепелетье — улица в Париже, на которой помещалась французская опера (Королевская академия музыки).

Эльслер Фанни (1810—1884) — австрийская балерина.

«Виллиса» — балет французского композитора Адольфа Адана (1803—1856), известный в России под названием «Жизель». О *виллисах* см. «Духи стихий» (т. VI настоящ. издания, стр. 289—290). Это свое произведение Гейне имеет в виду, когда говорит, что сюжет балета был заимствован из сочинений одного немецкого автора.

Стр. 164. ...дочь Иродиады плясала перед злым царем, умертвившим Иоанна в угоду ей. — Согласно евангельскому преданию, Иродиада, жена царя Ирода, которую Иоанн Креститель обличал в безнравственности, решила добиться казни Иоанна. Она велела своей дочери Саломее танцевать перед Иродом; когда же Ирод, восхищенный танцами Саломеи, предложил ей выбрать любую награду, Саломея по наущению Иродиады попросила голову Иоанна Крестителя, и тот был казнен.

...французский балет отъезжает почти галликанской церковью, если даже не янсенизмом... — Речь идет о строгом стиле, господствовавшем во французском балете; галликанская церковь отличалась строгостью нравов; янсенизм представлял собою религиозную секту, проникнутую мистицизмом.

Ленотр Андре (1613—1700) — известный французский архитектор, создатель многих парков строгой, прямолинейной планировки.

Стр. 165. Вестрис Газтано (1729—1808) — выдающийся итальянский танцовщик, прошедший большую часть жизни во Франции. Вестриса называли «богом танцев».

Стр. 166. ...с урюмо-катоновским видом... — Римский политический деятель и писатель Марк Порций Катон (234—149 до н. э.) ввел суровые законы против роскоши, в защиту чистоты нравов.

Стр. 167. Робер Макер — герой одноименной пьесы Антье, Сент-Амана и Лемстра; тип ловкого, наглого и бесстыдного мошенника, не останавливающегося ни перед кражей, ни перед убийством.

Вальпургиева ночь — ночь на 1 мая, когда, по германскому народному поверью, ведьмы собираются на свой праздник на горе Брокен (Гарц).

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

XIII

Стр. 170. ...так поступил и Россини, сочиняя свою «*Stabat mater*». — *Stabat mater* — начальные слова католического гимна. Знаменитый итальянский композитор Джоакино Россини (1792—1868) в 1832 году сочинил мессу под этим названием, которую он переделал и расширил в 1841 году.

Стр. 171. Пезаро — итальянский город, родина Россини. Аколит — низший церковный служитель.

Стр. 172. Источник Аретузы — в греческой мифологии —

источник близ Сиракуз, сладкие воды которого не смешивались с горько-соленой водой моря.

Стр. 173. *Темпловский холм* — небольшая гора в предместье тогдашнего Берлина, место расположения нынешнего Крейцберга, одного из районов города.

Леон Пилье (1803—1868) — директор Парижской оперы.

XLIV

Стр. 174. ...такие люди, как *Кант*, *Калиостро*, *Сведенборг* и *Филадельфия*... — Граф *Калиостро* (настоящее имя — Джузеппе Бальзамо; 1743—1795) — крупнейший итальянский авантюрист, запимавшийся алхимией, магией и другими «окультурными науками». — *Сведенборг* Эммануил (1688—1772) — шведский ученый; до 1745 года занимался науками (математикой, минералогией и др.), а затем впал в мистику, объявил себя «духовидцем», создал особую теософскую систему. — *Филадельфия* Джекоб (XVIII в.) — известный фокусник и международный авантюрист. — Все трое ничего общего с великим философом *Кантом* не имеют. Объединив их в один ряд, Наполеон хотел выразить свое презрение к философии.

«L'Allemagne» *Генриха Гейне*. — Имеется в виду сочинение «И истории религии и философии в Германии», опубликованное впервые на французском языке как часть книги «De l'Allemagne» («О Германии»). См. т. VI настоящ. издания.

Дестют де Траси Антуан-Луи (1754—1836) — участник Великой французской революции, принадлежавший к группе умеренных конституционалистов (фейянов); философ-сенсуалист.

Стр. 175. *Ларошфуко* Франсуа-Александр, герцог (1747—1827) — известный французский филантроп, основатель ряда учебных заведений, пропагандист передовых агрономических методов; несмотря на свое аристократическое происхождение, был противником Бурбонов и абсолютной монархии.

Д'Аржансон Марк-Рене, маркиз (1771—1842) — французский аристократ, перешедший на сторону революции и ставший республиканцем. Решительно протестовал против реакционных действий Бурбонов, Наполеона, Луи-Филиппа. Укрывал у себя бабувиста Буонаротти. Занимался филантропией.

Кондильяк Этьен-Бонно (1715—1780) — французский философ-сенсуалист.

Фихте Иоганн-Готлиб (1762—1814) — немецкий философ, решительный противник материализма, сторонник «чистого» идеализма.

Стр. 176. ...наш *тетрарх* *Ирод*... — Гейне имеет в виду Мет-

терника, преследовавшего вольнолюбивую молодежь Германии. Меттерниха он сравнивает с римским правителем Иудей Иродом (62—4 до н. э.), который, согласно евангельской легенде, перебил всех младенцев в городе *Вифлееме*, чтобы избавиться от *страшного младенца* — Иисуса Христа. — *Тетрархами* (от греч. тетрархия — четырехвластие) в древнем Риме называли правителей провинций, разделенных на четыре военно-административных округа.

XLV

Стр. 177. *Пегас* — в греческой мифологии — крылатый конь; под ударом его копыта на вершине горы Геликон возник ручей муз; поэтому Пегаса считают конем поэтов и муз.

XLVI

Стр. 178. ...*это написано на всех лицах*. — Выборы 1842 года значительно увеличили число оппозиционных депутатов (в особенности в Париже) и сопровождалась сильными антиправительственными волнениями.

Стр. 179. «*Апокалипсис*» (греч. — откровение) — раннехристианское произведение, приписываемое «пророку» Иоанну. В нем говорится о неизбежном «конце света» и установлении на «новой земле» вечного царства Христа и праведников. «Апокалипсис» проникнут мрачным духом и полон фантастических видений.

XLVII

Стр. 180. ...*Непредвиденная смерть*. — 13 июля 1842 года сын Луи-Филиппа, наследник престола герцог Фердинанд-Луи Орлеанский, был выброшен из экипажа взбесившимися лошадьми. Его смерть вызвала большое возбуждение, ибо он пользовался популярностью, в особенности в армии.

Стр. 181. *Адонис* — в греческой мифологии — прекрасный юноша, убитый на охоте вепрем; символ мужской красоты.

Лафитт Жак (1767—1844) — крупный французский банкир, содействовавший возведению на престол Луи-Филиппа. Лафитта называли «королем банкиров и банкиром королей».

Терамен — действующее лицо трагедии Расина «Федра», воспитатель пасынка Федры — Ипполита. Гейне имеет в виду рассказ Терамена о смерти Ипполита. Герцог Орлеанский действительно

погиб при обстоятельствах, напоминающих те, при которых, согласно воспроизводимому Расином древнегреческому преданию, погиб Ипполит.

XLVIII

Стр. 182. *Июльское празднество*. — Имеется в виду празднество по поводу 12-й годовщины июльской революции 1830 года.

Герцог Немурский (1814—1896) — второй сын Луи-Филиппа.

Стр. 184. *Солон* — знаменитый афинский законодатель (VII в. до н. э.), причислявшийся в Греции к так называемым семи мудрецам.

XLIX

Стр. 184—185. *...чтобы регентство досталось его сыну, а не невестке...* — Наследником престола после смерти герцога Орлеанского был объявлен его сын, граф Парижский, которому тогда было четыре года. Было два претендента на пост регента при малолетнем наследнике престола: герцог Немурский и мать графа Парижского, герцогиня Орлеанская, урожденная принцесса Елена Мекленбургская.

L

Стр. 187. *Карлисты*. — См. примечание к стр. 78 (*...кончилась война за наследство*). В данном случае Гейне называет карлистами приверженцев старшей линии Бурбонов во Франции (Луи-Филипп принадлежал к младшей линии Бурбонов).

LI

Стр. 190. *...индийскую и китайскую экспедицию...* — Под индийской экспедицией Гейне подразумевает войну Англии против Афганистана (1839—1842), которая развивалась крайне неудачно для англичан и стоила им огромных средств. О китайской экспедиции см. примечание к стр. 20 (*...разбили грубые руки рыжеволосых варваров*).

Стр. 191. *...восстание теперь подавлено...* — Речь идет о новой вспышке чартистского движения в 1842 году, об отклонении английским парламентом петиции чартистов, содержащей требование ввести всеобщее избирательное право и улучшить положение пролетариата, и о вызванных этим решением стачках и народных выступлениях в различных районах Англии.

Стр. 191. *... Веллингтон, снова вступивший теперь в должность*

верховного палача... — Герцог Веллингтон в 1815 году занимал пост главнокомандующего союзными войсками, действовавшими против Наполеона, а с 1827 года до 1852 года — главнокомандующего английской армией. Был ярким противником чартистов и использовал войска для подавления их выступлений.

Мирмидоняне — одно из древнегреческих племен, населявшее Фессалию. В «Илиаде» рассказывается о том, что когда их вождь Ахилл поссорился с верховным вождем греческих войск Агамемноном и временно отказался принимать участие в осаде Трои, то вместе с ним ушли, послушавшись Агамемнона, и мирмидоняне.

Стр. 193. *Хартия* — документ, выработанный чартистами и содержавший требования введения всеобщего избирательного права, учреждения однопалатного парламента, ежегодных равных и тайных выборов, отмены имущественного ценза для депутатов и выплаты им заработной платы.

ЛП

Стр. 196. *Пожар на Версальской железной дороге* произошел 8 мая 1842 года. При этом погибло около 350 человек.

Стр. 197. *...как повествует Петроний...* — Гейне имеет в виду роман «Сатирикон» римского писателя Гая Петрония (I в.), но при этом одного из героев романа — Трималхиона — ошибочно называет *Страберий*.

...громыжающий мятеж в Барселоне... — Имеется в виду произошедшее в ноябре 1842 года восстание в Барселоне против политики регента Эспартеро; в этом восстании впервые в истории Испании выступил в качестве самостоятельной политической силы рабочий класс. Город в течение почти трех недель находился в руках восставших. 3 декабря по приказу Эспартеро Барселона была подвергнута зверскому артиллерийскому обстрелу. Свыше 400 домов было сожжено.

Кровавая сцена, случившаяся в кабинете мадемуазель Гейнефеттер... — Речь идет о драке между двумя любовниками актрисы Гейнефеттер; драка эта кончилась смертью одного из них.

...китайский император осрамился... — Гейне имеет в виду позорную капитуляцию феодального Китая и первый неравноправный договор Китая с Англией (Нанкинский договор), подписанный в августе 1842 года.

Пусть попробуют разделить княжество Лихтенштейн или Грейц-Шлейц! — Смысл иронического замечания Гейне состоит в том, что делить эти карликовые княжества невозможно.

ЛІІІ

Стр. 198. *Страшный месяц май, когда почти в одно и то же время во Франции, Германии и на Гаити разыгрались самые жуткие трагедии!* — Гейне имеет в виду упоминавшийся выше пожар на Версальской железной дороге, большой пожар в Гамбурге и землетрясение на острове Гаити.

Плутон — в древнеримской мифологии — бог смерти.

...храм Януса стоял закрытый... — На римском форуме храм бога Януса открывался во время войны и был закрыт в мирное время.

Вакх — в древнеримской мифологии — бог плодородия, виноградарства и виноделия.

Старые парики. — Так пронически называли гамбургских сенаторов.

Стикс — в греческой мифологии — главная река подземного царства, протекавшая по аду.

Стр. 199. *Орж* — царство смерти (то же, что и царство Плутона).

Акватофана — сильнодействующий яд, которым в конце XVII—начале XVIII века некая сицилианка Тофана снабжала женщин, желавших умертвить своих мужей.

ЛІV

Стр. 201. *Шарль Дювейрье* (1803—1866) — французский литератор, последователь Сен-Симона. После роспуска сен-симонистской общины Дювейрье стал проповедовать идеи Сен-Симона в драматических произведениях. Выступал как поборник индустриального развития Франции.

Зал Тетбу — помещение сен-симонистской общины в Париже.

Анфантен Проспер (1796—1864) — один из виднейших последователей Сен-Симона, развивавший религиозную сторону его учения — мистическую идею «нового христианства». Получил в сен-симонистской общине, превращенной им в секту, титул «верховного отца». Создал близ Парижа трудовую коммуну, которая, однако, вскоре была разогнана правительством. Проповедь равенства женщин была истолкована как «аморальная», и Анфантен был заключен в тюрьму. В дальнейшем отошел от сен-симонизма.

Стр. 202. *Альба Фердинанд-Альварес* (1508—1582) — испанский генерал, наместник в Нидерландах, с чудовищной жестокостью подавлявший восстание голландцев против испанского гнета.

LV

Стр. 204. *«Бургграфы»* — романтическая драма в стихах Виктора Гюго на сюжет из немецкого средневековья.

Стр. 207. *Оле Буль* (1810—1880) — норвежский скрипач, автор экцентрических скрипичных пьес, вызывавших возмущение у любителей музыки. Выходки Булля, сводившего всю игру к голой технике, снижали ему скандальную известность. Студенты шведского города Упсала избили Булля.

Сивори Камилло (1815—1894) — итальянский скрипач.

Дрейшок Александр (1818—1869) — немецкий пианист.

LVI

Стр. 210. *Корешф* Иоганн-Фердинанд (1783—1851) — немецкий врач и поэт, живший в Париже.

Стр. 211. *Ликсис* Иоганн-Петер (1788—1874) — немецкий пианист и композитор.

...когда Аполлон Бельведерский снова отдан был в руки римлянам и должен был покинуть Париж. — Аполлон Бельведерский — римская мраморная копия бронзовой скульптуры Аполлона работы древнегреческого скульптора Леохара (IV в. до н. э.). Название «Бельведерский» получила потому, что хранилась в римском Бельведере (галерея в папском дворце в Ватикане) — богатейшем собрании античной скульптуры. В 1797 году Наполеон Бонапарт разбил войска союзника Австрии — папы Пия VI и навязал ему унижительный мирный договор, согласно которому папа отдавал французам не только часть земель, но и лучшие картины и статуи из своих музеев. В 1815 году, после разгрома Наполеона, часть этих сокровищ, в том числе и Аполлон Бельведерский, была возвращена в Италию.

Пансерон Огюст-Матье (1795—1859) — французский композитор, автор ряда опер, романсов и пьес.

Герц. — См. примечание к стр. 76.

Эдуард Вольф (1816—1880) — польский пианист-виртуоз и композитор.

Стр. 213. ...прекрасное предание, которое известный немецкий писатель (*Г. Гейне*) совсем было приспособил для сцены. — См. «Из мемуаров господина фон Шнабелевопского» (т. V настоящ. издания, стр. 442—446).

Стр. 214. *Опыт Рихарда Вагнера*. — Гейне имеет в виду неудачу Вагнера в Париже: композитору не удалось поставить там оперу «Риенци», а увертюра «Фауст» не имела успеха.

Стр. 214. *Дессауэр*. — См. примечание к стр. 44 (... один из самых презренных, косноязычных сочинителей романсов...).

Старуха Моссон — теща композитора Мейербера.

Стр. 217. *Шиндлер*. — См. примечание к стр. 133 («Друг Бетховена»).

LVII

Стр. 218. *«Лукреция»* — трагедия в стихах, написанная Франсуа Понсаром (1814—1867).

Следствие о выборах. — Речь идет об обычном в период Июльской монархии явлении: после очередных выборов представители оппозиции опротестовывали их результаты, ибо они основывались на подкупе избирателей и подлогах. Назначалось следствие, которое всегда заканчивалось в удобном для правительства духе.

Посох Эскулапа. — Бог медицины у греков и римлян, Эскулап, изображался опирающимся на посох, вокруг которого обвивается змея.

...свекловице, любимой идее императора. — Наполеон I был инициатором распространения во Франции сахарной свеклы.

Стр. 221. *Ари Шеффер* (1795—1858) — французский художник-романтик, автор ряда картин на сюжеты из Байрона, Гете, Шиллера, а также картин религиозного содержания.

Каррел Мари-Антуан (1783—1833) — известный парижский гастроном.

Летрон Жан-Антуан (1787—1848) — французский историк античности и археолог.

Дюлюитрен Гийом (1777—1835) — знаменитый французский хирург.

Стр. 222. *Эмиль Перейр* (1800—1875) — крупный французский железнодорожный предприниматель и банкир.

Стр. 223. *«Скорее верблюд пройдет сквозь игольное ушко, чем богач войдет в царствие небесное»* — слова, которые евангельская легенда приписывает Иисусу Христу.

Стр. 224. *Ионафан* — в библии — ближайший друг Давида, погибший в борьбе с филистимлянами.

Стр. 225. *Обол* — мелкая монета в древней Греции.

Велизарий (ок. 505—565) — византийский полководец; заподозренный императором Юстинианом в честолюбивых замыслах, он был отстранен от командования армией и лишен богатств. Существует легенда о том, что Велизарий был ослеплен и жил подавленным.

Стр. 225. *Цинциннат* Люций Квпнкций (VI—V в. до н. э.) — римский политический деятель и полководец. По преданию, скромно жил в деревне, обрабатывая свое маленькое поле, был призван в диктаторы, а затем снова вернулся в деревню.

...как некогда *Навуходоносор*, пастись на собственных лугах. — Вавилонский царь Навуходоносор II в 586 г. до н. э. разрушил Иерусалим; согласно библейской легенде, он был за это превращен в животное и ел траву на своих собственных лугах.

Стр. 226. *Гумбольдт* Александр (1769—1859) — выдающийся немецкий естествоиспытатель и путешественник.

Наезиштерн. — См. примечание к стр. 130 (Г-н ***).

Древалль, *Менкедам* — улицы Гамбурга.

Скиния — по библейскому сказанию — переносный храм (в шатре) у древних евреев.

LVIII

Стр. 227. *Янычары* — привилегированная гвардия турецких султанов; используя свою силу, свергали самих султанов. — *Орты* — казармы янычар.

Стр. 228. *Господин профессор от 29 октября*. — Имеется в виду Гизо, пришедший к власти 29 октября 1840 года.

Стр. 229. ...с помощью тех безнравственных средств... — Гизо прибегал к подкупу избирателей и, так же как английские министры Роберт Уолпол (1676—1745) и Роберт Пиль (1788—1850), не брезговал никакими средствами для укрепления своей власти.

Барро Одилон (1791—1873) — глава буржуазно-либеральной оппозиции, добивавшейся в интересах французской промышленной буржуазии ликвидации всевластия финансистов.

Стр. 230. *Катон* Марк Порций Младший (95—46 до н. э.) — римский республиканец, противник Цезаря.

Весталки — жрицы римской богини огня и домашнего очага Весты, поддерживавшие вечный священный огонь у подножия ее храма; давали обет целомудрия, за нарушение которого их живыми закапывали в землю.

Стр. 231. *То была...* «Декларация прав человека», которую старик... привез с собой из Америки... — «Декларация прав человека», принятая французским Учредительным собранием в августе 1789 года, основывалась на идеях Декларации независимости США (1775). Лафайет был участником войны американских колоний Англии за независимость.

Ретроспективное объяснение

Стр. 232. *Блоксберг* — народное название горы Брокен (см. примечание к стр. 167).

Бланки Луи-Огюст (1805—1881) — французский утопист-коммунист, революционер, активно боровшийся против всех аптитародных режимов, сменявших друг друга в течение XIX века во Франции; сторонник террористической и заговорщической тактики. Несколько раз приговаривался к смертной казни, заменявшейся пожизненным тюремным заключением. Стремясь подорвать влияние Бланки в массах, реакционеры возвели на него клеветническое обвинение, что он является полицейским агентом.

Сент-Пеллажи — парижская тюрьма. *Мон-Сен-Мишель* — местечко в Нормандии, где находилась тюрьма для политических преступников.

Имя автора этих строк тоже не избегло клеветы... — В 1835 году германский Союзный сейм запретил печатание и распространение в Германии всех произведений Гейне и близких ему по взглядам писателей, входивших в группу «Молодая Германия». Друзья Гейне, в связи с его тяжелым материальным положением, выхлопотали для него у французского правительства пенсию, которую он, проявив беспринципность, принял. Этот факт получил широкую огласку после революции 1848 года, когда редакция журнала «*Revue rétrospective, ou Archives secrètes du dernier gouvernement*» («Ретроспективное обозрение, или Секретные архивы последнего правительства») опубликовала материалы о расходах французского министерства иностранных дел. Враги Гейне использовали эти материалы для нападок на поэта, обвиняя его в продажности.

...Ультрамонтанский Брут. — Марк Юний Брут (85—42 до н. э.) был одним из последних республиканцев древнего Рима и руководителем заговора против Юлия Цезаря. Об *ультрамонтане* см. примечание к стр. 49.

Стр. 233. *...я вполне откровенно высказался о милой инсинуации...*—Приводим полностью упоминаемое объяснение Гейне, датированное 15 мая 1848 года и опубликованное в аугсбургской «Всеобщей газете» 23 мая того же года:

«Редакция «*Revue rétrospective*» с некоторых пор радуется республиканский мир обнаруживающим документов из архивов предыдущего правительства и, в частности, опубликовала также счета министерства иностранных дел за время правления Гизо. То обстоятельство, что имя нижеподписавшегося упоминается в них в связи со значительными суммами, открыло широкий простор для самых отвратительных подозрений, а коварные сопоставления, для ко-

торых редакция «Revue rétrospective» не давала никаких оснований, послужили одному корреспонденту «Всеобщей газеты» удобным фоном для бездоказательных обвинений: было заявлено, что правительство Гизо покупало мое перо за определенные суммы, с тем чтобы я защищал его политику. Редакция «Всеобщей газеты» снабдила эту корреспонденцию примечанием, где она склоняется к мнению, что я, вероятно, получаю пенсию не за то, что писал, а за то, чего *не писал*. Редакция «Всеобщей газеты», которая, не столько на основании моих статей, печатавшихся ею в продолжение двадцати лет, сколько по тем местам из них, которые она *не напечатала*, имела полную возможность заметить, что я не принадлежу к тем раболопным писателям, которые берут плату за свое молчание, — эта редакция могла бы, конечно, позабыть меня от своего *levis nota*.¹ Не статье корреспондента, а редакционному примечанию посвящаю я эти строки, в которых я хочу высказаться как можно яснее о своем отношении к правительству Гизо. К этому меня побуждают высшие соображения, а не мелочные интересы личной безопасности или даже чести. Моя честь не зависит от первого попавшегося газетного корреспондента, и первый попавшийся ежедневный листок — не трибунал для нее; лишь суд истории может меня судить. И потом я не хочу допустить, чтобы великодушие было интерпретировано как страх и опорочено. Нет, та поддержка, которую я получал от правительства Гизо, не была вознаграждением; она была именно только поддержкой, она была — я называю вещи своими именами — великой милостыней, раздаваемой французским народом стольким тысячам чужеземцев, которые более или менее доблестно скомпрометировали себя на родине рвением к делу революции и нашли пристанище у гостеприимного очага Франции. Я принял вспомоществование вскоре после того, как появились прискорбные декреты Союзного сейма, целью которых было — меня, как предводителя некоей так называемой Молодой Германни, погубить и в финансовом отношении, ибо они налагали запрет не только на изданные уже книги, но и на все, что впоследствии должно было выйти из-под моего пера, и таким образом лишали меня моей собственности и источников дохода, без суда и права. То, что выплата мне затребованной денежной помощи производилась через кассу министерства иностранных дел, а именно — из пенсионных фондов, не подлежащих общественному контролю, объяснялось прежде всего тем, что остальные кассы в то время были слишком перегружены. Возможно также, что французское правительство не желало

¹ Легкого пятна (*лат.*).

демонстративно оказывать поддержку человеку, который для германских посольств всегда был бельмом на глазу и высылки которого они неоднократно добивались. О том, как настойчиво мои королевско-прусские друзья докучали французскому правительству подобными требованиями, известно всем и каждому. Однако г-н Гизо упорно не соглашался на мою высылку и ежемесячно, регулярно, без перерыва выплачивал мне пенсию. Никогда он не требовал от меня за это ни малейшей услуги. Когда, вскоре после того как он принял портфель министра иностранных дел, я пришел засвидетельствовать ему свое почтение и поблагодарил его за то, что, несмотря на мои радикальные взгляды, он приказал продолжать мне выплату пенсии, он ответил с меланхолической добротой: «Я не такой человек, чтобы отказать в куске хлеба немецкому поэту, живущему в изгнании». Эти слова г-н Гизо сказал мне в ноябре 1840 года, и это был первый и в то же время последний раз в моей жизни, когда я имел честь разговаривать с ним. Я послал редакции «*Revue rétrospective*» доказательства, подтверждающие правдивость вышеназложенных объяснений; пусть же теперь, на основании достоверных источников, которыми она располагает, она с присущей французам *loyauté*¹ выскажется относительно значения и происхождения пенсии, о которой идет речь».²

Стр. 234. *Генералиссимус всех миллионеров* — то есть Ротшильд.

Стр. 235. *Доктор Маркс...* бывший издатель «*Новой Рейнской газеты*» — Карл Маркс. Маркс и Энгельс осуждали беспринципность Гейне, принявшего пенсию от Гизо, но в то же время поддерживали поэта в борьбе с представителями реакционной немецкой идеологии. Утверждение Гейне о том, что Маркс приходил к нему, чтобы выразить свое негодование по поводу статьи во «*Всеобщей газете*», не соответствует действительности.

Стр. 237. *Агасфер* — библейское имя персидского царя Ксеркса (485—465 до н. э.).

Гауда — город в Нидерландах, в провинции Южная Голландия.

Куи — древнее название стран, расположенных к югу от дельты Нила.

Годой Мануэль (1767—1851) — диктатор Испании в 1792—1808 годах, получивший все высшие титулы, вплоть до титула «князь мира» (после заключения мирного договора с Францией в

¹ Честностью (франц.)

² Перевод Л. Виндт.

1795 г.). Был любовником королевы Марии-Луизы и любимцем ее безвольного мужа Карла IV (а не Фердинанда VII, как ошибочно указано у Гейне). В 1808 году Годой был низложен и затем жил в Париже, получая пенсию от правительства Луи-Филиппа.

Стр. 238. *Огюстен Тьерри* (1795—1856) — один из крупнейших буржуазных историков. В 40-х годах XIX века, когда он ослеп и был разбит параличом, правительство Гизо выплачивало ему пенсию.

Пемецкий ученый из Геттингена. — Имеется в виду некий Килиндворт.

Шваб... живший в Штутгарте. — Имеется в виду доктор Вейль, редактор «Штутгартской газеты».

Полковник Густавсон — псевдоним, под которым скрывался экс-король Швеции Густав IV, низложенный в 1809 году.

Экштейн Фердинанд (1790—1861) — ученый и публицист, датчанин, живший во Франции.

Капфиз Раймон (1802—1872) — французский историк.

Стр. 239. *Шалет* — еврейское мучное блюдо.

Стр. 240. *Университет «Георгия Августа»* (Georgia Augusta) — Геттингенский университет, основанный в 1734 году и названный так в честь короля Великобритании и курфюрста Ганновера Георгия II Августа.

...называли его героем Тулузы... — 14 апреля 1814 года под Тулузой произошло неудачное для французов сражение между французскими войсками под командованием Сульта и наступающими из Испании англо-испанскими войсками под командованием герцога Веллингтона. После сражения Сульта продолжал отход на север.

Стр. 241. *Пиндарические гимны* — термин, произведенный от имени знаменитого греческого поэта Пиндара (522—448 до н. э.), автора многочисленных од, гимнов богам, дифирамбов и т. д.

Тири Фридрих-Вильгельм (1784—1860) — немецкий филолог-классик, преподававший в Геттингенском университете.

...один был отмечен печатью Венеры, а эмблемой другого была стрела... — В немецких газетах статьи постоянных корреспондентов, как правило, подписывались не псевдами, а какими-либо знаками.

Стр. 246. *Рыцарственный принц.* — Имеется в виду герцог Фердинанд-Луи Орлеанский.

Историограф французской революции и Империи — Тьер.

Царственная прятельница — княгиня Кристина Бельджойво (1808—1871), итальянская писательница, борováшая за независимость Италии. Была близким другом Гейне.

Стр. 247. *Армией разбил Вара.* — В 9 году н. э. германское

племя херусков во главе с Арминием (Германом) нанесло поражение римлянам под командованием Вара в Тевтобургском лесу. Эта битва положила конец продвижению римлян на территорию, населенную германцами.

...имею право прикрепить к нему черно-красно-золотую кокарду. — Черно-красно-золотой флаг был объявлен национальным флагом Германии во время революции 1848 года. Цвета эти являлись символом объединения Германии.

Масман Ганс-Фердинанд (1797—1874) — немецкий филолог; ярый националист и мракобес.

...*Масман*... перекувырнулся бы... — Масман пропагандировал гимнастику и под видом гимнастических обществ насаждал шовинистические организации.

ЛИХ

Стр. 248. *Ватто* Жан-Антуан (1684—1721) — талантливый живописец, изображавший французское светское общество XVIII века.

Буше Франсуа (1703—1780) — французский живописец и гравер, автор ряда портретов, пейзажей, пасторальных и жанровых сцен и фривольных картин.

Ван-Лоо — фамилия нидерландской семьи, многие представители которой были художниками. Гейне имеет в виду скорее всего профессора Парижской Академии искусств Карла-Андреаса Ван-Лоо (1705—1765), автора ряда портретов в стиле рококо и аллегорических картин.

Стр. 249. «*Ессе homo*». — Эти слова, согласно евангельской легенде, произнес прокуратор Иудей Понтий Пилат, увидев Иисуса Христа в терновом венце. В живописи «Ессе homo» называют изображение Христа перед казнью.

Стр. 250. *Суперинтендант* — один из высших чинов лютеранской церкви (то же, что у католиков — епископ).

Орас Верне (1789—1863) — французский художник, писавший картины на батальные и исторические сюжеты.

Поведие Юдифи. — Согласно библейской легенде, пудейская героиня Юдифь проникла в палатку к ассирийскому полководцу Олоферну, осаждавшему ее родной город Ветилу, и отрубила ему голову, после чего ассирийские войска сняли осаду.

Стр. 251. *Гомилетические упреки* — от слова гомилетика (греч.) — учение о христианском церковном красноречии.

Стр. 252. *Парни Эварист* (1753—1814) — французский поэт, автор эротических пародий на библейские сюжеты.

Стр. 253. *Иосафатова долина* — долина близ Иерусалима; в Библии — название места, куда соберутся все народы на Страшный суд.

LX

Стр. 253. *Борьба с университетом*. — Речь идет об упорной и длительной борьбе клерикалов за контроль над образованием. Против клерикального законопроекта о «свободе образования» резко выступили видные ученые — историки Жюль Мишле (1798—1874) и Эдгар Кинэ (1803—1875).

Стр. 256. *Коллеж де Франс* — институт в Париже, в котором виднейшие ученые читают для специалистов лекции по предметам своих исследований.

Стр. 257. *Латинский квартал* — студенческий квартал в Париже.

Стр. 259. *«Махабхарата»* — древнеиндийский эпос; *«Эдда»* — скандинавский эпос.

Стр. 260. *Юнг-Штиллинг* Иоганн-Генрих (1740—1817) — немецкий писатель-мистик. В молодости был портным.

Якоб Беме (1575—1624) — немецкий философ-мистик. Занятие философией совмещал с сапожным ремеслом.

Крейцер Георг-Фридрих (1771—1858) — немецкий философ, профессор Гейдельбергского университета, автор многотомного сочинения «Символика и мифология древних народов».

Пумперникель — вестфальский пряник.

Зоппенштейн — замок в Саксонии.

LXI

Стр. 261. *Баллани* Пьер-Симон (1776—1847) — французский поэт, философ и историк, пытавшийся примирить католицизм с социализмом.

Рекамье Жюли (1777—1849) — жена парижского банкира. Во времена Директории, Первой империи и Реставрации ее салон был модным политическим и литературным центром, в котором собирались преимущественно роялисты.

Дону Пьер-Клод-Франсуа (1761—1840) — историк и буржуазный политический деятель, создатель Института Франции. Был депутатом Конвента и ряда последующих парламентов.

Стр. 262. *Болото Конвента*. — Так во время Великой французской революции именовались колеблющиеся, нерешительные депутаты Конвента, преимущественно представители собственни-

ческого крестьянства, не имевшие твердых мнений и примыкавшие к сильнейшей в данный момент партии — то к жирондистам, то к якобинцам.

Стр. 262. *Éloges* — традиционные похвальные речи в честь умерших академиков, произносимые их преемниками.

ДОБАВЛЕНИЕ К «ЛЮТЕЦНИ»

КОММУНИЗМ, ФИЛОСОФИЯ И ДУХОВЕНСТВО

I

Стр. 264. *Беотия* — область в Средней Греции, жители которой считались грубыми и ограниченными людьми.

Абдера — город в древней Фракии (Греция). Слово «абдерит» (житель Абдеры) считалось синонимом слова «глупец».

...о государственных интригах императрицы-матери... — Мать Нерона Агриппина (16—59), отравив своего мужа, возвела на трон Нерона и при нем вершила государственным делами. Была убита по приказу Нерона.

Агриппа II (30—100) — царь иудейский, жестокий тиран. Был низложен и бежал в Рим, где и умер.

Галилеяне — жители одной из областей Палестины. Они первыми восприняли христианство; поэтому в первые века нашей эры христиан называли галилеянами. Нерон жестоко преследовал христиан.

Стр. 266. ...*Пьер Леру... отрёкся от пестро-веселой компании.* — Гейне намекает на то, что Леру порвал с сен-симонистами, к которым он ранее примыкал.

Ипполит Карно (1801—1888) — участник июльской революции 1830 года, сен-симонист, затем последователь Пьера Леру.

Рейно Жан (1801—1863) — сен-симонист, перешедший затем на платформу «христианского социализма».

Как обстоит теперь дело с большой «Энциклопедией»... — В 1834 году Пьер Леру и Жан Рейно приступили к изданию «Новой энциклопедии», которая, однако, осталась незаконченной.

...*колоссального памфлета в тридцати томах...* — Гейне имеет в виду «Энциклопедию», изданную накануне Великой французской революции под редакцией Дидро и д'Аламбера. Она проповедовала идеи воинствующего материализма и атеизма и была запрещена католической церковью.

Жуффруа Теодор (1796—1842) — французский философ-сигуритуалист и психолог.

Стр. 267. *Сорбонна* — ныне Парижский университет, первоначально богословская школа, основанная в 1253 году каноником Робером Сорбоном и бывшая в течение ряда столетий оплотом католицизма.

Стр. 268. ...*так елейно говорил набожный человек, канонизированный Мольером.* — Гейне имеет в виду следующие слова мольеровского героя Тартюфа:

Здесь вы ограждены молчанием моим,
А зло бывает там, где мы о нем шумим.
Кто вводит в мир соблазн, конечно согрешает,
Но кто грешит в тиши, греха не совершает.

(«Тартюф», IV, 5, пер. М. Лозинского.)

Интерполяция — искажение древних рукописей путем вставок, перестановок и т. д.

...*перефразируя известное речение...* — Имеется в виду выражение «Платон мне друг, а истина дороже», приписываемое Аристотелю, который не мог примириться с идеалистическими взглядами своего учителя.

Стр. 270. *Краузе* Карл-Христиан-Фридрих (1781—1832) — немецкий философ-идеалист, приверженец пантеизма.

Стр. 274. *Сын плотника* — то есть Иисус Христос.

II

Стр. 275. *Несвоевременное восстание.* — Большинство католической партии считало взгляды ультрамонтанов, стремившихся вернуться к средневековому мракобесию, опасными для религии и церкви.

«*Compelle intrare.*» — Эти слова, взятые из евангелия, служили оправданием для ревностных католиков, применявших насильственные методы возвращения «отступников» в лоно христианской церкви.

Стр. 276. *Пор-Рояль* — монастырь в Версале, в XVII веке — центр янсенизма. Янсенисты утверждали, что спасение человека зависит не от его дел, а от «божественного предопределения». Они были противниками иезуитов, и папа объявил их еретиками. Людовик XIV тоже стал на сторону иезуитов, и в 1712 году версальский Пор-Рояль был разрушен.

Стр. 277. *Бюффон* Жорж-Луи (1707—1788) — знаменитый французский естественный философ. Гейне цитирует слова из речи, произнесенной Бюффоном при избрании его в Академию в 1753 году.

ТЮРЕННАЯ РЕФОРМА И УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО

Стр. 281. *После... прений... о законопроекте тюремной реформы...* — Речь идет об упорядочении тюремного режима. Соответствующий законопроект обсуждался более пяти лет, был принят палатой депутатов в 1847 году, но так и не вступил в силу до революции 1848 года.

Министр внутренних дел — граф Дюшатель (1803—1867).

Токвиль Алексис (1805—1859) — французский историк и буржуазный политический деятель.

Бомон Гюстав-Огюст (1802—1876) — французский буржуазный публицист и политический деятель, друг Токвиля, вместе с ним совершивший путешествие в США.

Стр. 283. *Castrum doloris*. — Так называется катафалк, воздвигаемый в католических церквях во время заупокойных месс.

Стр. 284. *Бауэр* Антон (1772—1843) — немецкий криминалист, профессор уголовного права. Принимал участие в разработке ганноверского уголовного кодекса, что и дает Гейне повод присвоить ему ироническое наименование *ганноверского Ликурга*.

Стр. 287. *Пенсильванская система* (возникла в конце XVIII в. в США, в штате Пенсильвания) — система строгого одиночного заключения, основанная на убеждении в том, что человек, лишенный воздействия извне, идет по пути нравственного совершенствования.

ИЗ ПИРЕНЕЕВ

I

Стр. 288. *...не посажен в сумасшедший дом, вопреки утверждениям берлинского корреспондента...* «Всеобщей газеты». — В «Германской всеобщей газете» (Лейпциг) от 14 июля 1846 года действительно было опубликовано сообщение из Берлина, распространявшее ложный слух о пребывании Гейне в парижской больнице для умалишенных.

Стр. 289. *Декан* Александр-Габриэль (1803—1860) — французский художник, писавший жанровые картины, главным образом на восточные сюжеты.

II

Стр. 291. *Лейна* — река в Германии, на которой расположен Геттинген.

Целлариус Анри — преподаватель балльных танцев, обучавший в 40-х годах XIX века парижан новому танцу — польке.

Стр. 292. *Леломм* — прима-балерина Парижской оперы.

Стр. 292. *Магдебург* и *Шпандау* — германские города, в которых находились крепости-тюрьмы для политических преступников.

III

Стр. 294. ...не напоминает своего двоюродного деда... — то есть Людовика XIV, отличавшегося деспотизмом.

Стр. 296. *Пританей* — помещение, в котором заседали и жили дежурные члены афинского Совета пятисот; служило также местом призрения для состарившихся заслуженных государственных деятелей. *Пританеями принуждения* Гейне иронически называет тюрьмы, в которых томятся немецкие патриоты.

...продолжали постройку *Кельнского собора*... — Кельнский собор, крупнейший из готических соборов Германии, был заложен в 1248 году, строился (с перерывами) до середины XVI века, но так и не был достроен. Строительство было возобновлено только в 1842 году и закончено в 1880 году.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕЗОН 1944 ГОДА

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ

Стр. 297. *Висячие сады Семирамиды*. — Вавилонский царь Навуходоносор II (604—561 до н. э.) соорудил при своем дворце «висячие сады» — парк, разбитый на террасах, покоящихся на сводах дворца. Легенда гласила, что царь соорудил их для жены, тосковавшей по горам своей родины Мидии. Греческие историки спутали жену Навуходоносора с ассирийской царицей Семирамидой, и под этим названием сады были причислены к «семи чудесам древнего мира».

Мицраим — библейское название Египта.

Мартин Джон (1789—1854) — английский художник, автор картин «Падение Вавилона», «Пир Валтасара» и других, полных неусдержимой фантазии.

Стр. 298. *Людвиг Тик* (1778—1853) — немецкий поэт, писатель и критик романтического направления.

Стр. 299. *Иды* — у римлян — тринадцатый (а в марте, мае, июне и июле — пятнадцатый) день месяца. 15 марта 44 года (*мартовские иды*) был убит Юлий Цезарь.

Стр. 300. *Гогенцоллерн-гехингенский советник*. — Правитель крошечного германского княжества Гогенцоллерн-Гехинген присвоил Листу этот титул.

Стр 300. *Гамельнский крысолов*. — По преданию, город Гамельн, страдавший от нашествия крыс, пригласил крысолова, который чудесной игрой на флейте привлек всех крыс и увел их из города.

Беллони Гаэтано — личный секретарь Листа.

Амфион — в греческой мифологии — сын Зевса, своей дивной игрой на лире заставивший камни сложиться в стены города Фивы. В 1844 году Лист дал концерт, сбор с которого пошел в фонд достройки Кельнского собора; поэтому Гейне сравнивает Листа с Амфионом.

Эраровские рояли. — См. примечание к стр. 76.

Стр. 301. *Георг Гервег* (1817—1875) — крупнейший немецкий политический поэт, сыгравший выдающуюся роль в подготовке революции 1848 года; в 1842 году был изгнан из Германии.

Стр. 302. ...*солдат...* *прибывших из Африки...* — то есть участников войны за покорение Алжира, продолжавшейся благодаря героическому сопротивлению алжирского народа более семнадцати лет (1830—1847).

Кантарида — шпанские мушки, настойка которых возбуждает и усиливает половое влечение.

Вола деа — римская богиня плодородия. Мистерии в ее честь, на которые допускались только женщины, сопровождалась циничными оргиями.

Стр. 303—304. *Малые пророки*. — В Библии речь идет о четырех больших пророках (Исайя, Иеремия, Езекиель и Даниил) и двенадцати малых. *Аввакум* — один из малых пророков.

Стр. 304. *Иона* — один из малых библейских пророков, о котором легенда рассказывает, что он был проглочен китом.

Эпиталама — свадебная хоровая песнь у древних греков и римлян.

Один из трех знаменитейших пианистов — Сигизмунд Тальберг (см. примечание к стр. 132).

Бас Итальянской оперы — Луиджи Лаблаш (1794—1858). См. высказывание Гейне о нем на стр. 135—136.

Замечательный пианист из Варшавы — Эдуард Вольф (см. примечание к стр. 211).

Величайший скрипач, которого Бреславль прислал в Париж — Генрих Панофка (1807—1887).

Тесей — герой древнегреческой мифологии; сын афинского царя Эгея. Убил в лабиринте на острове Крит питавшегося людьми Минотавра и выбрался из лабиринта с помощью клубка ниток, данного ему дочерью критского царя Ариадной.

Стр. 305. ... *Лафайета от сенсации, рекламного героя обводит*

полушарий. — Лафайета, участвовавшего в войне за независимость Соединенных Штатов Америки и в Великой французской революции конца XVIII века, именovali героем обоих полушарий.

Порция сказала бы... — Далее следует неточная цитата из «Венецианского купца» (I,2). У Шекспира Порция говорит: «Его создал бог — так пусть он и слывет человеком».

Стр. 306. *Моргана* — фея из древних галльских сказаний, русалка и волшебница. При ее дворе в *Авалуне* (Авалоне) находились девять фей-красавиц, в том числе и упоминаемые Гейне *Мелиор*, *Абунда*, *Геновеса* и *Мелузина*.

Артур — король бриттов, герой средневековых рыцарских романов; за его круглым столом собирались двенадцать наиболее храбрых рыцарей.

Дитрих Бернский — герой германских сказаний.

Ожье Датчанин — герой старофранцузского эпоса; бесстрашный воин, в конце жизни ставший монахом.

СТАТЬЯ ВТОРАЯ

Стр. 306. *Рагиоли с пармезаном* — пирожки с рубленым мясом и пряностями, посыпанные шафранным сыром.

Стр. 307. *Мнеловина* — в греческой мифологии — мать муз.

Стр. 309. *Прозерпина* — в греческой мифологии — дочь Зевса и Деметры, похищенная Плутоном; стала его женой и повелительницей подземного мира; полгода проводила у матери на земле, а полгода — у мужа.

Стр. 310. *Джакомо Макьявелли*. — Имеется в виду *Джакомо* Мейербер, которого Гейне, обвиняя в коварстве, сравнивает с итальянским политическим деятелем и писателем *Николо Макьявелли* (1469—1527), призывавшим государей не останавливаться ни перед какими средствами для установления единоличной диктатуры.

Виардо-Гарсиа Поллина (1821—1910) — знаменитая французская певица, дочь прославленного певца Мануэля Гарсиа, сестра певицы Малибран, близкий друг И. С. Тургенева.

Марио Джузеппе, граф *Кандиа* (1808—1883) — знаменитый итальянский певец, муж Джулии *Гризи* (см. примечание к стр. 111).

Стр. 311. *Зал Вантадур* — итальянский театр в Париже. *Персидский поэт*. — Имеется в виду Муслихиддин Саади (1184—1291).

Делакруа Эжен (1799—1863) — крупнейший французский художник-романтик; написал несколько картин, изображающих

львиную охоту в Африке (отсюда эпитет Гейне *великий львиный живописец*).

Стр. 312. *Скриб* Огюстен-Эжен (1791—1861) — французский драматург, автор пьес в жанре легкого водевиля. — «*Золото — химера!*» — слова из либретто оперы Мейербера «Роберт-Дьявол», написанного Скрибом совместно с Казимпром Делавинем.

Танъема — дополнительное вознаграждение, выплачиваемое из чистой прибыли членам правлений и другим руководителям промышленных, торговых и банковских предприятий.

Монсиньи Пьер-Александр (1729—1817) — французский композитор.

Стр. 313. *Грез* Жан-Батист (1725—1805) — талантливый французский живописец, автор ряда жанровых картин.

Позднейшая заметка

Стр. 313. ...*набрасывая картину болезни Доницетти*... — В 1844 году Доницетти заболел неизлечимой психической болезнью.

Густав-Адольф (Густав II) — шведский король в 1611—1632 годах и выдающийся полководец своего времени; был убит в сражении при Лютцене во время Тридцатилетней войны.

Стр. 314. *Франц Горн* (1781—1837) — немецкий поэт и литературный критик, выдвинувший целепый тезис о том, что Шекспир «принадлежит немцам».

Укермарк — северная часть Бранденбургской марки в Германии.

...*фамилия Линд* (Lind) *вызывает мысль о липах*... — «Die Linde» (нем.) означает «липа».

Стр. 315. *Ричардсон* Сэмюель (1689—1761) — известный английский писатель, автор семейно-психологических романов. Герои Ричардсона олицетворяют буржуазную добродетель.

Упсала — город в восточной Швеции.

Содом — согласно библейской легенде город в Палестине, славившийся крайней развращенностью своих жителей, за что он был уничтожен богом вместе с другим таким же городом Гоморрой.

«*Эта строгая добродетель ошеломляет меня*». — Эти слова, которые Гейне ошибочно приписывает *Паулету*, одному из персонажей «*Марии Стюарт*» Шиллера, произносит Натан Мудрый в одноименной драме Лессинга (II, 5).

Стр. 316. ...*арки Тита, воздвигнутой в память гибели Иерусалима*. — Иерусалим, восставший против Рима, в 70 г. был взят и разрушен войсками императора Тита, а евреи были изгнаны. В честь взятия Иерусалима Тит велел соорудить в Риме триумфальную арку.

ПРИЛОЖЕНИЕ

ДВЕ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ ИЗ ПАРИЖА, НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ ГЕЙНЕ В «ЛЮТЕЦИЮ»

Обе корреспонденции также были написаны Гейне для аугсбургской «Всеобщей газеты», но напечатаны не были. Опубликовано впервые Карпелесом по рукописям в 1884 и 1887 годах.

Стр. 319. *Себастиани* Орас (1775—1851) — французский генерал и дипломат, один из советников Луи-Филиппа по иностранным делам.

Корменен. — См. примечание к стр. 31.

Стр. 322. *Бутервек* Фридрих (1765—1828) — немецкий философ и историк литературы, автор книг «История поэзии и красноречия у новых народов» и «История немецкой литературы».

Розенкранц Иоганн-Карл-Фридрих (1805—1879) — немецкий философ и историк литературы, автор «Руководства к общей истории поэзии» и ряда других книг.

Стр. 324. *Эскирос* Анри-Альфонс (1812—1876) — французский литератор и политический деятель, автор книг о Шарлотте Корде, об Англии и др.

Стр. 326. *Торквемада* Томасо (1420—1498) — доминиканский монах, с 1483 года — первый «великий инквизитор» Кастилии и Арагона. Отличался крайней жестокостью, приговорил несколько тысяч человек к сожжению на костре, добился изгнания евреев из Испании.

Д. Прицкер

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЮТЕЦИЯ

СТАТЬИ О ПОЛИТИКЕ, ИСКУССТВЕ И НАРОДНОЙ ЖИЗНИ

Предисловие к французскому изданию	7
Посвящение	15
Часть первая	22
Часть вторая	169
Добавление к «Лютеции»	
Коммунизм, философия и духовенство	264
Тюремная реформа и уголовное законодательство	281
Из Пирепеев	288
Музыкальный сезон 1844 года	297
Приложение	
Две корреспонденции из Парижа, не включенные Гейне в «Лютецию».	319
Комментарии Д. Прицкера	329

Г е н р и х Г е й н е

Собрание сочинений, т. VIII

Редактор Г. Бергельсон. Художник Л. Хизинский. Художественная редакция Л. Чалова. Техн. редактор Л. Крючкина. Корректор Э. Урицкая.

Подписано к печати 7/VIII 1958 г. Бумага 84×108 1/32—12,25 печ. л.—20,09 усл. печ. л. 20,297 уч.-изд. л. Тираж 80000 экз. Заказ № 1644. Цена 4 р.

Гослитиздат. Ленинградское отделение. Ленинград, Невский пр., 28

Ленинградский Совет народного хозяйства
Управление полиграфической промышленности
Типография № 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького
Ленинград, Гатчинская ул., 26